Ирина Велембовская

ВИД С БАЛКОНА



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · 1981

Р2
В27



Книги Ирины Велембовской хорошо известны читателю. Среди них следует назвать сборники повестей и рассказов «Женщины», «Лесная история», «Третий семестр» и другие. Многие произведения писательницы экранизированы.

В новый сборник вошли две повести и рассказы. Все произведения посвящены изображению жизни горожан, в основном москвичей. Внимание автора привлекают многообразные человеческие отношения, нравственно-этическая их сторона. И. Велембовская отнюдь не глядит на жизнь своих героев «с балкона», издалека, со стороны, а находится в самой человеческой гуще, рассматривает людей внимательно и проникновенно, обрисовывая не только их лица, но и души, не только поступки, но и внутренние побуждения.

ХУДОЖНИК ИГОРЬ ГУСЕВ

В $\frac{70302-041}{083(02)-81}$ 15—81 4702010200

ВИД С БАЛКОНА

Повесть

1

Орест Иванович стал отцом более чем четверть века назад. И обстоятельства, которые предшествовали рождению его первого и единственного сына, не были особенно радостными, не такими, о которых хотелось бы помнить всю жизнь.

Он был уроженцем города Плавска, в Москву попал после службы в Красной Армии, и родни у него в столице не было никакой. В Плавск, этот маленький, тогда ничем не примечательный городок, он вернуться не захотел. Зацепившись кое-как в Москве, нашел койку в пригороде, между Немчиновкой и Баковкой. Прописали его здесь временно, жилье было полузимнее, холодное, в двух километрах от станции. Дома в ту пору освещались здесь только керосином, осенью возле станции и на дачных просеках было темным-темно и до жути грязно. Отсюда Орест Иванович ездил ежедневно паровым поездом и трамваем от Брестского вокзала на Красную Пресню, где работал техником-нормировщиком на сахарном заводе, получал что-то рублей триста, из них сотню отдавал за койку с хозяйским матрасом, одеялом и подушкой.

Он в те тридцатые, предвоенные годы был кудрявым, симпатичным, по-провинциальному застенчивым молодым человеком. Экипироваться по-столичному, купить хорошее пальто, костюм — все это тогда было ему не под силу, хотя он и не пил и даже не курил. Ходил Орест Иванович в сапогах и армейских галифе, остав-

шихся после службы на действительной. Летом он носил белый, чистенький «апашик», зимой сатиновую косоворотку под грубошерстным, жарким пиджачком.

Но в этом скромном наряде он приглянулся молоденькой, бойкой и очень смазливой Люсе, которая работала помощником повара в заводской столовой. И по сей день у Ореста Ивановича была где-то запрятана ее фотография тех лет: Люся в белом колпачке льет что-то в большой котел, а сама смотрит в объектив круглыми, крайне беспечными глазами, готовая вот-вот расхохотаться.

Нельзя сказать, чтобы уж очень хороша собой была эта Люся. Но того, что наводит на грешные мысли, было в ней предостаточно. Познакомившись с Орестом Ивановичем, она поначалу попробовала напустить туману, сообщила, что переписывается с одним моряком-подводником с Черноморского флота, который по отбытии срока службы возьмет ее замуж. Люся даже показала какую-то фотографию моряка в бескозырке, смахивающую больше на цветную открытку, купленную где-нибудь в киоске. Но, рассказывая о моряке, сама липла и липла к Оресту Ивановичу.

Он был совсем не прочь жениться, но Люси побаивался. Ему мерещилась милая девушка из хорошего семейного дома, с укладом и уютом, которого ему все годы молодости так не хватало. Люся же сама была человеком без роду и племени, и, кроме постоянной московской прописки, никакого «приданого» у нее не имелось. Жила она в комнате с двумя подружками, тоже мечтающими о замужестве. Тут, правда, в отличие от того места, где временно квартировал Орест Иванович, был и электрический свет, и трамвай проходил почти под самыми окнами. Но это все-таки был не тот случай, когда следовало поступать очертя голову. И Орест Иванович с «предложением» не спешил.

Но Люся его из своих рук выпускать не хотела. Всю весну сорокового года они встречались: сначала ходили в Краснопресненский парк культуры и отдыха, и когда совсем потеплело, поехали подальше в лес, за Голицыно. С наступлением осени Орест Иванович уже допускал мысль, что стоит, пожалуй, ценой потери свободы прописаться наконец в Москве на постоянное жительство. Кончились бы ежегодные мытарства по паспортным сто-

лам и кабинетам начальников милиции. Правда, он плохо представлял себе жизнь в компании Люсиных подружек, но сама она заявила бесстрашно:

— Это их не касается. Я тебя не на их койку, а на свою приведу.

Но Орест Иванович все-таки не дал «привести себя на койку». Как только они с Люсей расписались и он получил права московского гражданства, он нашел крошечную комнатушку около Новинской тюрьмы. Регистрации брака предшествовала еще и заминка с Люсиным паспортом: она его потеряла еще в прошлом году, но, не желая платить сто рублей штрафа, так и не заявила о потере. В отличие от Ореста Ивановича, которого подобные вещи всегда пугали, Люся на все формальности поплевывала, словно не в столице жила, а в глухой тайге, где никто никакого паспорта не спросит.

Свадьба была самая скромная из-за недостатка места, но Люся и тут сумела наплясаться до изнеможения и утром опоздала на работу. Это могло обойтись ей в полгода принудительных работ, поскольку уже был обнародован Указ от 26 июня 1940 года, но заведующая столовой это дело покрыла, пожалев невесту. С тех пор Орест Иванович, хотя ему нужно было подниматься только в семь, вставал в пять и будил Люсю, которая, не боясь никаких указов, спала, как сурок.

Их сын, которого они назвали Игорем, родился зимой сорок первого. Люся по беспечности прозевала срок декретного отпуска и родила его почти что у плиты. Хорошего приданого для своего первенца они с Орестом Ивановичем, понятно, купить не могли, набрали так, кое-что. Но ребята и девчата сложились и подарили им комплект пеленок и распашонок, а завком пошел навстречу и выделил какое-то прибежище рядом с территорией завода, где густо носилась сахарная пыль.

Сейчас Орест Иванович не смог бы точно вспомнить, каков был размер полученного жилища, на чем они там сидели, спали, из какой посуды ели. Но он отчетливо помнил, что это было с ч а с т ь е. Он впервые ощутил себя совершенно полноправным человеком. Попробовала бы Люся, живя на частной квартире, вовремя не платить за свет, пренебрегать уборкой общих мест, всюду разбрасывать пеленки и соски, как она это могла делать сейчас, живя уже в собственной комнате. Орест Ивано-

вич не испытывал особой нежности к новорожденному сыну, но и за него был тоже рад: ребенок был горластый, беспокойный, весь в мать, но в собственной комнате это уже было полбеды: соседей Люся в любую минуту могла послать к чертовой бабушке.

Орест Иванович очень скоро понял, что Люся не из самых самоотверженных матерей. Всю себя без остатка отдавать ребенку она никак не хотела, как будто предвидела, что это не последнее дитя в ее жизни. С первых же недель она обнаружила явное стремление спихнуть Игоря в ясли и бежать в свою столовую, к котлу с лапшой. И так как ее зарплата и тот бидончик супу, который она каждый вечер приносила из столовой, были очень существенны в их жизни, то Орест Иванович возражать не стал. Тем более когда увидел, что Игорь в яслях находится в гораздо лучших условиях, чем дома, где ему даже кроватки негде было поставить и где он спал на обеденном столе, пригороженный чем попало.

— Ты хоть руки-то помой, — сказал он однажды Люсе, когда та прибежала с работы и прямо взялась за сына-пеленашку.

— Отстань, я вчера в душе была. Заразная я, что ли? Нас ведь проверяют.

Орест Иванович, несмотря на свою неустроенную, сиротскую судьбу, был брезглив. Как ни нужен был приносимый Люсей из столовой суп и гарнир от вторых блюд, ел он их как бы через силу, и его посещала неприятная мысль, не доедает ли он за другими. Не нравилось ему и то, что его жену «проверяют». За четырнадцать месяцев их совместной жизни Люся стала почти красивой, брак и ребенок пошли ей явно на пользу и девичьей живости в ней не истребили. Она порой нравилась даже собственному мужу, но того, что люди называют «совет да любовь», между ними не было. Зато у Ореста Ивановича была прописка, даже собственная площадь, что-то около двенадцати квадратных метров, за которые нужно было платить всего по тем деньгам рубля три, что ли... В общем, стоимость хорошего обеда. Был и сын, к которому Орест Иванович надеялся привыкнуть и со временем полюбить.

Двадцать четвертого июня сорок первого года, когда Ореста Ивановича вызвали в военкомат, сын его был

в яслях, жена на работе. Он помнил, что Люся очень побледнела, когда он к ней забежал, хотя перед этим лицо у нее от кухонного жара было как свекла. Она бросила большую шумовку и очень непритворно заплакала, даже кинулась к нему на шею.

В звании техника-интенданта второго ранга Орест Иванович был прикомандирован к эвакогоспиталю, который переправлялся из Москвы под Рязань. В начале октября, сопровождая оттуда партию солдат в батальон для выздоравливающих, Орест Иванович смог побывать набегом у себя дома, на Красной Пресне.

Уже с августа он не знал, что там делается: как Люся, как ребенок? Она на три письма ему не ответила, но он понимал, что она растрепа, забывчивая, несерьезная, и все готов был ей простить. Сейчас ему казалось, что он едет к любимой жене, к любимому сыну. Перед Орестом Ивановичем стояла задача: увезти Люсю и мальчика вместе с собой. Он не был уверен, что долго еще задержится при эвакогоспитале, который должен был в скором времени проследовать в глубокий тыл. Но надеялся, что Люся с ребенком смогут уехать туда же.

Заботы его оказались напрасными: от соседей он узнал, что Люся примерно во второй половине сентября пустила себе в комнату на постой какого-то командированного, а недели через две вместе с ним, прихватив и восьмимесячного Игоря, отбыла в неизвестном направлении.

— Мы заходим, а у нее на постели посторонний человек спит, — сообщил старичок сосед. — Я еще документы у него проверил. Брось ты ее, Орест, к черту! Ищи сына!

Когда возмущение и обида немножко схлынули, Орест Иванович рассудил, что от Люси этого можно было ждать: ей все хотелось жизни веселой, любви горячей, чтобы муж и побил, зато потом как следует «пожалел». Ясно, что вскорости тот, командированный, ее бросит, но тогда он ей, видимо, не на шутку приглянулся. Орест Иванович вспомнил, что сам-то он был холоден с Люсей, и в состоянии крайней, скверной тоски махнул рукой.

В свой эвакогоспиталь Орест Иванович не вернулся. Пробился к военному коменданту и выпросил отправку

на фронт. Только теперь в трагической суматохе октября и ноября, пережив эту гадкую, нелепую измену, он возмужал. Он вдруг почувствовал, что из его жизни вместе с Люсей ушло что-то, прежде так тяготившее его, вызывавшее порой даже брезгливость, от которой он очень страдал. К сыну он не успел еще привыкнуть настолько, чтобы переживать сейчас жестокую боль, хотя всю дорогу от Рязани до Москвы он думал только о нем и о Люсе. Сейчас ему жаль было тех темных, октябрьских ночей, когда он не мог уснуть, тоскуя по семье, по Люсе во всяком случае...

Через несколько дней Орест Иванович был на передовой. Теперь он не был озабочен ничем, кроме того, чтобы как можно мужественнее, бесстрашнее выполнить свой воинский долг. Теперь он был лейтенант как лейтенант, отличавшийся от других только тем, что не заводил себе фронтовой подруги, не переписывался с незнакомыми девушками в надежде на будущую встречу. Тем более не ждал он писем и от той, на которой числился женатым.

Временами, особенно когда он наблюдал горе других солдат и офицеров, потерявших из виду свои семьи, начинала и Ореста Ивановича грызть мысль о сыне. Но фронтовой мир оказался тесен: нашлись люди, которые знали о судьбе его бывшей супруги. Люся обосновалась в Кирове и там родила дочку от того самого тыловика, который умыкнул ее из Москвы и который сам уже давно был на фронте, так что Люся теперь перебивалась одна с двумя детьми. Орест Иванович скрепя душу переслал ей свой аттестат, но этим его заботы и ограничились.

После серьезного ранения уже в конце сорок третьего года Орест Иванович опять побывал в Москве и от соседей узнал, что из Кирова Люся перекочевала с детьми в город Любим, Ярославской области, где у нее была какая-то родня. Отец ее маленькой девочки, по имеющимся сведениям, погиб на Курской дуге, так что на него ей рассчитывать совсем уж не приходилось. Но во всех передрягах бывшая супруга Ореста Ивановича не потеряла присутствия духа, и, хотя сейчас возле нее и было двое сопляков, она как будто бы неплохо устроилась и даже не теряла надежд на новое замужество.

Встреча их произошла только в сорок седьмом... Орест Иванович уже демобилизовался, успел кончить два курса вечернего отделения Института имени Плеханова и работал плановиком в одном из учреждений в системе Министерства коммунального хозяйства.

И тут явилась Люся, приехала в Москву, чтобы оформить развод. Орест Иванович увидел своего шестилетнего сына. И не только его, но и четырехлетнюю девочку, которую мать неизвестно зачем притащила с собой.

Свою бывшую супругу Орест Иванович еле узнал. Перед ним стояла крепкая, круглая, закалившаяся в невзгодах молодая баба, которая, казалось, не испытывала никаких угрызений совести. Она закурила прямо Оресту Ивановичу в лицо и стала весело рассказывать какие-то совершенно ему неинтересные подробности своей бурной биографии. Стоящая рядом маленькая девочка была не его дочерью, но Орест Иванович не без страха заметил, что девочка эта очень похожа на Игоря, отчего невольно рождалось чувство, что и Игорь, может быть, тоже не его сын.

Оба ребенка воспитывались по-спартански; Люся ими почти не занималась; не одевала, не умывала, дети все делали сами. Они предпочитали сидеть не на стульях или на диване, а все время возились на полу, охотнее всего под столом. Есть не требовали, но если видели что-нибудь съестное, то немедленно, не спрашивая разрешения, хватали сами. А Люся на это не обращала внимания, много курила, много и громко разговаривала. Голоса ее Орест Иванович тоже почти не узнавал, тем более что в нем временами звучали какие-то драматические ноты: горя, видимо, она все-таки хлебнула да и в будущем вряд ли могла рассчитывать на совсем гладкую жизнь.

Поскольку у Ореста Ивановича была теперь довольно большая комната в районе Тишинского рынка, которую он получил, вернувшись с фронта с тремя ранениями и двумя орденами, он не мог не приютить у себя Люсю с детьми, хотя все в нем протестовало против этого: ведь Люся не просто погостить приехала, а получить развод в связи с тем, что у нее намечался новый брак. О подробностях она умалчивала, да и Орест Иванович ими не интересовался. Единственное, что его кололо, —

судьба сына. Но это было не теплое родительское чувство; скорее это была боязнь нарушить долг и запятнать совесть. Да и шестилетний Игорь не только не обнаруживал никаких симпатий к отцу, а, наоборот, почему-то боялся его, жался в сторону и не отвечал на вопросы. Люсе сейчас невыгодно было, чтобы Игорь разгадал в Оресте Ивановиче своего родителя, раз у нее возникал новый муж... И все-таки улыбнись ему мальчик хоть раза два, что-то в Оресте Ивановиче растопилось бы. А сейчас он был готов тут же, немедленно выложить деньги за развод, только бы поскорее Люся уехала и увезла детей. Это были, пожалуй, самые тяжелые дни и недели в его судьбе, тяжелее тех дней и недель, когда он лежал в госпитале под угрозой ампутации ступни.

Задавать Люсе вопрос, почему она с ним так подло поступила, Орест Иванович уже не считал нужным: и слава богу, что она так поступила, а то сейчас эта крепкая, коротко̀шеяя баба с накрашенными губами была бы его женой.

Кто разводился в те годы, тот помнит... Правда, Орест Иванович чувствовал, что женщина-судья, переводившая взгляд с него на Люсю, а с Люси опять на него, понимает прекрасно, кто прав, кто виноват. Тем не менее Оресту Ивановичу присуждены были алименты на содержание сына впредь до его совершеннолетия и, кроме того, его обязали выплатить их за все послевоенные годы. Ладно, что у Люси хоть хватило совести заявить, что на девочку она алиментов не требует, что та от «другого», хотя по закону она вполне могла бы содрать их с Ореста Ивановича.

Длилось все это около трех недель. Орест Иванович совсем не мог спать в своей собственной комнате. И днем у него все валилось из рук. А Люся совмещала бракоразводный процесс с беготней по барахолкам. Что же можно было сказать, когда дети ее действительно были раздеты? Орест Иванович дал ей кое-что из вещей, привезенных из Германии. Люся все это очень выгодно пустила в оборот: одно продала, другое обменяла, приоделась сама и одела детей. Наблюдая все это, Орест Иванович пришел к выводу, что эта женщина ни при каких обстоятельствах не пропадет.

То, что она вела себя в его комнате так, будто приехала в гости к родственнику, а не к брошенному ею же мужу, с одной стороны, как бы облегчало положение, а с другой — делало его совершенно безобразным. Утром Орест Иванович видел ее плохо простиранное белье, кинутое куда попало, вперемежку с детским, тоже очень грязным. Слышал, как она зевает и как бранит детей, если они долго не спят, ни на минуту не задумываясь о том, что можно бы вести себя здесь потише и не каждую секунду напоминать о своем существовании. Под конец Орест Иванович почувствовал, что нервы его сдают.

Когда все было кончено, он проводил Люсю с детьми на вокзал. Игорь по-прежнему держался отчужденно, и Оресту Ивановичу пришла в голову эгоистическая мысль, что это к лучшему: гораздо больше было бы переживаний, если бы сын потянулся к нему.

Только в самую последнюю минуту ему показалось, скорее померещилось, что Игорь поглядел на него очень пристально, будто вдруг узнал в нем родного папу, от которого его сейчас увезут и которого он больше не увидит. Может быть, тут сыграли роль две порции мороженого, которые Орест Иванович на вокзале купил детям. Он растерялся, не зная, что еще сделать и что сказать.

— Ну, прощай, Игорь, — поспешно, но как можно ласковее произнес Орест Иванович и нагнулся, чтобы поцеловать сына.

Потом он погладил по голове ни в чем не виноватую, хотя и абсолютно чужую девочку и сделал так, чтобы в посадочной суматохе не подать руки Люсе. Но и ей было не до рукопожатий: она уже воевала с кем-то из пассажиров за место на нижней полке, пристраивала туда вещи и ребят. Только когда поезд тронулся, она спохватилась и махнула рукой Оресту Ивановичу в окошко. А он постоял, пока не проскочил мимо него последний, до отказа набитый людьми вагон, и поздравил себя с тем, что все-таки легко отделался.

Ночью он проснулся: ему померещилось, что он опять в своей комнате не один, что где-то совсем рядом Люся в коротком, нечистом халате, курит в потемках папиросу и насморочно сопят дети. Орест Иванович встал и настежь открыл окно.

Казалось бы, под прошлым была поставлена точка. Но минуло что-то около двух лет, и Орест Иванович вдруг получил от Люси какое-то лживое, истерическое письмо. Она писала, что Игорь не дает ей никакого покоя, все время просится к своему настоящему папе. Писала, что Орест Иванович произвел на мальчика очень хорошее впечатление, поэтому теперь между Игорем и отчимом, новым Люсиным мужем, постоянно происходят неприятности, отчего ее сердце просто обливается кровью...

По письму этому можно было подумать, что Игорю не восемь, а по крайней мере восемнадцать лет: тут и «хорошее впечатление», которое якобы произвел на него Орест Иванович, и «неприятности» между ним и каким-то там типом... Орест Иванович вспомнил полное равнодушие к себе маленького сына и понял, что Люся все врет. Что-то изменилось в ее семейной жизни, в результате чего Игорь оказался лишним, и мать хочет от него избавиться. Письмо было неряшливо и неграмотно написано, оно невольно напомнило Оресту Ивановичу грязные Люсины платья и рубашки, которые она, приехав в Москву разводиться, разбрасывала по его комнате.

Теперь уж он ничего не написал ей в ответ, хотя некоторое время его и мучила мысль, что мальчишку, который все-таки был его сыном, где-то там обижают, может быть, даже и бьют. Ему казалось, что Люся способна и на это, а уж тем более он ничего не знал о ее новом муже. Одновременно Орест Иванович догадался, что ведь как раз к этому времени он погасил свою алиментную задолженность за все послевоенные годы и что теперь те триста рублей в месяц, которые с него впредь будут удерживать, Люсю, наверное, уже не устраивают. От мысли этой ему стало просто тошно, и он так и не смог себя заставить хоть что-нибудь ответить ей.

Но Люся и без зова явилась в один прекрасный день и привезла Игоря. Орест Иванович вернулся со службы и увидел их обоих, сидящих перед его дверью на лестнице. Когда он подошел ближе, Игорь почтительно встал: конечно, его научила мать.

— Здравствуй, папа, — сказал он громко, но тоже заученно.

Слово «папа», произнесенное даже с неживой интонацией, произвело впечатление на Ореста Ивановича. Сердце подало ему какой-то сигнал.

— Здравствуй, Игорь, — сказал он сыну, но ни слова не сказал Люсе.

Зато она тут же, на лестнице, сообщила:

— Извел меня. Даже ночью плачет. Соседи думают, что мы его бьем.

Орест Иванович ошеломленно посмотрел на глазастого, худого, плохо одетого мальчишку. И заметил, как при словах матери тот опустил голову, весь съежился, словно хотел в какую-нибудь щель забиться. Что же это с ним? Ночью плачет... Может быть, мать просто врет, а ему сейчас стыдно за нее, поэтому он и ежится.

— Ну ладно, идем, — сказал Орест Иванович сыну и даже взял его за руку.

Люся подхватила свои пожитки и тоже проследовала за ними в квартиру.

— Двести рублей в кассе взаимопомощи взяла, — сообщила она. — А то на какие деньги я бы его привезла?

Она жаловалась на отсутствие денег, но уже на следующее утро побежала за какими-то покупками. Орест Иванович в первый раз остался один на один с сыном.

— Правда, что ты ко мне хочешь?

— Да.

— Будешь слушаться меня?

— Ага...

Орест Иванович все еще никак не мог отделаться от мысли, что все это подстроено. Но он понимал, что уж если его бывшая супруга что-то затеяла, то она ни перед чем не остановится. Неприятностей ему не хотелось: он, несмотря на исполнительный лист, по которому с него взыскивали алименты, был у себя на службе на очень хорошем счету.

Надо было приступать к исполнению родительских обязанностей. Орест Иванович покосился на узел, в котором Люся привезла кое-что из детской одежды. Но решил ни при каких обстоятельствах им не воспользоваться, даже не разворачивать.

— Бери шапку, пойдем, — сказал он Игорю.

В Краснопресненском универмаге Орест Иванович купил сыну серую школьную форму, но так как лето только начиналось, то еще бумажные брюки и две клетчатых ковбойки.

— Длинно, наверное, будет... Ничего, вырастешь.

На обратном пути Оресту Ивановичу показалось, что Игорь заглянул ему в глаза, словно хотел убедиться: раз ты мне все это купил, значит, ты меня оставишь? Теперь уж вроде не было сомнения, что он никак не желал ехать с матерью обратно в Любим.

Когда шли мимо зоопарка, Игорь увидел плавающих птиц и рискнул прильнуть к решетке. Но Орест Иванович подумал, что вряд ли стоит начинать с развлечений.

— Пойдем, пойдем, — не строго, но решительно сказал он сыну.

К вечеру вернулась и Люся, принесла четыре пары резиновых сапожек, и в комнате запахло обувным магазином. Люся увидела Игоря в новой красной ковбойке, и Орест Иванович заметил, как задергались ее подкрашенные губы. А когда она заплакала, тут уж он испугался, как бы она вдруг не изменила своего намерения и не увезла обратно Игоря.

Чтобы предотвратить всякие объяснения, Орест Иванович сказал как можно тверже:

— Я его беру. А тебя прошу как можно скорее уехать.

Люся вытерла слезы и попробовала заикнуться насчет денег на обратную дорогу, но Орест Иванович отказал наотрез. До вокзала он ее не проводил, довел только до ближайшей станции метро. У него сложилось впечатление, что Люся действительно едет в свой Любим без билета. И еще он отметил про себя, что после вступления в новое замужество она стала куда менее агрессивной.

Когда на следующий день утром Игорь проснулся, матери уже не было. Орест Иванович замер и выжидал, что спросит мальчик. Но тот молчал.

Потом слез с дивана, подошел к столу и потрогал пальцами чайник: это был намек на то, что он хочет чаю. Потом Игорь не выдержал и протянул руку к калачу, который Орест Иванович для него же и приготовил.

— Пойди вымой руки, — сказал отец.

Мальчишка поплелся на кухню и через двадцать секунд вернулся.

— А лицо?

Игорь покорно пошел снова. На этот раз вода шумела дольше. Полотенца он не нашел и явился весь мокрый. Он перестарался, холодная вода текла с волос, щеки и нос были красные.

— Ну, садись, — сказал Орест Иванович.

Он смотрел, как мальчишка жадно, всем ртом кусает калач, и понял, что в Любиме его не больно сладко кормили.

— Разжуй, потом глотай, — уже добрее заметил он сыну. — Куда ты торопишься?

Потом Орест Иванович смекнул, что не стоит так уж стоять над душой у парня, которому все-таки уже восемь лет. Он отошел от стола и сделал вид, что чем-то занят.

«А волосы у него мои, — подумал он, оглянувшись на Игоря, на его темно-русый, с завитком затылок. — Хоть что-нибудь...»

...Это было воскресенье. Оставив Игоря одного, Орест Иванович вышел на улицу, к телефону-автомату. В квартире, где он жил, тоже был телефон, но Орест Иванович не хотел быть кем-нибудь услышанным.

— Лиля, — сказал он, слегка прокашлявшись,— слушай, тут вот какое дело...

Лиля, с которой Орест Иванович был близко знаком вот уже более года, не была посвящена в тайны его биографии и не подозревала о существовании у него какого-то сына. Орест Иванович скрывал от нее, что он алиментщик, считая, что ущерба этим Лиле не наносит: она работала закройщицей в ателье закрытого типа и в материальной поддержке с его стороны не нуждалась.

Сперва Лиля восприняла сообщение как розыгрыш, потом сказала:

— Ну, знаешь!

Орест Иванович тоже был задет: он вправе был ожидать, что Лиля проявит хоть какой-нибудь интерес, спросит, по крайней мере, сколько лет его сыну, как его зовут. Но она сослалась на то, что сейчас ей разговаривать некогда, когда освободится, то позвонит. Он повесил трубку и хлопнул дверцей автоматной будки.

Игоря он застал дома сидящим в углу, прямо на полу. Мальчик теребил в руках старую полевую сумку, оставшуюся у Ореста Ивановича после фронта. Еще за дверью он услыхал, как Игорь бормочет нараспев:

И пусть только белый попробует,
Протянет к нам лапу свою!..

Игорь увидел отца и испугался, не станет ли тот бранить его за сумку.

— Играй, играй, — хмуро, но миролюбиво сказал Орест Иванович. Тем более что в его холостяцком, одиноком хозяйстве не имелось ни одной другой вещи, которой можно было бы заинтересовать восьмилетнего мальчишку.

После телефонного разговора с Лилей Орест Иванович несколько дней пребывал в неважном настроении. А Игорь держался пугливо: не понимал, в чем дело, думал, что отец им недоволен.

Как-то вечером они укладывались спать. Мальчишка возился с ремешком, украдкой косясь на отца.

— Бери подушку, ложись ко мне, — вдруг сказал Орест Иванович сыну.

Тот покорно подошел. Отец подсунул ему руку под голову, но оба долго лежали молча. Потом Орест Иванович почувствовал, что мальчишка заснул, и попытался свою руку освободить.

Но тут же пальцы Игоря прошлись по лицу отца, и его маленькая жесткая рука крепко схватила его за шею. Орест Иванович не отстранился, хотя Игорь вроде бы опять на ночь рук не вымыл. Он подумал о том, что, наверное, там, в Любиме, Игорь спал не один, может быть с сестренкой. Вряд ли он хотел обнять именно его, к которому конечно же еще не привык. Днем пока Орест Иванович никаких проявлений ласки от Игоря не видел.

«Как же все-таки мы с ним будем?.. — спросил себя Орест Иванович, думая о тех сложностях, которые внес сын в его одинокую, но свободную жизнь. — Что я ему скажу, если он о матери вспомнит? Или о сестренке?»

— Скажи-ка, вы там... очень плохо жили? — однажды решился спросить он сам у сына, не рискуя назвать все своими словами.

Мальчишка молчал, но Орест Иванович видел, что тот понял, о чем его спрашивают.

— Мы через забор дрова тырили, — вдруг сказал он.

— Как же так?.. Своих, что ли, не было?

— Ага.

— И кто же тебя посылал? Мама?

— Нет. Бабка, у какой мы жили. А мама говорила: не ходи, убьют.

Орест Иванович уже не рад был, что начал этот разговор. Сейчас он, как никогда, чувствовал себя виноватым перед сыном, который где-то мерз, которого посылали воровать дрова. А что, если бы его в самом деле изуродовали? Но Орест Иванович теперь с ясностью понял, что о матери Игорь не хочет говорить ничего плохого и не следует его на это направлять. Единственное, к чему он должен стремиться, это сделать так, чтобы Игорь ее поскорее забыл.

Первого сентября Орест Иванович в первый раз проводил своего сына в школу. По возрасту Игорь был даже старше своих одноклассников, но по развитию явно отставал: сказывалось детство, проведенное в ненавистном теперь Оресту Ивановичу городе Любиме. Но в конце концов оказалось, что в классе Игорь не худший, а за многое его даже хвалили. Перед Новым годом Орест Иванович пришел в школу на елку и увидел, как его сын под музыку исполняет какие-то силовые приемы, марширует и делает стойку на руках. Потом Игоря взяли в музыкальный кружок, и после нескольких занятий он уже мог исполнять что-то несложное на балалайке.

Соседи по квартире, желая морально поддержать Ореста Ивановича, находили в его сыне большое сходство с отцом, но сам Орест Иванович, к сожалению, этого сходства никак не мог уловить. Временами раздражал его и аппетит Игоря: мальчишка все время что-то ел, жевал, сосал.

Летом он отправил его на два срока в школьный пионерский лагерь. Недели через две Орест Иванович почувствовал, что немножко скучает, и решил навестить сына. Игорь не ожидал приезда отца, поэтому, когда увидел его, замер и только потом шагнул навстречу.

Помня его аппетит, Орест Иванович привез ему всяких гостинцев. Игорь тут же разорвал пачку с печеньем и принялся грызть.

— Тут тебе еды-то хватает?

— Ага. Ребятам привозят, они и мне дают!

Орест Иванович смотрел на Игоря и думал о том, что надо будет все-таки приезжать сюда регулярно. Вовсе не дело, чтобы его сына кто-то подкармливал, чтобы он подглядывал, что едят другие дети.

Но Оресту Ивановичу представилась возможность поехать на двадцать четыре дня в один из крымских санаториев. Он еще ни разу не был в Крыму, поэтому ему не хотелось упускать такую возможность. Вернувшись после сорокаградусной ялтинской жары в Москву, где лето было холодное и сырое, он в первый раз в жизни простудился и вынужден был взять бюллетень. Таким образом, он почти все лето не видел сына.

Орест Иванович лежал у себя дома на диване, когда Игоря привезли из лагеря родители его школьных товарищей.

— А я думал, тебя дома нет, — сказал Игорь спокойно и без всяких упреков.

После долгой разлуки он показался отцу очень окрепшим и выросшим. В свои девять лет Игорь был теперь плотный, бычковатый мальчуган, с большими, как у теленка, серо-молочными глазами и озорным, обгорелым носом. Ковбойка, которую купил ему Орест Иванович два года назад, из красной стала грязно-розовой, манжеты истрепались и не прикрывали кистей рук. Сейчас уже не приходилось сомневаться в том, что Игорь очень похож на свою мать. И была в этом обстоятельстве для Ореста Ивановича доля горечи.

Правда, чувство это понемножку рассеялось, когда Игорь обнаружил явное желание ухаживать за больным отцом: стал все вокруг него прибирать, ставить на место. Лег на живот и достал из-под дивана оброненные туда Орестом Ивановичем газеты. Видимо, в лагере его ко многому приучили, даже есть и пить вовремя.

Потом в Игоре обнаружились и непонятные для Ореста Ивановича хозяйственные наклонности: он не в труд, а в удовольствие мог отстоять в очереди и притащить тяжелую сумку продуктов, быстро усвоил, что и почем стоит, в каком магазине что лучше купить. С одной стороны, это было совсем неплохо, а с другой стороны, как понимал Орест Иванович, это все шло от

матери и грозило обратиться теми базарными ухватками, которыми отличалась Люся.

— Лучше уроки делай! — сухо сказал он Игорю, когда тот сообщил, что в магазине за углом что-то «дают».

Как-то раз, возвращаясь домой, Орест Иванович увидел сына, бегущего через улицу с потрепанной хозяйственной сумкой. Вид мальчишки был озабоченный.

— Куда ты?

— Огурцы дают.

— Ну и зачем они нам?

— Марье Ивановне.

— А ну-ка домой!

Игорь посмотрел жалобно: видимо, соседка Марья Ивановна очень просила его насчет огурцов.

— Ну иди, только в последний раз.

Орест Иванович не был человеком недоброжелательным, и со всеми соседями у него были хорошие отношения. Но ему никак не нравилось, что его сын бегал кому-то за огурцами, выводил гулять чьих-то собак. Явно не стоило поощрять в нем эти холуйские наклонности.

— Если ты мне еще хоть одну двойку принесешь,— сказал он Игорю, когда тот разгрузился от огурцов и пришел домой,— то смотри!..

А в общем-то ничем серьезным сын его не огорчал. Он не приносил из школы пятерок, разве что по физкультуре, по пению, по труду. Но и двойки бывали не так уж часто. А главное — мальчишка был очень самостоятельный, не нуждался в опеке, сам находил себе дело: собирал для школы бумагу, металлолом, был на подхвате у пионервожатых, у нянечек, даже у дворников. Его замызганный портфель еле вмещал какие-то «необходимые» предметы: банки с красками, кисточки, пузырьки для опытов.

— Эх ты, мусорщик! — сказал как-то отец.— Недалеко ты с этим делом пойдешь.

Игорь ухмыльнулся и кивнул головой, словно согласен был «далеко не пойти».

— Хотел ведь летчиком-испытателем стать.

— Меня не возьмут в летчики,— сказал Игорь.— У меня глаза разные.

— Как разные?..

— Вот погляди.

Игорь приблизил свое лицо к лицу отца. Ошеломленный Орест Иванович пригляделся, и ему действительно показалось, что один зрачок у Игоря серый, добрый, а другой чуть зеленее, какой-то крапчатый и есть в нем что-то тигриное. Только не от взрослого тигра, а от тигренка-малыша. Но когда Игорь перестал таращить глаза, опять заулыбался, оба зрачка одинаково заискрились, стали как будто одинаковыми.

— Чушь ты мелешь! — сказал Орест Иванович.

— Я сам не знал, а мне ребята сказали.

— Ну и почему нельзя в летчики? Ты разве плохо видишь?

— Нет...

Орест Иванович еще раз окинул взглядом плотненькую, круглоголовую фигуру сына, его короткопалые, не очень чистые руки, посмотрел на его рваный портфель.

«Чего я от него хочу? — спросил он сам себя.— Ему только одиннадцатый год. Дурачий возраст. Умыться на ночь не заставишь. А все-таки, пожалуй, хорошо, что он у меня есть».

3

Больше Орест Иванович не женился. С одной стороны, возросла его привязанность к Игорю, с другой — в складную семейную жизнь уже не верилось.

Орест Иванович, несмотря на свое потайное тяготение к женскому полу, был человеком сдержанным. Во-первых, он все еще не мог выйти из-под впечатления, которое произвела на него вся история с Люсей. Во-вторых, его ко многому обязывало служебное положение. У них в организации дело с моралью было поставлено строго. Не могло, например, идти речи о том, чтобы запереться с какой-нибудь «дамой» в служебном кабинете. Жизнь в большой общей квартире тоже накладывала определенные запреты. И тем не менее за последние три-четыре года, уже при сыне, у Ореста Ивановича было несколько романов.

С одной веселой и интересной женщиной, массовичкой по профессии, Орест Иванович трижды ездил в отдельной каюте на теплоходе, курсирующем от Речного вокзала до «Солнечной поляны». Над их головами грохали ноги танцующих на верхней палубе, казалось, что кто-нибудь может ухитриться заглянуть в узкую щель

между рамой и занавеской, которой было задрапировано окошко в каюте. Но если это смущало и травмировало Ореста Ивановича, то его спутница-массовичка относилась к этому совершенно терпимо. Может быть, именно поэтому Орест Иванович и не поехал с ней в четвертый раз.

Гораздо больше была задета его душа несостоявшейся любовью с молодой врачихой из районной поликлиники. Живая и говорливая, совсем не похожая на задерганных, умученных обходами районных врачей, будущая «пассия» Ореста Ивановича ходила к ним в квартиру возле Тишинского рынка лечить старушку, единственной болезнью которой была дряхлость.

— Товарищ дорогой,— обратилась она к Оресту Ивановичу,— наверное, вы ответственный по квартире? Что же у вас такая безобразная раковина? Просто руки мыть противно. Организуйте что-нибудь.

Орест Иванович не был ответственным, но он нажал на домоуправление, и раковину им заменили.

Старушка соседка все не поднималась, и врачиха, которую звали Майей Трофимовной, посещала их квартиру регулярно два раза в неделю, обычно в конце обхода.

— Здравствуйте, товарищ ответственный! — весело говорила она Оресту Ивановичу, хотя он ей уже вежливо объяснил, что вовсе он здесь не ответственный.— А что это вы сегодня так рано дома?

Майя уже догадывалась, что рано он теперь приходит из-за нее, но делала вид, что знать ничего не знает. Тем не менее близкое знакомство все же состоялось. Молоденькая участковая врачиха была человеком свободным и лишенным предрассудков. Когда Орест Иванович в первый раз рискнул посетить ее, тамошние жильцы высыпали в коридор, но Майю это нисколько не смутило.

— Ух ты, какой вы сегодня красивый!.. Заходите.

Орест Иванович действительно оделся как нельзя лучше: на нем был бледно-голубой габардиновый макинтош, почти такая же голубая шляпа, синие полуботинки. Но он уловил веселую иронию в словах Майи, и это несколько ослабило радость свидания.

Майя Трофимовна красавицей отнюдь не была: глазки у нее были веселые, но очень маленькие, брови ре-

денькие, носик картошечкой. Правда, фигурка была очень складная и, несмотря на крестьянское происхождение, красивые руки и ноги. Сердце Ореста Ивановича она пленила и любовью к стерильному порядку, так что по сравнению с полной неряхой Люсей и даже с Лилей, которая выполняла левые заказы из ателье у себя на дому и превращала квартиру в склад тряпок, маленькая комнатка Майи казалась Оресту Ивановичу райской обителью.

Ему пришлось довольно долго приходить в эту обитель, прежде чем Майя, видимо под влиянием доброй минуты, разрешила ему задержаться у себя дольше положенного.

Уже во втором часу ночи Орест Иванович, счастливый, вернулся домой и тут увидел Игоря, но не спящего на диване, а сидящего опять на полу, у двери, зареванного, несчастного...

— Чего ты плачешь?..— тихо спросил отец.

— Да-а, а где ты был?..

— Ну перестань!.. Что ты, маленький, что ли?

...В окна лезла весна, светало рано. Орест Иванович был близок к тому, чтобы сделать Майе предложение. Но его постигло страшное разочарование: сразу же погрустневшая Майя почему-то опять перешла на «вы» и сказала:

— Ну что это вы, товарищ дорогой?.. Мы же с вами такие разные!..

Орест Иванович был обижен и не мог понять, в чем же эта «разность». Правда, он был старше Майи лет на двенадцать, но по всем остальным данным: образованию, служебному положению,— как он считал, он должен был ее устраивать. Что у него сын, она тоже знала. Значит, другое... Неужели ей было плохо с ним, просто она стеснялась сказать?

— Ну что же,— сказал Орест Иванович, чтобы не услышать еще чего-нибудь обидного,— тогда извините!..

Теперь он уже не спешил со службы домой, потому что опасался застать Майю: в квартире жила тьма народу, и кто-нибудь мог захворать.

Один раз он все-таки «напоролся» на нее, застав в кухне у новой раковины, над которой она мыла свои красивые и без того чистые руки.

— Здравствуйте, товарищ ответственный! — дружелюбно сказала Майя.

— Добрый день,— холодно ответил Орест Иванович и тут же закрыл за собой дверь в свою комнату, не желая больше повторять, что он не ответственный.

«Почему?..» — думал он.

Вечером, глядя на спокойно спящего Игоря, он продолжал размышлять:

«Все-таки несправедливо... Один и один. Хоть бы этот замурзяка меня по-настоящему любил!..»

Игорь довольно рано обнаружил признаки возмужания. Становясь юношей, он очень заметно похорошел. И хотя по-прежнему учился не блестяще и не всегда красноречиво мог высказать свои мысли и желания, но от товарищей в развитии отставал все меньше и меньше. В пятнадцать лет у него пробились темненькие, пушистые усики, и так как зубы у него были белые и ровные, то в совокупности это выглядело очень привлекательно. И сколько ни старался Орест Иванович задержать сына подольше в школьной форме (не из экономии, а в воспитательных целях), это казалось уже несправедливым по отношению к взрослому, видному парню, которым интересовались девчонки-старшеклассницы.

За огурцами для соседей Игорь теперь уже не бегал, банок и пузырьков в портфеле не таскал. Свободное время проводил в автомастерской при школе, да появилось у него новое увлечение — гитара, полученная в приз за какое-то спортивное достижение.

Жили они пока по-прежнему в коммунальной квартире около Тишинского рынка, но Орест Иванович к тому времени перешел работать в одно из республиканских министерств, так что появились виды на отдельную квартиру.

С юных лет привыкший к самостоятельности, не знавший ни опеки, ни роскоши, Орест Иванович не страдал от отсутствия в доме большого уюта. Длительная одинокая жизнь приучила его к порядку, Игорь перенял его повадки, поэтому жили они в относительном благоустройстве и чистоте, не испытывая тяги к украшению быта. Да и жить без лишних вещей двум мужчинам

было гораздо легче. Зато они не отказывали себе в хорошей еде, ходили в цирк, на стадион имени Ленина, иногда даже в театр, сменили маленький телевизор на самый большой. Правда, на карманные расходы Орест Иванович выдавал сыну весьма умеренно, но тот ни разу добавки не попросил. Не замечал Орест Иванович и того, чтобы Игорь потихоньку курил или тем более попробовал бы вина.

Нет-нет да и ловил себя Орест Иванович на мысли, что мог бы он побольше любить и нежить своего сына, что тот как-никак единственное и, наверное, навсегда родное существо. Не самый неудачный мальчик на свете был его Игорь, в котором пробудилась и доверчивость и даже какая-то телячья ласковость, несвойственная мальчишкам его возраста. Но Орест Иванович порой недоумевал: почему так легко Игорь навсегда забыл о матери, до восьми лет его худо-бедно растившей? Не получится ли в один прекрасный день так, что и все сделанное для него отцом тоже будет забыто, оставлено без всякой благодарности?

В старших классах Игорь учился уже с большой натугой, и Орест Иванович пережил по этому поводу немало неприятных часов. В аттестате зрелости, который наконец получил Игорь, преобладали кудрявые тройки. Но странное дело: на новом, белом, чистом листе, выведенные как будто с любовью, эти тройки не производили обидного впечатления.

Орест Иванович все-таки недобро усмехнулся:

— Ну оторвал!.. Даже по истории тройка. Подумаешь, хитрый предмет! Куда ты с этим «документом» пойдешь, интересно?

Он взглянул на сына и убедился, что тот-то не слишком огорчен своим аттестатом. Рад, что школьная маета позади: образ молодого героя, забастовка орехово-зуевских ткачей, сослагательное наклонение в немецком языке...

— А от мамаши-то своей ты ведь недалеко ушел,— уже зло сказал Орест Иванович.— Тебе бы так и сидеть в Любиме этом!..

Игорь удивленно и тревожно покосился на отца: в «тигрячьем» глазу его мелькнул какой-то укор. Но он только мотнул головой и ничего не возразил.

Но Орест Иванович зря возмущался: даже и с трой-

ками Игоря приняли в автодорожный институт. Видимо, помогли его спортивные успехи: он уже имел разряд по пятиборью. В характеристике, которую он представил, перечислялись все его общественные нагрузки. Так что не успел начаться в институте учебный год, Игоря и тут выбрали в какую-то секцию, потом в курсовое комсомольское бюро, потом еще куда-то.

— Пап, дай мне на проездной,— попросил он у отца.— Со стипендии я тебе отдам.

— Вряд ли она у тебя будет.

— До Нового года всем дадут.

— Ну, разве что до Нового...

Игорь был по-своему счастлив. Ему хотелось сказать отцу что-нибудь приятное.

— Знаешь, папа, ты ведь теперь можешь жениться.

Орест Иванович пожал плечами.

— Спасибо за разрешение. Только что-то не очень хочется. Да и тебе подольше не советую.

Совет этот, пожалуй, был и излишним. Хотя Игорь был парень видный и мог не сомневаться в успехе, он этим не пользовался пока, держался застенчиво, дружил одинаково — и с ребятами и с девчатами. Что касается его учебных дел, то Орест Иванович как-то успокоился: среди товарищей Игоря по курсу будущих светил вроде бы не прощупывалось, всех заедало какое-нибудь хобби, а в результате экзамены все-таки сдавались, дипломы защищались и жизнь шла. А Игорь так вообще был молодец: среди самой пьяной компании оставался трезв, девочек не обижал и тем более не нарвался на алименты, что даже среди первокурсников имело место. Но вот обществом отца он с некоторого времени не то чтобы тяготился, а как-то получалось, что все они были врозь и врозь. Второе лето подряд Игорь уезжал на целину, а весной, осенью все свободное от занятий время убивал на то, что помогал своим товарищам, отцы которых были машиновладельцами, возиться с их «Запорожцами» и «Москвичами».

В конце концов Оресту Ивановичу пришла мысль, что лучше уж, чем убивать время и силы на чужие машины, купить свою. Надо сказать, что за всю свою жизнь Орест Иванович рубля не израсходовал зря. И не так уж ему нужна была эта машина, как ему не хотелось, чтобы его сын ходил у кого-то в слесарях, бе-

гал по лестнице с ведром кипятку, с какими-то тряпками. Но Орест Иванович решил пока Игорю о своем намерении не говорить. Только когда Игорь заговорил о покупке мотороллера на заработанные на целине деньги, отец сказал с явным намеком:

— Подождем. Зачем мелочиться?

По тому, как заблестели глаза у Игоря, Орест Иванович понял, что парень догадался, о чем идет речь.

— Ты ведь у меня один,— сказал он с предельным великодушием.— Для кого мне беречь?..

До покупки машины было еще далековато, но Игорь сдал на водительские права и все свободное время проводил теперь в гараже у товарища, возле старой, облезшей «Победы», набивал руку. Оба они с отцом перешли на режим строгой экономии: уже больше не покупались театральные билеты, футбольные и хоккейные матчи смотрелись по телевизору, была продана гитара и ценный спортивный инвентарь. Как ни странно, именно теперь, когда они стали складывать в ящик стола пятерки и десятки, наступило и сближение: было о чем посоветоваться, прикинуть возможности. Орест Иванович, увлеченный теперь не меньше сына, решил воздержаться от покупки мебели для новой квартиры, которую они получили на Фрунзенской набережной с видом на Москву-реку и Нескучный сад. В комнате у Игоря так и осталась только одна раскладушка, а комнату самого Ореста Ивановича украшал главным образом большой телевизор под черное дерево с блестящими ручками. Сюда был перевезен от Тишинского рынка старый кожаный диван и обеденный стол, под которым пятнадцать лет назад играл Игорь, доставленный матерью из Любима в столицу. Пиджаки свои и брюки Орест Иванович и Игорь вешали пока в большой стенной шкаф, в котором почему-то даже после нескольких месяцев пребывания в новой квартире все еще пахло черт его знает каким-то вонючим клеем.

— Вот коврик какой-нибудь нам с тобой обязательно надо,— сказал Орест Иванович,— чтобы сиденье новое не попортить. И в санитарном отношении...

— Ага,— отозвался Игорь,— правильно.

Орест Иванович пошел к телефону: он вел переговоры насчет гаража. А заодно и условился насчет первого техосмотра.

Красивый зеленый «Москвич» был куплен в разгар весны шестьдесят второго года В первое же воскресенье Игорь повез отца по достопримечательностям Подмосковья. Взволнованный главным образом ощущениями от своего машиновладения, Орест Иванович все же получил удовольствие от увиденной им впервые Сергиевской Лавры и Абрамцевского музея. Радовало его и то, как уверенно Игорь сидит за рулем: по крайней мере, ни разу их ГАИ не остановила, ни рубля штрафа они не заплатили. Ковра, правда, они еще не раздобыли, но Орест Иванович застелил сиденье чистой белой бумагой, а Игорь с разрешения отца поместил в кабине вырезанный из журнала «Америка» портрет Одри Хепбёрн.

— Папа, можно я Яшкину семью на дачу отвезу? — спросил Игорь.

— Что это за Яшка?

— Наш один... У них ребенок.

— Ну, знаешь!.. Если ты с самого начала...

Игорь не возразил, но отцу показалось, что тот огорчен. Чтобы оправдать свои слова, Орест Иванович добавил:

— У тебя экзамены на носу. Какие могут быть перевозки?

«Теперь его все эксплуатировать начнут,— думал он, поглядывая на сына.— Телок!.. Езда такая сложная, из-за кого-то рисковать?»

Но Игорь все-таки рискнул: месяца через полтора после того, как был куплен красивый, зеленый «Москвич», в самый разгар экзаменационной сессии Яшкиному ребенку срочно потребовалось какое-то лекарство. И тут на Каширском шоссе, возле Борисовских прудов, на маленькую машину Игоря налетел большой автокран.

На щеку и на лоб Игорю наложили два шва, переносье все залепили пластырем. С месяц Игоря мучили в стоматологической клинике, исправляя челюсть и зубы. Орест Иванович уже готов был к тому, что сын его останется уродом. Когда он вспоминал, какие зубы у Игоря были раньше, его трясло, как в лихорадке. В нем наконец проснулся настоящий отец, со всеми угрызениями совести, с настоящими страхами и болью.

Но Игорь уродом не остался. Правда, от перенесенных страданий он поседел, и не ровной сединой, а прядями. После выхода из клиники он обрил голову, но и это не помогло. Верхние зубы еще долго были перехвачены у него металлическими пластинками и крючками. В результате операции на челюсти изменился и голос. Но это все было дело временное, а главное — не пострадали ни череп, ни зрение.

— Теперь мы с тобой одного возраста,— с трудом улыбаясь, сказал Игорь отцу, намекая на седину и вставные зубы.

Орест Иванович не разрыдался, как мог бы другой отец на его месте. Но мужества ему для этого потребовалось много.

О разбитой машине они не сказали друг другу ни слова, как будто ее никогда и не было. Через неделю после аварии Орест Иванович, совершенно не постояв за ценой, продал «Москвич» с искалеченным радиатором первому попавшемуся покупателю, лишь бы только Игорь не вздумал снова сесть за руль. Когда Игоря выписали из клиники, отец мог бы отвезти его домой на такси, но они с молчаливого обоюдного согласия пошли к остановке троллейбуса.

Орест Иванович взял отпуск и стал своему сыну нянькой: варил, прокручивал через мясорубку, протирал через сито, чтобы Игорю легче было глотать, пока во рту у него было полно металла. Бегал за самыми дефицитными продуктами, чтобы отбить у него вкус этого металла, помогал умываться и одеваться, потому что у Игоря долго болело плечо. Сопровождал на рентген и перевязки, а главное — всячески старался развлечь, чем-то повеселить, помочь забыть о болях, о пережитых страданиях.

— Хорошо, что мы с тобой холостые,— бодрясь, сказал Игорь.— А то бы сейчас кто-то рядом ныл...

— Вот уж не знаю, хорошо ли,— вырвалось у Ореста Ивановича.

4

В институт Игорь не вернулся. Из-за катастрофы, которая произошла с ним на Каширском шоссе, экзаменов он за четвертый курс не сдал. И хотя ему была предоставлена возможность сдать их осенью, он так и

не смог заставить себя отвлечься от физической боли и переживаний, связанных с потерей совсем новенького «Москвича». Да и Орест Иванович не нашел в себе силы, чтобы достаточно активно понукать сына. При других обстоятельствах, брось парень институт, завтра же его забрали бы в солдаты, но Игорю теперь это не угрожало.

— Трудиться надо идти,— с мрачной усмешкой сказал он отцу.— В интеллигенты я теперь с такой мордой не гожусь.

С осени Игорь пошел работать на завод имени Ленинского комсомола, собирать те самые маленькие, красивые машины, к которым Орест Иванович теперь не испытывал ничего, кроме неприязни. Чтобы утешить его, Игорь обещал, что с будущего года вернется в автодорожный, на заочное. Но в это как-то плохо верилось: и тут, на заводе, едва Игорь огляделся, его впрягли в какую-то секцию, выбрали в цеховое комсомольское бюро, и дома его Орест Иванович теперь почти не видел. Мысль, что сын его останется слесарем, пусть и самой высокой квалификации, была ему просто ножом по сердцу. Он уже и запамятовал, с чего начинал сам: скоблил формы на хлебозаводе в давно забытом им Плавске, потом, до армии, три года счетоводом спину гнул, не успевал на локти заплаты нашивать.

Некоторые приятные минуты Орест Иванович все-таки испытал, когда в канун Нового года Игорь принес и показал ему значок «Ударник коммунистического труда».

— Смотри, какой герой!.. Ну что же, садись, выпьем с тобой по этому случаю.

И они обмыли значок.

— Вот и большой мужик ты у меня стал!..

— Ага, большой!..

Они выпили еще по рюмке, потом Орест Иванович пошел на свой диван, а Игорь включил телевизор.

— Чего там? — спросил отец, более склонный подремать.

Играл большой симфонический оркестр. Управлял им пожилой красавец дирижер со страстным, увлеченным лицом. Игорь слушал молча, потом позвал отца.

— Пойди погляди.

Орест Иванович поднялся.

— Это кто такой?

— Караян.

Оба внимательно глядели. Этот человек, чьи руки и лицо занимали сейчас весь экран, был старше Ореста Ивановича и, наверное, годился Игорю в дедушки. Иногда виден был зал, лица слушателей, чаще всего молодые, женские. И Оресту Ивановичу пришла в голову мысль, что этого таинственного, раньше им не виденного Карояна могла бы полюбить самая молодая и красивая женщина. А он сам в свои пятьдесят пять лет сидит тут, ничем не согретый, так ничего сколько-нибудь яркого и не переживший.

Когда оркестр замолчал, зал разразился аплодисментами. Орест Иванович опять подумал о том, что аплодируют, наверное, не музыке, какой-то сложной и незнакомой, а глазам пожилого дирижера, его лицу, страстным рукам.

— Понравилось тебе? — спросил Игорь.

— Понравилось.

— А ты включать не хотел!..

— Почем я знал? Теперь будем включать.

— Обязательно будем!

Орест Иванович обратил внимание, что глаза у сына что-то уж очень ярко блестят, особенно тот, «тигрячий». Знал ли Игорь, что будет играть этот оркестр, или включил телевизор случайно? С тех пор как Орест Иванович взял сына из больницы, на попорченном швами лице Игоря можно было заметить гораздо больше разнообразных чувств, чем тогда, когда он еще был белозубым красавчиком. Раньше жил рядом с отцом покладистый, но без царя в голове сынок, а теперь — задумчивый, что-то решающий молодой мужик. Орест Иванович обратил внимание и на руки Игоря, большие, рабочие, по-прежнему не всегда хорошо отмытые.

Ему в этот вечер захотелось подольше посидеть с сыном.

— Неси шахматы, сыграем.

Они сыграли две партии, потом Игорь пошел к себе в комнату, лег на раскладушку и взял книгу. Орест Иванович еще днем обратил внимание на незнакомый переплет. Но ни фамилия автора, ни название ничего ему не сказали. Это был перевод с испанского, а на обложке стоял штемпель библиотеки какого-то НИИ.

«Как она к нему попала? — подумал Орест Иванович.— Вот так берут в библиотеке книжки и не отдают...»

Через несколько дней перевод с испанского сменился переводом с чешского.

— Кто это тебя снабжает? — спросил Орест Иванович сына.

Игорь набрался духу и сказал:

— Лена.

Какая-нибудь Лена, или Таня, или Наташа должны были рано или поздно появиться. Этого и сам Орест Иванович подспудно желал. Но сейчас, когда Игоря так «покорежило», когда он еще ничего в жизни не добился, когда всеми силами нужно притащить его обратно в институт, всякие Лены, Тани, Наташи были вроде бы совсем ни к чему. И откуда она взялась, эта Лена?..

В один прекрасный день она пришла к ним в квартиру на Фрунзенскую набережную и подала Оресту Ивановичу очень маленькую, тоненькую руку.

Это было миловидное, худенькое существо с пепельными волосами ниже плеч. Сквозь стекла больших очков глядели светлые, как будто добрые глаза. На Лене были узкие, выцветшие брючки, полосатая трикотажная кофточка с большим вырезом, из которого выглядывали острые, незагорелые ключицы.

Оресту Ивановичу вспомнилось, что эту девицу он вроде бы видел в клинике, где лежал Игорь. Когда он пришел к сыну, она любезно поздоровалась и тут же уступила место.

— Это что за посетительница? — спросил тогда Орест Иванович Игоря.— Из автодорожного, что ли?

Игорь покачал забинтованной головой, указал на другую койку, где лежал какой-то парень: к нему, мол, а вовсе не ко мне приходила.

И вот теперь оказывается, что и к нему тоже. Значит, эта история тянется больше чем полгода. Не из-за этой ли самой Лены бросил парень институт, захотев собственных денег и самостоятельности?

...Сейчас Ореста Ивановича прежде всего задел за живое костюм будущей невестки. Ведь могла бы она явиться в юбке, а не в штанах, могла и чулки надеть, чтобы не показывать ногти на маленьких, детских ножонках. Орест Иванович подумал о молодых и не слиш-

ком молодых женщинах, которые во время оно занимали его воображение. Он вспомнил даже свою проклятую Люсю: она была яркая, броская, любила попестрее одеться, и даже когда у нее ребенок грудь сосал, все равно прихорашивалась и подкрашивалась. Орест Иванович воскресил в памяти своих былых знакомок, всегда подтянутых, со вкусом одетых и причесанных. Ни одной из них не пришло бы в голову нацепить на себя подобие матросской тельняшки и в таком виде идти в первый раз в дом к жениху. Эта Лена как будто на субботник собралась, только что ситцевым платком не покрылась.

Появление Лены было совершенно неожиданным, поэтому у Ореста Ивановича не оказалось никакого угощения. И в комнате против обыкновения был беспорядок: в связи с событиями последних месяцев заботы о быте отошли у них с Игорем совсем на десятый план. Но Орест Иванович не заметил и тени разочарования на лице у Лены, как не заметил и смущения, с которым девушка, по его мнению, должна была бы в первый раз прийти на показ к родне будущего мужа.

И вдруг он понял: чего же ей разочаровываться или удивляться? Ведь ей же здесь не жить. И он этого не хочет, и она, вероятнее всего, не согласится. Если бы тут у них не один, а пять диванов стояло, пять люстр и пять ковров бы висело, похоже, что Лене это было бы безразлично. Орест Иванович почувствовал, что рано или поздно она его сына уведет за собой, сделает это черное дело, хотя глаза у нее и добрые.

Все же он попытался быть гостеприимным, что-то подать на стол, приготовить А его сын доверчиво и влюбленно смотрел на Лену. Тщетно пытался Орест Иванович уточнить, о чем они вполголоса переговаривались, но так ничего и не понял. Ну ладно, Игорь хоть операцию перенес, еле языком ворочает, а Лена-то чего же боится, как человек, рот раскрыть? Мурлычет что-то на каком-то птичьем языке. Орест Иванович уже был посвящен в то, что Лена на четыре года старше Игоря и уже находится в разводе, поэтому ему казалось особенно нелепым, что она как будто корчит из себя девочку.

— Знаете что,— вдруг сказала Лена, увидев, что Орест Иванович собирается жарить яичницу, — если

можно, я лучше сырое яйцо выпью. Я очень люблю сырые.

Орест Иванович растерялся и стоял с чайником в руках, не зная, ставить ли его на газ, или Лена предпочитает вместо чая пить сырую воду.

— До свидания,— приветливо сказала она, выпив яйцо и не дожидаясь другого угощения.— Игорек, я побегу сейчас за Алкой в Гнесинское. Позвони вечером после одиннадцати.

Когда она убежала, Орест Иванович спросил:

— Что это еще за Алка?

— Девочка ее...

— Ах, еще и девочка имеется?

— Да,— мужественно сказал Игорь,— имеется.

С одиннадцати вечера до двенадцати Игорь сидел у телефона. Сам он почти ничего не говорил, а Лена щебетала так громко. что голос ее Орест Иванович слышал даже в соседней комнате. А может быть, ему это казалось. Вроде бы такой односторонний разговор не мог сильно ему мешать, но выдержать его в течение часа оказалось безумно трудным. Орест Иванович готовился к тому, чтобы излить свое недовольство, но Игорь его опередил.

— Тебе большой привет,— сказал он.

— Спасибо...

— Знаешь, она ведь очень хорошая.

Орест Иванович приподнялся и сел на диване.

— Чем же она такая хорошая? Одну семью уже развалила.

Игорь сморщил свой зашитый лоб и пожал плечами.

— Почем ты знаешь, может, не она развалила.

— Первая баба у тебя, поэтому и думаешь, что лучше нет.

Тогда Игорь сказал почти грубо:

— Знаешь, давай лучше не будем!..

— Что это значит «не будем»? — взорвался Орест Иванович.— Не касается это меня, что ли?..

Оба они долго не могли успокоиться. Утром Игорь хмуро сказал отцу:

— Я думал, ты рад будешь. А то бы она сюда не пришла.

— Да пусть приходит! — с надрывом кинул Орест Иванович.— Они сейчас все такие. Зачем тебе лучше, чем другим?

Весь день он не мог взять себя в руки. Вспоминал в деталях собственные романы, которые по возможности держал в тайне от окружающих, хотя стесняться ему было некого и нечего: он был человек свободный. Вспоминал короткие и однозначные беседы по телефону из общей квартиры со своими избранницами. Конечно, это была не та любовь, от которой теряют голову. Но уж зато все было прилично, не напоказ. А эта приходит без всякого стеснения, в брюках, сырые яйца ест.

— И ты меня извини,— сказал он вечером Игорю.— Не хочется мне тебя отдавать. Все-таки один ты у меня...

Но полностью уступить Игоря и не пришлось: Лена, состоя в невестах, появлялась и уходила. Орест Иванович теперь не торопился со службы домой: ему хотелось, чтобы Лена ушла без него. Следы ее присутствия оставались в виде забытой у телефона записной книжки, гребенки и заколок в ванной, завернутых в газету детских ботинок или ее собственных стареньких босоножек, предназначенных для ремонта. Еще чаще наталкивался Орест Иванович на какие-то забытые таблетки: от головной боли, сердечные, желудочные. Можно было подумать, что в гостях побывала не двадцатисемилетняя молодая женщина, а старушка пенсионерка. Нашел он и несколько направлений — к рентгенологу, на сдачу крови из вены, к невропатологу...

— Да что за черт? — спросил он у Игоря.— Чего это она все лечится? Когда же она работает-то?

Четыре года назад Лена закончила Иняз, владела французским и испанским, но до сих пор не могла найти работу, которая была бы ей по сердцу. С преподаванием в школе у нее ничего не вышло, она вспоминала это как страшный сон. Никого она ни в чем не обвиняла, относила свои неудачи за счет отсутствия педагогического таланта. Мечтала она о литературной работе и работала пока в иностранной библиотеке при каком-то крупном НИИ на половинной ставке. Временем своим она располагала довольно свободно. Но Оресту Ивановичу доподлинно известно было лишь то, что средства у его будущей невестки были очень скромные. Может быть, имен-

но поэтому и ходила она в своей тельняшке?.. По крайней мере, Орест Иванович на ней пока никакого другого костюма не видел. О семье Лены сведения он имел тоже весьма отрывистые: мама когда-то пела в хоровой капелле, сейчас на пенсии. Отец Лены, по специальности зоолог, скончался десять лет назад от последствий тяжелого фронтового ранения. Лениной девочке шесть лет, ее водят в музыкальную школу при Гнесинском училище, живут они все в одной комнате, в большой коммунальной квартире в Померанцевом переулке. Есть у Лены еще и какая-то тетя, в прошлом тоже имевшая отношение к искусству, а теперь больная и нуждающаяся в уходе.

«Да, нашел себе мой сынок!..» — думал Орест Иванович.

Сейчас ему уже как-то и в голову не приходило, что Игорь его это тоже не подарок: физиономия попорчена, институт брошен, специальность не освоена и денег не гора. Разве что парень добрый и не нахальный — предался душой этой ничем не примечательной Лене.

Но Орест Иванович не мог не признать и того, что было все-таки что-то милое и беззаветное в этой маленькой худенькой Лене. Может быть, потому, что сама она испытывала какие-то недомогания, она каждый раз с искренней заинтересованностью осведомлялась у Ореста Ивановича насчет его самочувствия. Она не требовала к себе никакого внимания, довольна была всем: яйцо так яйцо, сосиски так сосиски. Ее правилом было — никого и ничем не затруднять.

— Орест Иванович, дайте мне, пожалуйста, десять копеек, — как-то попросила она, не застав Игоря дома.

Он хотел было всучить ей рублей пять (все-таки почти родственница), но Леночка затрясла головой и, получив гривенник, убежала. На следующий же день она оставила ему свой долг на столе с записочкой: «Сердечное спасибо, дорогой Орест Иванович!» Вот и сердись на такую!..

Это было уже перед весной, на обледенелые тротуары падал сырой снег. Лена забежала к ним на Фрунзенскую набережную с мокрыми, зазябшими ногами.

— Игоренька нет? — спросила она, отдавая Оресту Ивановичу в руки свою старенькую шубку.— А как ваше самочувствие?

Орест Иванович усмехнулся и сказал, что самочувствие ничего.

— Какой вы молодец! А я уже три дня так отвратительно себя чувствую.

«Зачем же ты, матушка, любовь задумала крутить, если постоянно отвратительно себя чувствуешь?» — хотелось спросить Оресту Ивановичу. Но он все-таки был человек достаточно сдержанный.

Они посидели с Леной вдвоем и даже выпили чаю.

— Что же вы мне про свою девочку никогда ничего не расскажете?

— Вы знаете, я ее сама уже почти неделю толком не вижу. У меня очень больна подруга.

Слышать это было странно: неужели не хватает Лене собственных хворей, чтобы еще при ком-то сиделкой сидеть?

— Разрешите, я поговорю по телефону,— попросила Лена и говорила, как подсчитал Орест Иванович, ровно тридцать пять минут.

Оторвавшись наконец от трубки, она сказала тревожно:

— Где же все-таки может быть Игорь?.. Я сейчас попробую...— И опять припала к телефону.

Она долго и терпеливо пробивалась через частые гудки к Игорю на завод, но там ей ничего не сообщили. Тогда Лена снова позвонила больной подруге, чтобы объяснить, что задерживается.

«Вот сейчас придет Игорь, наверное, захочет побыть с ней,— думал Орест Иванович,— а ее черт несет к подруге...»

Ему было жаль и Игоря и Лену, простуженную и плохо одетую, жалко и себя самого, тоже ничем не согретого.

— Как же все-таки у Игоря с институтом? — спросил он после короткого молчания.— Крест он, что ли, на это дело поставил?

— Видимо, с будущего года,— ответила Лена, набирая еще один номер.— Вы знаете, он сейчас очень увлекся чтением...

Она могла этого и не сообщать: рядом с раскладуш-

кой Игоря навалом лежали какие-то переводные романы.

— Зря вы, по-моему, мозги ему засоряете,— сказал Орест Иванович, досадуя и на то, что Лена никак не оторвется от телефона.

Лена положила трубку, глаза у нее печально округлились.

— Орест Иванович, что с вами?.. Ну зачем так?..

Игоря они прождали почти до десяти часов вечёра. Лена продолжала куда-то звонить, а Орест Иванович места себе не находил. В конце концов Игорь явился. Оказалось, что с завода молодежь посылали на овощную базу.

— Я кочан капусты приволок,— сказал он.— Морковь паршивая, я не взял.

Оресту Ивановичу и раньше было не по душе, что его сына все время куда-то гоняют: то на озеленение, то на картошку, то на капусту. Он по опыту знал, что особо ценных работников на эти дела не посылают. Но его утешала мысль, что Игорь просто из тех, кто всегда «вызывает огонь на себя».

Сейчас Орест Иванович готов был отчитать сына за то, что тот не сообщил о походе на овощебазу. Но вовремя удержался: Лена, которая сейчас на это имела гораздо больше права, и не думала бранить Игоря, а заботливо его раздевала и любовалась принесенным им кочаном капусты. Она провела с Игорем минут двадцать, потом убежала.

— Вот и целуй свой кочан,— усмехнувшись, сказал Орест Иванович сыну.

Игорь улыбнулся и промолчал. Рот у него уже не болел, только передние зубы поблескивали сталью. Швы на лице тоже побелели, к седым прядям на голове отец уже привык. Ему казалось, что сын его опять красивый и заслуживает большего женского внимания.

— Слушай,— сказал Орест Иванович,— все-таки на что они живут? Я сегодня посмотрел на ее обувь...

— Я хотел ей купить, она ни в какую...

— У нее что же, и ребенок босиком ходит?

— Нет, ребенок не босиком.

Оресту Ивановичу хотелось спросить, получает ли хоть эта нескладеха Лена алименты на свою девочку. Но как-то не хватило духу.

Ночью ему приснилось, что его невестка ест сырую капусту. Он сразу проснулся. И так как до утра было еще очень далеко, то у Ореста Ивановича была полная возможность поразмышлять, что же в конце концов из всей этой истории получится.

5

Наконец Игорь с Леной подали заявление в загс и расписались. Никаких свадебных торжеств не последовало, хотя Орест Иванович великодушно заявил, что готов понести определенные затраты.

— Закажем «Огни Москвы», можно даже попробовать и на «Седьмом небе».

— Да нет,— сказал Игорь.— Какое «Седьмое»!.. Это, папа, все не для них.

— Для кого это не для «них»?

— Ну, для Ленки, мамы ее... Вообще для всех ихних.

— А что же такое «ихним» нужно?

— Да ничего.

— Ну, а ты сам что же, и голоса не имеешь?

— Мне тоже это дело теперь вроде бы ни к чему.

Оказывается, совершенно напрасно Орест Иванович рисовал себе картину не слишком пышной, но хорошо организованной свадьбы человек на тридцать, на которую он бы мог пригласить и своих сослуживцев. В его возможностях было заказать любой комфортабельный зал, с хорошим столом и квалифицированным обслуживанием. Конечно, Орест Иванович не мог силой напялить на «молодую» свадебное платье и фату, но от нового, хоть как-то соответствующего моменту платья она бы, наверное, не отказалась. Что касается Игоря, то отец его и спрашивать не стал, а договорился о срочном пошиве черного костюма в закрытом ателье. И вот теперь пожалуйста: им ничего не нужно!..

— Ты, папа, не обижайся,— сказал Игорь.— Мы в этот день с Ленкой на Рихтера пойдем. Нам билеты подарили.

Орест Иванович, конечно, знал, что существует такой известный музыкант Рихтер и что билеты на него так, раз-два, не достанешь. Но все-таки, чтобы прямо из загса идти на концерт — не очень это умно и прилично.

— Ладно,— с горечью бросил он.— Идите, куда хотите: хоть на Рихтера, хоть на Бетховена!..

После того как Игорь и Лена узаконили свои отношения, молодая стала появляться в квартире на Фрунзенской набережной гораздо чаще, иногда даже оставалась ночевать.

Комнаты в квартире у Ореста Ивановича были смежно-изолированные, то есть сообщающиеся, но раньше Игорь дверью в коридор из своей комнаты никогда не пользовался, а проходил через комнату отца. Теперь эта связующая дверь закрылась. Орест Иванович купил к ней маленькую, блестящую задвижку. В тот день, когда он эту задвижку приладил, настроение у него было самое ужасное: так он ревновал своего сына.

Помнится, это была суббота, они утром втроем пили чай. Потом Лена долго говорила с кем-то по телефону. Орест Иванович лежал на своем диване и молчал. Примерно после часа он прислушался: невестки его на кухне слышно не было. Он встал и направился туда сам. Наверное, со стороны это выглядело забавно, но он попытался приготовить субботний обед. Не просто так, как раньше, что-нибудь на скорую руку сварить, а именно приготовить.

Орест Иванович крошил морковку, когда за его спиной Лена сказала как будто бы немного виновато:

— Знаете, а ведь мы с Игорем должны уйти...

— И куда же это?

— Тетя Мила плохо себя чувствует.

Скажи Лена, что они идут в кино, на выставку, на чей-нибудь день рождения, возможно, Орест Иванович так бы не обозлился. А сейчас он еле удержался от того, чтобы не швырнуть морковку на пол. Но Лена этого вроде бы не заметила и спросила ласково:

— Можно взять ваш зонтик? Игореныш простужен.

Сам же Игорь, вроде бы совсем и не простуженный, сказал смущенно:

— Ты не волнуйся: мы это все вечером слопаем.

Обедать один Орест Иванович, понятно, не стал. Он снял полотенце, которым был подпоясан вместо фартука, сел тут же в кухне и тупо посмотрел на открытую им же банку болгарского перца.

Отдавая должное покладистому характеру своей невестки, Орест Иванович все же считал, что лично его

такая жена не устроила бы: постоянно Лена покидала Игоря, чтобы кого-то навестить, кого-то куда-то устроить — то на свободные места в «Современник», то к знакомому стоматологу. А в целом эти разговоры по телефону и беготня могли бы, кажется, и здоровую бабу с ног свалить. Например, Лена затрачивала массу энергии, чтобы зимой, в канун Нового года, добыть букетик живых цветов и собственной рукой вручить его в Зале Чайковского Валентине Левко или Леониду Когану. Конечно, это лучше, чем бы она бегала по универмагам или ателье, но всему есть мера.

Как-то раз Лена опять покинула Игоря одного с отцом дня на два: стояла неплохая погода, но кто-то из ее знакомых ухитрился простудиться. Орест Иванович, желая войти в прежнее доверие к сыну, приготовил хороший ужин. Открыл баночку с красной икрой, нарезал салями, купленную в буфете своего министерства. Они с Игорем очень хорошо посидели, даже выпили коньячку.

— Слушай, а не надоело тебе все это? — спросил Орест Иванович, указывая глазами на дверь, в которую недавно выскочила Леночка.

— А что ты имеешь в виду? — настороженно осведомился Игорь.

— Да ты сам знаешь.

— Нет, не надоело. А что тебе не нравится?

Что было на это ответить? Действительно, ничего плохого вместе с Леной в их дом не пришло. Никаких требований и ссор из-за квадратных метров, никаких недовольств.

Оресту Ивановичу хотелось, чтобы Игорь разговорился. Он налил ему еще.

— Слушай, а стоящая ли она баба-то? Или у нее одни болезни? Есть ли тут из-за чего?..

— Это уж ты через край!..— покраснев, сказал Игорь.

— Ладно, извиняюсь. Ты бы ей хоть пальто новое купил.

— Я предлагал. Она наденет, посмотрит в зеркало и тут же снимает. То ли не нравится, то ли цена дорогая, я уж и не пойму...

— Чудная она какая-то у тебя.

— Немножко... Но она человек очень хороший. Вон

у нас ребята женились и говорят — скучно. А мне с ней нет.

Странно в общем-то было слышать такие слова от молодого парня: «Она человек очень хороший». Так говорят о своих женах люди пожившие, которым что-либо менять поздно. Да и то бывает, что и от очень хороших уходят. Значит, не скучно ему со своей Леной? Опять же слава богу!..

И тут Орест Иванович рискнул задать давно смущавший его вопрос:

— Слушай, а где же тот-то... первый ее?

Игорь долго молчал. Похоже было, что он и не ответит.

— Она ему институт закончить помогла. За него диплом писала.

— И все-таки ушел?

— Чего ему уходить? Они не вместе жили.

Орест Иванович понял, что с тем, с первым, происходила примерно такая же канитель, как и в этот раз с Игорем. Только его сын — это его сын: поступил порядочно и женился.

— И давно это было?

— Давно. Уже семь лет.

Ничего себе, значит, даже рождения ребенка не дождался! Однако досталось этой Лене... И Орест Иванович решил быть до конца великодушным.

— Вот что, Игорь. У меня есть деньги, возьмите. Одень ты свою жену, как человека. Обстановку какую-нибудь приличную купите. И хватит вам из дома в дом ходить, как цыганам. Тесно вам тут со мной, можно кооператив организовать.

— Спасибо,— сказал Игорь.— Это, папа, все надо обдумать...

Оресту Ивановичу ясно было, что тут влияние Лены. Он уже жалел о внесенных предложениях.

— Не желаете, так не надо. Уговаривать не намерен.— Вдруг ему сделалось страшно жалко себя, и он сказал почти жалобно: — Хотелось мне для вас... Я свою жизнь прожил несчастливо...

Игорь поднял брови.

— Ты несчастливо?.. А я, папа, думал, что наоборот.

«Что он имеет в виду?..» — спросил себя Орест Иванович. И сказал уже холодно:

— Чем-то я вам не подхожу. Не пойму только, чем. Может, они графы какие-нибудь или князья?

— Какие графы! Ленкин дед политкаторжанин. В Александровском централе сидел.

Выпитый коньяк давал себя знать. Орест Иванович заводился, что с ним бывало очень редко.

— Что-то не похоже, чтобы в централе... Тоже небось артист какой-нибудь.

— Ну, знаешь!..

— Я ведь вроде неплохо к вам относился,— продолжал Орест Иванович.— Терпел, пока вы тут незарегистрированные крутились. И сейчас в ваши дела не мешаюсь, не смотрю, чего вы там едите, пьете. Пусть твоя супруга спасибо скажет, что я ни разу от телефона ее не турнул, когда она болтает по часу.

— Может и не болтать,— угрюмо сказал Игорь.

— Да это ладно: у телефона — так, по крайней мере, дома, на глазах. А сейчас вот она к подружке какой-то помчалась. Ты уверен?..

Это уже был запрещенный прием. Игорь сначала побледнел, потом порозовел.

— Набрался ты,— сказал он очень хмуро.— А то уж и не знаю, как мне тебя понять.

Орест Иванович отвернулся. Он уже и сам догадался, что наговорил лишнего. Но ему очень жаль было самого себя. Он в эти минуты искренне желал, чтобы Лена действительно подалась бы куда-то на сторону и они с Игорем опять остались бы вдвоем.

На минуту Орест Иванович стряхнул с себя хмель.

— Ты мог бы мне раньше сказать, что у нее дед с революционным прошлым.

— А что это меняет? — добродушно спросил Игорь.— Не вздумай рекламу делать, а то мне первому попадет.

...Да, странная это была, с точки зрения Ореста Ивановича, семья. Тем сильнее был его интерес к ней, желание хоть краем глаза поглядеть, узнать, чем там дышат.

В одну из суббот к Оресту Ивановичу привели самую младшую представительницу странного семейства, шестилетнюю Аллочку: Лена и ее мама хоронили кого-то из знакомых на Востряковском кладбище.

Это была худенькая, как мать, девочка с вывернутыми внутрь коленочками. На кудрявой голове был укреп-

лен роскошный бант. Она увидела в коридоре черный, вращающийся табурет, сидя на котором Орест Иванович всегда обувался, и спросила:

— А где же у вас рояль от этой тумбочки?

Она не раскапризничалась, когда ее оставили вдвоем с незнакомым человеком. Она даже попыталась сама поддержать разговор:

— А вы выписываете какой-нибудь журнал?

— «Огонек» выписываю.

Он положил перед ней несколько номеров. Аллочка раскрыла один и начала внимательно рассматривать.

— Я это знаю,— сказала она, показывая ему репродукцию с «Русалок» Крамского.— Вы любите читать Гоголя?

Орест Иванович был несколько озадачен.

— А ты и читать умеешь?

— Мне читает бабушка. Но я тоже умею. Бабушка говорит, что мне совсем нечего будет делать в первом классе.

Такой вострухой, наверное, была и Лена лет двадцать назад. Зачем же ей было выбирать себе в мужья парня, который чуть ли не до пятого класса по складам читал, только стойку на руках хорошо делал? Оресту Ивановичу подумалось, что Лена со своей дочкой и мамашей-певицей будут, чего доброго, сильно подтрунивать над его Игорем, который хоть и неплохой парень, но в иллюстрациях из «Огонька» не очень-то разбирается, тем более, наверное, в тех переводных романах, которые Лена так настойчиво таскает ему из библиотеки.

— Чем мне тебя угостить? — спросил Орест Иванович у Аллочки.— Вот бери конфеты.

— А вы разве не пьете чай?

— Можно и чай.

Стаканы были очень горячие, и Аллочка попросила, чтобы он налил ей в блюдечко. Орест Иванович сделал это охотно: девочка начинала ему нравиться, между ними рождалось что-то вроде взаимного доверия.

Но после чая наступила некоторая заминка: Аллочка заметно заскучала.

— Что-то долго твоя мама...— сказал Орест Иванович.

— Да,— согласилась Аллочка.— Но что же поделаешь, если сейчас всех хоронят так далеко?

На это он уж совсем не знал, что ей сказать.

— Ты, наверное, свою маму очень любишь?

— Конечно. Я люблю всех своих близких. — Аллочка стала загибать пальцы: — Маму — раз, бабушку — два, Игоря — три... А вы, вы тоже наш близкий?

— Да не знаю... Наверное, близкий.

— Тогда и вас.

Лена появилась в половине восьмого. Грустно и торопливо стала передавать печальные подробности похорон на Востряковском кладбище. Напрасно Аллочка пыталась отвлечь ее и заставить обратить внимание на себя.

— Она вам не надоела? — спохватилась наконец Лена.— Ужасная тараторка!.. Это ведь тоже не норма. Я все собираюсь ее показать...

«О господи ты мой боже!..» — взмолился про себя Орест Иванович.

Ему стало жалко Аллочку, которую, наверное, затаскали по врачам. Когда ее уводили домой, она по собственной инициативе поднялась на цыпочки, чтобы обнять Ореста Ивановича. Он был очень тронут и выразил надежду, что теперь Аллочка будет часто приходить к нему в гости. Сегодня он воспользовался случаем и выведал от нее точный адрес их квартиры в Померанцевом переулке. Его давно подмывало нанести визит вежливости своей «сватье», которая пока что под разными предлогами уклонялась от знакомства. Оресту Ивановичу хотелось собственными глазами увидеть, что за обстановка ждет его сына, если Лена в один прекрасный день перетянет его туда. Но уже примирился с мыслью, что рано или поздно так оно и будет и вряд ли имеет смысл этому противиться.

Как-то в будний день, рассчитывая не застать дома Лену, он отправился в Померанцев переулок, предварительно купив для «сватьи» цветы, а для Аллочки — красивую, но несложную настольную игру.

Орест Иванович прошел тесным, старым московским двором, поднялся по выщербленной лестнице на очень высокий четвертый этаж и вступил в длинный и неуютный коридор.

Судя по вечным хлопотам Лены вокруг здоровья матери, Орест Иванович рассчитывал на худшее — увидеть маленькую старушку, прищемленную радикулитом, или

отложением солей, или вообще какими-нибудь еще более страшными недугами. Но увидел пожилую, довольно высокую даму с усталыми, но прекрасными глазами. В отличие от своей двадцативосьмилетней дочери она косметикой не пренебрегала: седые волосы ее были подкрашены и даже, как показалось Оресту Ивановичу, слегка подрумянены были щеки. Она не ожидала появления постороннего человека, была в халате, поэтому страшно смутилась, даже испугалась.

— Бабушка, не бойся, это он!..— поспешила объяснить Аллочка и кинулась к Оресту Ивановичу.

— Вы меня извините,— сказал он, тоже смутившись,— мы с вашей внучкой договорились...

— Да, да, пожалуйста!..

Подарку Аллочка очень обрадовалась, хотя в настольной игре, которую принес ей Орест Иванович, всего и дела было, что подбрасывать косточку и передвигать фишки. Она столкнула в сторону нотные тетрадки, тут же уселась и начала играть сама с собой, казалось бы, с истинной увлеченностью. А ее бабушка, попросив у гостя извинения, куда-то скрылась: вероятно, чтобы переодеться. Так что Орест Иванович получил возможность как следует оглядеться.

Он увидел, что жили в этой комнате, с лепными венками на потолке и с большим венецианским окном, очень тесно, но не без признаков уюта. Орест Иванович привык к голым стенам, пустым подоконникам, стенным шкафам и казенного вида дивану. Поэтому был несколько ошарашен обилием предметов, нужных и ненужных: бархатных, истертых подушек, склеенных вазочек и бюстов. Всего этого плюс книги, ноты, тетради хватило бы, пожалуй, не на одну комнату, а на две, три. Видимо, здесь легко было загонять гвозди в стену, раз столько навешано было разных картин и фотографий в металлических и деревянных фигурных рамках.

Внимание Ореста Ивановича задержалось на небольшой, не то картине, не то портрете: здесь изображена была молодая, высокая женщина в свободном голубом платье, гуляющая по осеннему саду. У женщины этой было матовое, мечтательное лицо, и желтые листья падали ей на плечи.

— Это не твоя ли бабушка? — осторожно спросил Орест Иванович у Аллочки.

— Что вы!.. Это просто картина «Айн штиллер винкель». То есть «Тихий уголок».

Орест Иванович стушевался и решил больше подобных вопросов не задавать.

Аллочкина бабушка вернулась, переодевшись в темное платье и с бисерной ленточкой на шее. Как ни приятно был удивлен Орест Иванович внешностью своей «сватьи», но он не мог не отметить про себя, что в чем-то мать и дочь — два сапога пара. Хозяйкой его симпатичная новая родственница была явно не из лучших: чашки попахивали валерьяновым корнем, ножи — рыбой, у кофейника падала крышка. Орест Иванович вежливо пил прохладный кофе, принесенный из коммунальной кухни, откуда-то за сто верст, а сам все прикидывал, каким бы это образом завести разговор по душам, предложить свой совет и помощь. И никак не решался: для такого разговора нужно было, чтобы хозяйка дома была бы попроще, поземнее. А эта пожилая дама держалась как-то испуганно, натянуто, будто не свой человек пришел, а кто-нибудь из ЖЭКа или даже из прокуратуры...

Все же Орест Иванович рискнул высказать предположение, что хорошо бы в интересах всей семьи сменить эту комнату с лепным потолком высотой почти в четыре метра, который теперь ни один маляр не возьмется белить, на отдельную квартиру в каком-нибудь тихом, зеленом районе, в Тимирязевском, например. У Ореста Ивановича в тамошнем бюро обмена были связи, и можно бы попробовать...

И вдруг он почувствовал, что говорит что-то не то. И сам испугался: прекрасные глаза его «сватьи» наполнились слезами.

— Нас хотят ломать!..— дрожащим шепотом произнесла она и опять убежала, чтобы не расплакаться при Оресте Ивановиче.

А маленькая Аллочка объяснила:

— На нашем месте будет Госхлорвинилсоюз.

Орест Иванович пожал плечами: он никогда не слыхал о существовании такого союза.

— Бабушка очень волнуется,— сказала Аллочка, перестав бросать косточку,— потому что она родилась в этой комнате. Потом здесь совсем рядом Дом ученых,

там бывают концерты. А главное — вы посмотрите, какой вид!..

Она повела Ореста Ивановича к балконной двери. Через ее забрызганное дождем и первым снегом стекло был виден белый особнячок с острой двускатной крышей. К нему примыкал какой-то тихий дворик, отгороженный поломанной кое-где чугунной решеткой. В дворике росли голые липы, под ними две черные от дождя скамейки, с круглой клумбы еще не были убраны почерневшие стебли осенних цветов. Сам балкон, с которого открывался этот не слишком пленивший Ореста Ивановича вид, был крошечный, на нем едва умещалось старое соломенное кресло.

— Конечно, зимой это не то,— поспешила сказать Аллочка.— Приходите весной или летом. А сейчас давайте с вами немножко поиграем.

Орест Иванович сел рядом с Аллочкой и тоже подбросил косточку. Ему было очень неприятно, что Зоя Васильевна так расстроилась. Ну не хочет, так в чем же дело. Он же не выселять пришел. Аллочка, кажется, была единственным существом в этой семье, у которого он не вызывал недоверия.

Зоя Васильевна вернулась, стала уговаривать Ореста Ивановича выпить еще чашку кофе. Он согласился, чтобы ее больше не огорчать. И заметил, что и на этот раз она успела что-то исправить в прическе и косметике за свою короткую отлучку. Но, как показалось Оресту Ивановичу, она делала это не из кокетства, а как будто желая что-то такое скрыть, не выдать какую-то печальную тайну.

— Извините меня,— вдруг сказала Зоя Васильевна.— У меня страх перед всякими переменами. После смерти мужа нужно было что-то сделать с лицевым счетом. А мы носили разные фамилии. На меня почему-то так накричали...

— Мало ли хамья! — возмутился Орест Иванович.

Он хотел объяснить, что все хлопоты он может взять на себя, а уж на него — никто не посмеет накричать. Но по взгляду Зои Васильевны понял, что этот разговор лучше не продолжать.

— Вот Аллочка меня и обыграла! — как можно веселее сказал Орест Иванович, хотя ему и самому стало грустно.

Он собирался домой и подбадривал себя тем, что все могло быть и хуже. «Сватьей» могла оказаться какая-нибудь Матрена Карповна, которая бы на него накинулась и стала бы с места в карьер плакаться на жизнь и чего-то требовать. А тут и Лена и ее мама, зная его служебное положение и большие возможности, ровно ничего от него не хотят. Так что и он со своей стороны готов был примириться с существующим положением вещей. Только как же все-таки они здесь всем табором разместятся? Больше всего Орест Иванович боялся, чтобы его сын был кому-то в тягость. А в такой тесноте волей-неволей это может случиться. Половина комнаты загромождена роялем, а ведь можно же, наверное, какой-нибудь инструмент поменьше купить. Вот этот еще нескладный шифоньер куда-нибудь выбросить бы...

Но тут Орест Иванович почувствовал, что в мыслях своих зашел слишком далеко, распоряжаясь в чужой комнате, и поспешил проститься. Аллочка и ее бабушка проводили его длинным коридором, состоящим из множества темных углов, настоятельно требующих капитального ремонта. На плохо освещенной лестнице Орест Иванович чуть не наступил на кота и ужасно перепугался. «Как быстро к хорошему привыкаешь»,—думал он, сопоставляя девятиэтажный мощный корпус на Фрунзенской набережной с этим доживающим свой век домом с непромытыми венецианскими окнами, а заодно и с тем домом у Тишинского рынка, где они раньше обитали с Игорем и ходили умываться на общую кухню за отсутствием ванной комнаты.

Ни невестка, ни сын, узнав о визите Ореста Ивановича в Померанцев переулок, не выказали никакого неудовольствия. Наоборот, на другой же день Лена сказала Оресту Ивановичу:

— Мама просила передать вам большой привет. И Алка тоже.

— Спасибо! Скажите, что очень рад был познакомиться.

Вскоре Орест Иванович поймал себя на том, что ему хочется повторить свой визит в Померанцев переулок. Конечно, не только ради того, чтобы поиграть с Аллочкой в настольную игру и обозревать вид с балко-

на, но главным образом для того, чтобы еще раз взглянуть на Зою Васильевну. Слишком непривычной для его глаза была эта пожилая, но по манерам своим какая-то юная женщина. Углубленная наблюдательность несвойственна была Оресту Ивановичу, но сейчас он как-то угадал, что была в этой давно переставшей петь Зое Васильевне какая-то недопетая песня.

Исполненный самых добрых намерений, он рискнул через несколько дней позвонить в Померанцев переулок. Аллочка сообщила ему, что бабушка ушла в магазин, в очередь за судаком. Орест Иванович поспешил сказать, что вовсе бабушке не следует стоять по очередям, что судака он им может принести из своего служебного буфета. Позже он позвонил еще раз, но Зоя Васильевна разговаривала с ним по-прежнему как-то испуганно и напряженно и пожаловать в гости не приглашала. Так что Орест Иванович не рискнул лезть со своим судаком.

— Я хочу воспользоваться случаем,— сказал он,— и поздравить вас с наступающим Женским днем.

Зоя Васильевна вежливо, но без особого энтузиазма поблагодарила его.

— Хотелось бы знать, и как ваше здоровье.

— Спасибо, сносно. Но все мы немного простужены.

Это был как бы намек на то, что посещения сейчас нежелательны. Оресту Ивановичу подумалось, что желанным гостем он в Померанцевом переулке вообще вряд ли когда-нибудь будет. Видимо, слова Лены о том, что ее мама передавала ему большой привет, были просто актом вежливости.

Когда он посетовал на это сыну, то Игорь сказал:

— Брось, папа! Ленка, во всяком случае, к тебе очень хорошо относится.

6

Вскоре Орест Иванович получил подтверждение словам Игоря: невестка пригласила его в театр.

— Играет моя школьная подруга,— сказала Лена.— Правда, я еще не знаю, что за спектакль.

Оказалось, в Москву приехал на гастроли один из областных театров. Орест Иванович, которому еще накануне был вручен билет, пришел за полчаса до начала, а Лена, естественно, запаздывала. Билетерша на вопрос, что за пьеса, сказала, что вроде бы про любовь.

Лена появилась рядом с Орестом Ивановичем, когда в зале уже гасили свет.

— Опять кто-нибудь заболел? — улыбнувшись, спросил он.

— На этот раз, слава богу, никто. Я пыталась достать для Риты цветы: это ведь ее первая большая роль. А Игорь, наверное, совсем не появится: у него бюро.

Сидели они в десятом ряду, было удобно, все видно. Но вот насчет любви в пьесе было что-то не густо. Орест Иванович чуть-чуть заскучал, но виду, конечно, не подал.

На сцене изображалась деревня трудных военных лет: хромой председатель колхоза, вдовые бабы, солдатки... Действительно, кто-то кого-то любил и ревновал, но главное сводилось к сеновывозке. Орест Иванович не мог про себя не отметить, что актрисы, изображавшие этих вдов и солдаток, никак не могли упрятать под телогрейки и платки свои современные ухватки. И юбки на них едва доставали до колен, что тоже расходилось с представлением Ореста Ивановича о тех достаточно памятных временах. Он поглядел украдкой на свою невестку: Леночка сидела очень грустная. В антракте она призналась Оресту Ивановичу:

— Мне так обидно за Риту!..

Орест Иванович не считал себя большим знатоком в драматургии, но он попробовал защищать пьесу, свалив все на постановщика, который, к сожалению, не почувствовал эпохи.

— Молодой, видимо, войны не помнит.

— Ну что вы!..— совсем грустно сказала Лена.— Ему сто лет в обед. Просто все это такая труха!..

Орест Иванович пожал плечами: с его точки зрения, термин этот уж никак не подходил. Если бы это была «труха», такие спектакли и фильмы не показывали бы почти ежедневно по телевизору, их не смотрели бы миллионы людей. Он согласен с Леной, что сюжет не отличается новизной, но вовсе не мешает лишний раз повторить для тех, кто забыл или просто не хочет знать о том, что перенесло старшее поколение.

Лена угадала его настроение.

— Орест Иванович, но это так фальшиво написано! Ведь актерам просто тошно играть все это.

Он не нашел, что ей возразить; возможно, она была

в чем-то права. А Лена вдобавок положила ему на локоть свою руку, лишенную веса.

— Ну не сердитесь!

— Что вы, Леночка! — сказал Орест Иванович.— Я совсем не сержусь.

После спектакля они пешком дошли до Комсомольского проспекта.

— А как поживает ваша мама? — осведомился Орест Иванович.

— Спасибо, она вся в Алкиных делах. В музыкальной школе затевается какой-то концерт.

Орест Иванович отважился и сказал:

— Мне кажется, Леночка, ваша мама меня не очень жалует.

Лена испытала некоторое замешательство.

— Нет, что вы!.. Ее можно понять: она ленинградка, близкие и друзья погибли в блокаду; а к новым знакомствам она относится несколько настороженно.

Они подошли к храму Николы на углу Хамовников. В полных сумерках церковь белела сахарным пряником.

Лена явно хотела сменить тему разговора.

— Правда ведь, не верится, что это построено,—сказала она.— Как будто эта церковь возникла сама собой. Как в сказке: не печалься, ложись себе спать, утро вечера мудренее. Знаете, это стоит десяти самых бодрых спектаклей.

— Да, — не без мрачности согласился Орест Иванович.

Сколько ни заговаривай ему Лена зубы церквами и спектаклями, он понимал, что он по-прежнему отвергнут. И ему было очень горько.

Дома их встретил Игорь, который уже вернулся с работы и досматривал футбольный матч.

— Где это вы так долго? «Арарату» наколотили. Я вам тут вермишель сварил.

После вермишели Лена села к телефону и разговаривала со своей подругой Ритой, которая уже разгримировалась после спектакля и вернулась в номер гостиницы.

Орест Иванович невольно прислушался... Лена нелицеприятно высказывала Рите все, что думала. Орест Иванович снова услышал слово «труха». Сейчас этот термин вдвойне ему не понравился. Он на месте Лены воздержался бы от критики: актриса молодая, впервые

выступает в главной роли, театр здесь, в Москве, в гостях...

Телефонный разговор затянулся, и Ореста Ивановича это стало сильно раздражать.

«А тот телок посуду моет. Ну и терпение у него!..»

Когда Лена положила трубку, она легонько постучала в комнату к Оресту Ивановичу и сказала шепотом:

— Я чувствую себя перед вами виноватой за сегодняшний вечер. Но Рита обещала достать билеты на «Трамвай «Желание».

Рита не обиделась на критику и действительно достала билеты на «Трамвай «Желание». Но всего два билета, не то что в прошлый раз, когда возле Ореста Ивановича и его невестки пустовало целых три места.

— Вы не против того, чтобы пойти с моей мамой? — совершенно неожиданно предложила Лена.— Ей очень хочется посмотреть этот спектакль.

У Ореста Ивановича просто-таки заколотилось сердце. Он сказал, что, конечно, конечно, не против. В обеденный перерыв он побывал в парикмахерской, а придя домой, очень тщательно приоделся и взял побольше денег на буфет.

Весь день он себе представлял, как будет сидеть в театре рядом с Зоей Васильевной. Ни о каких «Трамваях» он не думал, хотя очевидно было, что зрелище не из последних, раз так трудно достать билеты. Он был очень благодарен Лене. Но минут за сорок до начала спектакля она неожиданно позвонила и сказала, что ее мама плохо себя чувствует. Оресту Ивановичу это показалось и подозрительным и обидным. Он заявил, что тоже не может идти в театр — у него дела.

— Что вы?..— огорчилась Лена.— Это же очень интересная пьеса.

— Вот и сведите на нее своего мужа. А то он у вас вроде бы совсем не в счет.

Лена не спешила обижаться и попыталась объяснить, что у Игоря вечерняя смена, но Орест Иванович не стал входить в подробности и сухо пожелал невестке всего хорошего. Развязал галстук и сел на диван. Ведь это только подумать: не хотят его, да и все тут!..

Чтобы в этом убедиться, он часа через полтора позвонил в Померанцев переулок.

— Здравствуй, Аллочка! Что ты поделываешь?

— Ничего, ела кашу, сейчас ложусь спать.

— А бабушка дома? Как ее здоровье?

— Неважно. У нее очень болит голова.

Орест Иванович почувствовал себя негодяем и перешел на шепот.

— Ты извинись за беспокойство, Аллочка. Передай бабушке привет. Пусть она скорее поправляется.

Спать он не ложился долго. Около часа ночи пришел с работы Игорь, но Орест Иванович сделал вид, что уже уснул, и не вышел к сыну. Когда же все-таки задремал, ему пригрезился самый глупейший сон: он и Зоя Васильевна собираются ехать куда-то в... рояле, из которого вынут весь музыкальный механизм.

Утром Орест Иванович рискнул опять позвонить в Померанцев переулок и тем же осторожным шепотом осведомился у Аллочки насчет здоровья бабушки.

«А ведь я их повадки перенимаю», — подумал он.

Раньше он никогда и никого о здоровье не расспрашивал.

В один прекрасный день жильцам дома по Померанцеву переулку объявили, что дом их действительно передается под какое-то учреждение. Лена с матерью и девочкой получили ордер на квартиру из двух комнат около метро «Ждановская». Орест Иванович был задет тем, что не прибегли к его помощи с целью получить какой-нибудь более модный район, Юго-Западный, например, или тот же Тимирязевский — организовать это ему было бы пара пустяков. Но, как говорится, кума с воза — куму легче. Он сам помогал семье Лены в переезде на новую квартиру и был искренне удивлен тем, с какой скорбью не только его недоступная «сватья», но и другие жильцы прощались со старым домом в Померанцевом переулке.

Орест Иванович с большой осторожностью, боясь оступиться на ужасной лестнице, нес вниз с четвертого этажа доверенный ему Аллочкой стеклянный аквариум. Внизу он услышал, как ругались рабочие, грузившие в машину рояль. Ему было очень неприятно слышать, когда один из них повторил почти его собственную мысль:

— Купили бы скрипку какую-нибудь, а то ворочай танк этот!

Переезд состоялся в начале декабря, еще при полном отсутствии снега на улицах. А ближе к Новому году, когда зима легла, к метро «Ждановская» перекочевал и Игорь.

Когда он в последний раз заглянул домой, чтобы прихватить кое-что из своей одежды, между ним и Орестом Ивановичем состоялось объяснение.

— Отрываешься, значит?

— Ага. Мне оттуда на работу рукой подать.

— И отсюда не сто верст было.

Игорь положил в чемодан старые лыжные брюки и сказал:

— Мы, папа, к тебе приходить будем.

— Большое спасибо! Когда прикажете ждать?

Чудно все-таки было: куда парень лезет? Две смежные комнаты, потолок— рукой достать, в туалете повернуться негде. Летом, наверное, в лоджии спать придется, а зимой под роялем. Но охота, говорят, пуще неволи.

— Ладно,— сказал Орест Иванович,— надоест тебе, приходи, место твое цело будет.

— Не надоест. Такие не надоедают.

— Это какие же?..

— Я тебе уже говорил. Да ты и сам знаешь. Я вот рад, что к Склифосовскому попал, а то бы Ленку и не встретил.

— Даже так?..

И, видя, что сын сейчас уйдет, Орест Иванович вдруг сказал:

— А я ведь хотел тебе новую машину купить.

Только на секунду в хмуром лице у Игоря что-то изменилось. Потом он решительно взял чемодан.

— Какая машина!.. Я пойду, не сердись, папа.

...Не в первый раз Орест Иванович оставался в своей большой квартире один. Но в этот вечер он как-то растерялся. Дня два-три он держал себя в руках, а потом на него навалилась такая тоска и обида, что сказали бы сейчас, что посадят ему на голову и бывшую певицу, и Аллочку, и даже рояль поставят — и этой ценой вернется его сын,— он бы, пожалуй, согласился. Сколько недовольства вызывали у него раньше Ленины часовые разговоры по телефону, а вот сейчас этот телефон совершенно свободен и молчит, как могила. И хоть бы кто-нибудь догадался позвонить ему в эти трудные часы.

7

Зима в новом году установилась не по-московски приятной, с хорошими морозами и снегом, прикрывшим черноту улиц и дворов. После работы Орест Иванович получал в раздевалке свое зимнее ратиновое пальто, каракулевую шапку-пирожок и шел пешком через весь центр к себе на Комсомольский проспект. Делал он это не ради потери веса: полнотой Орест Иванович не отличался, до седых волос сохранил ровную грудь, втянутый живот и молодую походку. Правда, за последнее время немного опустились щеки, труднее стало брить подбородок и в глазах стало плавать что-то желтоватое. Стоило поволноваться, и эта желтизна заметно увеличивалась, но к врачам Орест Иванович не обращался до тех пор, пока ему не потребовались очки.

Однажды, это было под вечер, он проходил по Кузнецкому мосту. Начались школьные каникулы, поэтому на улицах полно было детей. И вдруг Орест Иванович почти нос к носу столкнулся с Зоей Васильевной и Аллочкой. У девочки в руках была коробочка с гостинцами: ясно, что бабушка водила ее куда-то на елку.

На этот раз Зоя Васильевна не испугалась, как будто бы даже обрадовалась.

— Мы были в ЦДРИ...— сказала она Оресту Ивановичу.

— Смотрите, какой у меня подарок! — подняла свою коробочку Аллочка.

Подарок был самый скромный, рубля на полтора. Если бы Орест Иванович вовремя подумал, он у себя в учреждении мог бы получить для Аллочки подарок побогаче. Он решил, что это упущение можно исправить, и предложил тут же зайти в «Детский мир». Но Зоя Васильевна вежливо отклонила это предложение.

— Мы очень спешим.

Он решил не обижаться и пошел проводить до метро.

— Игорь и Лена поехали в Дорохово покататься на лыжах,— сказала Зоя Васильевна.— Мы с Аллочкой одни.

Похоже, что в этом сообщении содержалось приглашение в гости. Но Орест Иванович не рискнул уточнить.

— А как вы себя чувствуете на новом месте, Зоя Васильевна?

— Квартира не такая плохая. Немножко холодно... Но говорят, что это временно.

Видимо, это было их общее правило — не жаловаться ни на что, кроме собственного здоровья. Орест Иванович, стараясь не смутить Зою Васильевну, оглядел мельком ее зимний наряд: вытертая, но сохранившая некоторый шик беличья шуба, такая же шапочка, а вот на ногах, маленьких, как у дочери, современные, отяжеленные подошвами ботинки, в которых, наверное, не очень уютно путешествовать в центр из отдаленных районов.

Он рискнул взглянуть ей и в лицо. К ее мягким, голубоватым глазам очень шла беличья шапка. Щеки от мороза были слабо-розовые, но и это придавало ей сходство с румяной внучкой. Оресту Ивановичу только сейчас пришло в голову, что его «сватья», наверное, никак не вписывается в пейзаж малогабаритной двухкомнатной квартиры, что для нее просто необходим тот высокий потолок с лепными украшениями, огромное, затененное с улицы ветками окно и какое-то подобие камина, увиденные им тогда в квартире в Померанцевом переулке. Ему подумалось о том, что Зоя Васильевна страдает там, в десятиподъездном, типовом панельном доме, окруженном пустырями с остатками потревоженных, изломанных кустарников, поваленных деревьев.

— А у нас летом будет бассейн,— жизнерадостно сообщила Аллочка.— Игорь будет учить меня плавать.

Ее бабушка улыбнулась.

— Не сердитесь, пожалуйста, на Лену и Игоря: они очень, очень заняты. Игорь в вечернем университете...

Они простились: Аллочка и Зоя Васильевна спустились в метро, а Орест Иванович пошел пешком мимо Политехнического музея, пересек площадь и вскоре оказался около гостиницы «Москва». Здесь, в гостиничном ресторане, он год назад собирался отпраздновать свадьбу сына... Он полез в карман пальто за носовым платком и нащупал что-то твердонькое: это Аллочка тайком сунула ему туда шоколадку.

...Через несколько дней позвонил Игорь.

— Папа, здорово! Как ты там? На днях забегу. Большой привет от Ленки!

— Спасибо,— сдержанно, но без упреков сказал Орест Иванович.— И ей тоже.

Перед весной Орест Иванович решил уходить на пенсию. Ему лично средств хватало, а сын подмоги что-то не просил. Была в этом решении и скрытая месть: предлагал — не брали, а теперь придете — так уж и не взыщите... Но это, конечно, было не основное: Оресту Ивановичу шел шестьдесят третий год, сорок шесть лет он прослужил беспорочно и сейчас мог уйти, оставляя о себе у сослуживцев самую хорошую память.

Но в первые дни своего вполне заслуженного отдыха Орест Иванович ничего, кроме усилившегося одиночества и растерянности, не испытывал. Телефона на новой квартире у его единственных родственников не было, а ходить туда без приглашений Орест Иванович по-прежнему не считал удобным.

Но вдруг позвонила Аллочка.

— Здравствуйте, Орест Иванович!

Он страшно, до стука сердца, обрадовался:

— Здравствуй, Аллочка! Откуда же ты звонишь?

— У нас во дворе установили пять автоматов. Правда, три уже сломаны. А как вы поживаете?

— Да что я!..— сказал Орест Иванович.— Вы-то как?

— Мы ничего. Бабушка понемножку успокаивается.

Орест Иванович обещал, что как-нибудь соберется и навестит их. Ему все-таки хотелось, чтобы его по-прежнему считали занятым человеком.

— Спасибо тебе, Аллочка, что позвонила. Я по тебе соскучился.

Девочка помолчала, потом спросила:

— Почему же вы не спросите, как я учусь? Ведь мне пришлось перейти в другую музыкальную школу.

Теперь помолчал Орест Иванович.

— Я все понимаю, Аллочка... Держись!

— Хорошо, буду держаться. А привет передать?

— Конечно. Всем большой, большой привет!

Он положил трубку и подумал о том, как же Аллочка дотянулась до телефонного диска. Ведь она такая маленькая! Только сейчас, услышав Аллочкин голос, Орест Иванович почувствовал, до какой степени он по ним по всем скучает. Надо было соврать, что заболел, тут уж невестка обязательно бы примчалась.

После того как в его квартире жило, хотя и набега-

ми, существо женского пола, пусть и непутевое в смысле хозяйствования, отсутствие Лены теперь ложилось какой-то печалью на все, что окружало одиночество Ореста Ивановича. Почему-то чаще всего он смотрел на не занятый теперь никем телефон.

Иногда, правда, раздавалось вдруг дребезжание: это звонили из ЖЭКа, где он теперь, как пенсионер, был включен в актив. При его участии уже состоялось два заседания товарищеского суда, правда, оба раза по не слишком серьезному поводу: ночная пьянка, возмутившая соседей, и порча лестничной панели мальчишками-старшеклассниками. Орест Иванович произнес на этих заседаниях какие-то значительные слова и, только придя домой, спохватился, что ошибочно приписал фразу «Человек — это звучит гордо» Александру Сергеевичу Пушкину. Произошло это потому, что он был тогда поглощен собственными переживаниями, в сравнении с которыми порча лестничной панели была действительно «трухой» — сейчас этот термин пригодился ему.

Но с наступлением лета культурно-оздоровительная и воспитательная суматоха затихала, и телефон в квартире у Ореста Ивановича трагически молчал. Была у него возможность вернуться на два летних месяца на прежнюю работу: сотрудники рвались в отпуска. Но и у самого Ореста Ивановича тоже в кармане была путевка на июль в один из прибалтийских курортов.

Вечерами, когда темнело, он включал телевизор, а когда убеждался, что эту передачу он видел по крайней мере пять раз, то брал очередной номер «Огонька». Читать ему никто не мешал, стенки в доме были достаточно толстые, ибо дом, в котором теперь жил Орест Иванович, сооружен был в начале пятидесятых годов, и сюда вселилась тогда однородная и вполне солидная публика. С годами, правда, все несколько перемешалось: люди разъезжались, съезжались, разменивались. На лестницах стало погрязнее, во дворе шумнее, здесь гуляли уже не чистые, красивые собаки, а шныряли брошенные выехавшими хозяевами кошки. Только стены в доме, к счастью, продолжали оставаться непроницаемыми. Когда Орест Иванович ложится спать, в ничем не загороженные окна его квартиры смотрели мелкие звезды. Какие-то далекие вспышки бросали темную тень на потолок. Этот потолок был тоже достаточно высокий —

что-то около трех метров. Но лепные украшения на нем, естественно, отсутствовали.

Он не мог бы с точностью сказать, когда наступил кризис и одиночество перестало сильно его тяготить. Пожалуй, все-таки с того дня, когда он принял твердое решение заняться наконец благоустройством своего быта. Он вселился в эту квартиру около десяти лет назад, но все эти годы о ремонте не помышлял. Казалось ему, что все достаточно чисто. Обои, правда, сильно выгорели, но нигде не отстали и не сморщились по углам, как положено теперь в каждой порядочной новой квартире. Нигде от косяков не отлетела штукатурка, не проржавели трубы в ванной, краны и душ хотя и подтекали, но в размерах допустимого.

И тем не менее теперь Орест Иванович решился на обстоятельный ремонт. Связываться с леваками он не считал возможным и обратился в одну из контор по ремонту квартир.

Разговаривал он спокойно, но достаточно твердо, дал понять, кто он такой и чего бы ему хотелось — ремонта качественного, а не так, тяп-ляп...

В назначенный день и сравнительно с небольшим опозданием к Оресту Ивановичу в квартиру пришли две женщины с ведрами и кистями. Обе сразу посмотрели на потолок.

— Это ведь лестницу надо...

— Ну, так в чем дело?

— По телефону надо звонить.

— Вот телефон, пожалуйста, звоните.

Заляпанную побелкой стремянку привезли через час после того, как уже сам Орест Иванович позвонил в контору.

— А с нами-то и не считаются,— сказала одна из маляров, миловидная и еще достаточно молодая.— Вам бы из сорок второй конторы вызвать, а у нас плохо делают.

— Ну, уж будьте добры, на этот раз сделайте хорошо,— твердо сказал Орест Иванович.

И он тут же поставил им ультиматум: отделать одну комнату, потом приниматься за другую. Женщины-маляры поглядели на него, как на выжившего из ума.

— Нам ловчее бы обе сразу...

— Вам ловчее, но я к соседям ночевать идти не собираюсь.

Малярши окончательно притихли, тем более что Орест Иванович для чего-то спросил и записал их имена, отчества и фамилии. Пока они «раскрывали» потолок, красили рамы и двери, он неотступно стоял у них над душой.

— Когда вы обедать собираетесь?

— Когда кушать захочем.

— Хорошо бы вам захотелось от часу до двух. Я бы тоже пошел перекусил.

Малярши поняли, что хозяин с ремонтом затеялся всерьез. Поэтому рискнули опоздать с обеда всего на двадцать минут. Внизу, в подъезде, они спросили лифтершу, кто такой их заказчик. Та пошутила и сказала, что он народный артист СССР.

— Наверное, заслуженный. Мы народных всех знаем.

Когда дело с ремонтом подвинулось к концу, Орест Иванович купил своим дамам килограмм конфет «Южная ночь». Отделали они его квартиру вполне прилично, хотя было совершенно очевидно, что получить «в лапу» они не надеялись.

Конфеты настолько растрогали обеих маляршь, что они сами снесли на помойку содранные старые обои, банки и ведра из-под краски. В их присутствии Орест Иванович позвонил в контору и попросил, чтобы была записана благодарность работницам Крякуновой и Самохиной. Работница Крякунова ему особенно приглянулась, и Орест Иванович спросил у нее домашний телефон на случай, если ему захочется еще что-то подновить...

Следующим заходом Орест Иванович принялся за покупку мебели.

Еще сравнительно недавно он совершенно равнодушно проходил мимо витрин мебельных салонов, не интересовался ни арабскими кроватями, ни финскими «стенками». Он достаточно хорошо чувствовал себя на диване, привезенном еще от Тишинского рынка.

Теперь, сделав два витка по мебельным магазинам, Орест Иванович купил отечественный гарнитур «жилая комната», отказавшись только от книжного шкафа, который был ему не нужен. Остальное на другой день ему доставили и внесли на восьмой этаж. Орест Иванович расписался в квитанциях и подумал о том, что совер-

шенно зря многие из его знакомых связывают ремонт квартиры и покупку мебели с какими-то кошмарами. Разочарован он был несколько лишь тем, что при его высоком росте был низок обеденный стол и короток новый диван. Орест Иванович извлек из стенного шкафа свои пиджаки и брюки и водворил их в трехстворчатый гардероб. Дверцы у этого гардероба отворялись бесшумно, но были скользкие, как живой сом.

Спал Орест Иванович на новом диване плохо. Ему казалось, что он едет в поезде или ночует на вокзале. С полночи он перешел на свое старое место, только тогда уснул. Когда же утром проснулся, то не сразу догадался, что произошло. Стулья и новый диван он покупал как будто зеленые, а сейчас ему показалось, что они серые. Потом Орест Иванович понял, что это магазинная пыль, доставленная вместе с гарнитуром.

Огорчился он еще больше, когда увидел, что вчера, когда втаскивали мебель, сильно попортили обои в передней и поцарапали дверь. Но зато появился повод, чтобы созвониться с симпатичной маляршей, о которой Орест Иванович за эти дни несколько раз вспоминал.

Та не сразу поняла, кто с ней говорит, но когда он напомнил ей о конфетах «Южная ночь», то спросила:

— Недовольны, что ли, чем?..

Орест Иванович сказал, что, наоборот, всем доволен, но хотел бы видеть ее у себя, и без напарницы.

Он не был уверен, что маляриша поняла его намек. Однако, когда в семь часов вечера раздался звонок, кинулся открывать.

Но это была Лена.

Орест Иванович сразу понял, что невестка его «в ожидании». Это существо, почти не имевшее объема, теперь заметно округлилось и очень похорошело. А ведь он не видел ее, пожалуй, чуть больше месяца...

— Господи, какие у вас огромные перемены! — удивилась Лена.— Ну, Орест Иванович, вы просто молодец!

А ему стало страшно неудобно, словно она могла догадаться, что он совсем не ее ждал. И вообще, словно он все это время был занят какой-то глупой, детской игрой. Свой мебельный гарнитур он даже не сумел толково разместить в комнате, он стоял сейчас так же безжизненно, как стоял до этого в мебельном магазине.

— Да, вот решил немножко привести квартирку в порядок. Нравятся вам обои?

— Очень хорошие. Только вам теперь придется сменить шторы.

И Лена страшно удивила Ореста Ивановича, в первый раз спросив, не может ли он ее чем-нибудь накормить.

— Я теперь ем, как удав,— весело сказала она с явным намеком на свое положение.

— И скоро это у вас произойдет?..— спросил Орест Иванович, не решаясь все назвать своими словами.

— Видимо, в июле.

У него почти нечего было ей предложить. Он вспомнил, что она любит сырые яйца.

— Этого совершенно достаточно,— сказала Лена, когда Орест Иванович извлек из холодильника два диетических яйца.— У меня есть с собой два рогалика.

Он решился и спросил:

— Леночка, расскажите, что у вас-то делается?

Лена сказала, что у них все в порядке. Игоря опять послали в колхоз, на весеннюю посевную.

— Он и меня хотел взять с собой дня на два, на три. Но мама плохо себя чувствует, и Алка от рук отобьется.

— Давно я вас всех не видел,— сказал Орест Иванович.

— Я теперь безумно далеко работаю: тридцать минут езды по Внуковскому шоссе. Но работа очень интересная.

— Да, это далеко...

Орест Иванович подумал о том, что эта Лена никогда не успокоится. Сколько раз он ей предлагал, что устроит ее сам. Было место у них в министерстве, в отделе зарубежных связей. А она ничего умнее не придумала, как накануне декретного отпуска устроилась куда-то за двадцать километров. Он посмотрел на ее добрые, но припухлые глаза явной сердечницы, на малосильные руки и подумал, что ей и вообще-то вряд ли нужно еще родить.

— Вы знаете, почему я забежала? — спросила Лена.— Как вы теперь устраиваетесь с питанием? У нас в институте прекрасный буфет. Вчера, например, были копченые язи.

Только не хватало еще, чтобы она, курсируя между

Внуковским и Рязанским шоссе, возила ему каких-то язей! Но Орест Иванович был очень тронут, ему трудно было это скрыть.

— А я думал, Леночка, что вы меня совсем не любите!

— Да что вы!..

Уходя, Лена сказала:

— Я вам очень благодарна за Игоря. И мама тоже. И Алка.

...Оставшись опять один, Орест Иванович сел на новый диван, который он по совету Лены передвинул в противоположный угол, открыв себе оттуда вид на набережную Москвы-реки, на Нескучный сад. Под ее же руководством он передвинул и гардероб, Лена помогла ему расставить кое-какие предметы в новом буфете. Она сказала, что когда будут и новые шторы, то вообще все у Ореста Ивановича будет замечательно. Он спросил совета, не расстаться ли ему с тяжелой бронзовой фигурой, которую подарил ему кто-то лет пятнадцать назад. Это был пограничник с собакой в очень настороженной позе.

— Знаете, оставьте их, пожалуй,— сказала Лена.— Вы ведь, наверное, к ним привыкли.

Она сказала это так, будто речь шла о живых существах. Когда Лена ушла, Оресту Ивановичу подумалось, что действительно единственная родная ему вещь в этой комнате — пограничник с собакой. Ко всему остальному нужно было еще привыкать и привыкать.

Лена сказала, что «это» произойдет в июле. Сейчас было самое начало мая, еще не убрали праздничных флагов. А в июле Орест Иванович как раз должен был ехать в Прибалтику... Значит, эта недотепа Лена знала, что будет ребенок, в тот период, когда они получали ордер на квартиру. Почему же было тогда не заявить, не взять справку?.. Бабе под тридцать, а решительно ничего не хочет соображать. И тот балбес тоже хорош!

И вдруг Орест Иванович совершенно четко уяснил себе, что именно ради этого «балбеса», его сына, Лена пошла на то, чтобы иметь еще младенца. Ей с мамой вполне хватило бы Аллочки. И не о квадратных метрах думала его невестка, когда решилась на такое дело. Оресту Ивановичу стало безумно обидно: его ни одна так не любила.

Потом, успокоившись, он подумал о том, что вот родится мальчик или девочка, и ему, конечно, покажут их только издали. Воспитывать их будет бабушка, бывшая певица. И все будет так, словно он, Орест Иванович, не имеет к этому ребенку никакого отношения.

Он вспомнил последнюю фразу, сказанную Леной: «Я вам очень благодарна за Игоря!» Значит, все-таки благодарна, понимает, кто сделал из Игоря порядочного парня. Но неужели она не догадывается, что было время, когда Орест Иванович только и думал о том, чтобы уж лучше Игорь не был таким порядочным?..

Орест Иванович почувствовал, что запутался, увяз. Надо было бы радоваться, а ему в голову лезла какая-то обидная, злая чушь. Не надо было уходить с работы, никто его не гнал, наоборот, удерживали. Родится ребенок, ведь не может же он не взять на себя обязательств. А он бросил работу для того, чтобы заниматься всякой ерундой: обоями, диванами, ремонтом, попытками завязать интимное знакомство с работницами сферы бытового обслуживания.

Тут Орест Иванович опомнился и кинулся к телефону. Подошел муж симпатичной малярши. Услышав, что приходить на Фрунзенскую набережную уже не надо, он сказал:

— Ладно, хрен с вами!

Обруганный Орест Иванович успокоился и словно бы для страховки закрыл дверь на цепочку. Мысли его снова вернулись к семье сына, живущей у метро «Ждановская».

«Надо будет им телефон выбить,— думал он.— Нельзя жить без телефона».

8

Начало лета стояло жаркое и почти без капли дождя. И это как будто увеличивало однообразие одинокой жизни Ореста Ивановича. Он вставал рано, брился шумной бритвой и шел вниз, в магазин, за ряженкой, сдавал пустые бутылки, брал полные. Две очереди, одна в кассу, другая к прилавку, давали ему возможность бегло просмотреть «Советскую Россию», а «Правду» он оставлял для более серьезного прочтения.

Однажды он возвращался домой с двумя бутылками и коробочкой финского сыра. На сегодня у него было намерение отправиться навестить «святое семейство», как он в добрую шутку именовал теперь Лену, ее маму, Аллочку, а заодно и Игоря, который вроде бы должен был вернуться из колхоза.

Но в подъезде лифтерша объявила Оресту Ивановичу:

— А вас тут дожидаются.

Под лестницей, рядом с лифтершей, сидела... Люся. Если так можно было сейчас назвать эту пятидесятисемилетнюю, толстую, но очень плохо выглядевшую женщину. Можно было предположить, что она приехала сейчас с Северного полюса: на ней было надето жаркое шерстяное платье с рукавами, сверху еще какой-то жакет и прорезиненный плащ. Адрес Ореста Ивановича Люся, как она ему объяснила, достала через справочное бюро после того, как не нашла его на старой квартире около Тишинского рынка.

— Я лечиться приехала,— скорбно объяснила свое появление Люся.— Печень замучила, с сердцем плохо...

Орест Иванович молча пропустил бывшую супругу к себе в квартиру. Она долго и тяжело ворочалась у него в передней, пока разделась. А он отвернулся к окошку, глядел в затянутый жарой Нескучный сад и молчал.

— А где Игорь? — с несвойственной ей прежде робостью спросила Люся .

Он не ответил. Она села, тяжело дыша, как загнанная.

— Восемнадцать лет я в Москве не была...

— Могла бы и еще восемнадцать не приезжать,— не поворачиваясь к ней, отозвался Орест Иванович.

— У нас там медицинская помощь очень плохая...

Орест Иванович упорно молчал. Через некоторое время Люся опять спросила:

— Игорь-то уж работает, наверное?

— Ты забудь, что есть Игорь! — резко сказал Орест Иванович.

Люся достала большой ситцевый, явно мужской платок и заплакала в него, шумно, не стесняясь.

— Рада бы забыть!.. Если бы я его тебе не отдала, тот подлец его бы заколотил!..

Орест Иванович вздрогнул. Он вспомнил, что ведь у Люси была еще и девочка.

— Выросла, — пояснила Люся. — Эта сама кого хочешь заколотит.

Она снова заплакала и призналась:

— У меня их двое еще... Замучили они меня!

Оресту Ивановичу хотелось сказать: что посеешь, то и пожнешь. Но он удержался, думая лишь о том, как бы скорее избавиться от Люси, выпроводить ее. Решил, что если она попросится передневать или переночевать, то нужно будет найти любой предлог. Он заставил себя приглядеться к Люсе, и у него явилась мысль, что она пьет: отеки, какая-то желто-черная полнота, вода в глазах, дрожащие пальцы. Он вспомнил, какая она красивая и бойкая была перед самой войной. Что же так ошарашило, сломило эту красивую, бездумную, такую нахальную прежде бабу!..

— Сколько примерно у вас частные врачи за прием берут? — вытерев слезы большим, нечистым платком, спросила Люся.

— Не знаю. Я вообще ни у каких врачей не лечусь.

— Счастье твое. А я от уколов вся синяя.

Оресту Ивановичу стало почти тошно. И он спросил глухо:

— Ты чего от меня хочешь?

— Ничего не хочу. Зайти-то надо было... узнать. Как Игорь-то? Наверное, уже институт закончил?

Орест Иванович ничего не ответил: не хватало, чтобы он еще и объяснил ей, что Игорь института не кончил. Интересно, что она-то сама из своих детей сделала? Постепенно гнев Ореста Ивановича стихал. Если бы еще не было так жарко. Непонятно, как это Люся не растает в своем шерстяном платье? Ему хотелось раздеться до пояса, но при ней он не мог себе этого позволить. Он пошел в кухню, открыл кран с холодной водой.

— Чаю бы попить,— попросила из комнаты Люся.— Два дня на вокзале живу.

Орест Иванович согрел для нее чайник. Люся, видимо, догадывалась, что он ничем потчевать ее не собирается, поэтому достала из своей сумки хлеб и сахар.

— Недавно мебель купил?

— Недавно.

— Хорошая... Помоги мне, пожалуйста, в гостиницу устроиться. У меня справка есть, что я на лечение.

Он хотел отказать, но достал записную книжку и вышел в коридор к телефону. Дверь он за собой прикрыл, чтобы Люсе не все было слышно. Связался с бывшим сослуживцем, человеком мощных возможностей, и тот дал ему телефон директора ресторана при одной из гостиниц комплекса ВДНХ.

— Вот поезжай,— вернувшись в комнату, сказал Орест Иванович и подал Люсе адрес.

Она поспешно допила чай и стала собираться.

— Мне бы еще только на лечение устроиться...

Он сурово промолчал: она, видно, думает, что устроиться на лечение — это такое легкое дело. Орест Иванович уверен был, что сейчас Люся попросит еще и денег. По всему было видно, что они ей очень нужны. У него тут же родилось опасение, что если он откажет ей и в деньгах, то она тогда может попытаться разыскать Игоря.

— Я ведь не работаю,— как бы в подтверждение его мыслей, сказала Люся.— Полностью от детей завишу.

О муже она не помянула ни слова: наверное, уже давно сидела без всякого мужа.

Орест Иванович достал двадцать рублей. Люся взяла и спрятала их в кошелек, очень истертый и грязный.

— Спасибо тебе большое!

Она опять долго ворочалась в передней. Дыхание ее было тяжелым, оно как будто не вмещалось в большую пустую переднюю.

— Высоко у вас спускаться...

— Можно вызвать лифт.

— Нет, я вниз ехать боюсь, мне плохо делается.

Орест Иванович уже растерянно посмотрел на бывшую свою жену и вдруг сказал тихо:

— До чего ты себя довела, Люся!..

У нее покривились губы, тяжко задышал живот. Она взялась за ручку английского замка, но не смогла с ним управиться, пока Орест Иванович ей не помог. Уже не прощаясь, Люся тяжело пошла вниз по лестнице. И, пока она не миновала седьмой и шестой этажи, он слышал, как она дышит.

С минуту Орест Иванович постоял на лестничной клетке. Он подумал о том, что вот сейчас Люся дойдет

до первого этажа и там, под лестницей, чего доброго, начнет объяснять лифтерше... Фактически он ее выгнал. Выгнал явно больного человека. Черт с ней, что она когда-то изменила ему, подбросила ему сына. Слава богу, что подбросила: чем бы он теперь жил?

Орест Иванович резко нажал кнопку лифта. Люсю он опередил.

Когда она, держась одной рукой за перила, а другой волоча сумку, одолевала последний лестничный марш, он уже ждал ее внизу.

— Подожди,— сказал он,— вернемся...

На другой день ему удалось положить ее в ведомственную клинику. Он вызвал такси и помог Люсе собраться. Ехать пришлось через Красную Пресню. Люся посмотрела в окно и заплакала. Орест Иванович сидел рядом с водителем и видел в зеркале плачущую Люсю. Он думал о том, сколько раз он за эти двадцать лет проходил и проезжал Пресней, но почти всегда оставался совершенно спокоен, а вот сейчас ему стало тяжело.

Вечером он позвонил в клинику, чтобы узнать, как Люсины дела. Дела были неважные...

Через пять дней Оресту Ивановичу пришлось телеграммой вызывать двух Люсиных дочерей, потому что мать их скончалась от инфаркта. Он рассчитывал, что они увезут тело матери и похоронят там у себя, в Любиме. Но те, как говорится, не мычали, не телились. Младшая, по крайней мере, хоть очень горько плакала, а старшая, та, которую Орест Иванович видел трехлетней девочкой, стала крупной и развязной бабой, как в былые годы Люся, и теперь как будто имела какие-то претензии к Оресту Ивановичу, словно он был в чем-то виноват и не оказал их матери достаточно помощи и содействия.

Таким образом, Оресту Ивановичу пришлось взять похороны на себя. Да еще и дать приют двум осиротевшим девицам, которые не упустили случая и сбегали в ГУМ.

Не сразу решился Орест Иванович сообщить о случившемся своему сыну. Он не знал даже, посвящена ли Лена в их семейную историю. У него был ее служебный телефон, и он после некоторых колебаний набрал номер.

Старaясь не уронить себя в глазах невестки, он стал объяснять Лене, кем была в его жизни Люся. Но Лена тактично перебила его:

— Орест Иванович, Игорь мне обо всем рассказывал. Когда похороны? Мы придем.

Вот как!.. Оказывается, Игорь, ни одним словом не обмолвившийся при нем о матери, «все» рассказал Лене. Но Орест Иванович не хотел сердиться. Была у него мысль попросить, чтобы невестка и сын оделись на похороны как-нибудь посолиднее, чтобы не ударить лицом в грязь перед любимскими сестрами. Но что-то удержало его. Пусть приходят в чем хотят. Он уже благодарил судьбу за то, что у него хватило мужества известить сына и невестку о смерти Люси. Могло быть так, что они никогда бы не простили ему. Лена, во всяком случае.

Это был тяжелый день... В первый раз Орест Иванович сам побывал на Востряковском кладбище. Гроб пришлось нести ему с Игорем, да еще наняли двух кладбищенских рабочих. Сзади, ступая уже без прежней легкости, осторожно шла Лена с букетиком белых нарциссов, и две дочки покойной Люси несли купленный тут же у кладбища венок. Одна из них совершенно некстати нацепила на себя какой-то яркий полосатый жакет, добытый накануне в ГУМе.

Но больше всего удивлен был Орест Иванович, увидев на кладбище Зою Васильевну: ведь ей пришлось ехать через всю Москву, и ради чего?.. Или она за Лену тревожилась, а может быть, думала, что этим она окажет моральную поддержку ему самому?

— С кем же осталась Аллочка?— благодарно спросил он.

— Одна. Она у нас уже большая.

Потом Орест Иванович увидел, что явно уставшая Лена о чем-то тихо разговаривает с осиротевшими «родственницами». Те вытирают слезы и с доверием слушают ее, даже старшая, в полосатом жакете, не внушающая самому Оресту Ивановичу никаких симпатий.

На сына он в этот день избегал смотреть: Игорь был растерян и мрачен. Когда сестры в последний раз прикладывались к покойнице и попробовали заголосить, он сделал знак Лене, чтобы она как-нибудь успокоила их, а сам отвернулся. Когда все закончилось, он посадил отца, тещу и жену в такси, а сам повез сестер на вокзал. Самое тяжелое было, пожалуй, в том, что старшая, в полосатом жакете, была очень похожа на Игоря. Конечно, он не мог не вспомнить ту девочку, с которой вместе

мерз в нетопленой комнате, спал на одной кровати, которую потом, наверное, во сне видел. Орест Иванович уже корил себя, что возложил на сына такую миссию, лучше бы уж он сам посадил этих девиц в поезд.

На следующее утро после похорон Орест Иванович позвонил по месту своей прежней работы и сказал, что от поездки на прибалтийский курорт он вынужден отказаться по семейным причинам. Пусть путевку передадут кому-нибудь другому.

9

Был самый конец июня. Даже ранним утром в квартире у Ореста Ивановича было страшно душно, хотя окна были открыты настежь. Духота эта пахла известкой: прошло почти два месяца с того времени, как он делал ремонт, а малярные запахи еще не улетучились. Орест Иванович проснулся с таким чувством, что эти запахи проникли ему даже внутрь, в горло и в грудь. Он поднялся и достал из холодильника бутылку «Боржоми».

Но тут задребезжал телефон.

— Здравствуйте, Орест Иванович! Это я, Аллочка. Знаете, у нас сегодня родилось двое маленьких детей.

Орест Иванович чуть не выронил бутылку.

— Как двое?

— Так, двое. Ведь это бывает. Бабушка и Игорь пошли туда, потому что из автомата ничего толком нельзя добиться.

Орест Иванович вытер мокрый лоб. Это что же такое: почему никто вчера не удосужился позвонить ему, что невестку уже препроводили в родильный дом?

Но сейчас обижаться было не время.

— Аллочка, ты меня слышишь? Я сейчас к вам приеду, никуда не уходи.

Орест Иванович положил трубку и стал лихорадочно одеваться.

— «Двое маленьких детей»!..— вслух повторил он. Слово «близнецы» еще не пришло ему в голову. Не спросил он у Аллочки и кто эти «двое»: мальчики, девочки?

Солнце резко светило над Крымским мостом. Вода в Москве-реке была серая и, наверное, очень теплая. Асфальт, наоборот, казался синим. Орест Иванович то-

ропился и думал о том, как плохо было в эту душную ночь его невестке, рожавшей двойню.

На метро ему предстояли две пересадки. Очки у Ореста Ивановича запотели. Его сердило, что он не может одолеть собственное волнение и то, что никто в вагоне не догадается уступить ему место. В конце концов ему за шестьдесят... Если бы знали все эти разомлевшие от жары, равнодушные люди, что он дважды в одно утро стал дедом, все бы, наверное, повскакали с мест, чтобы его усадить. На этом испытание не кончилось: у метро «Ждановская» предстояло еще сесть на автобус. Но это уже было слишком!.. Орест Иванович отошел за автоматную будку и стащил с себя галстук. Немного отдышался и пошел пешком непривычным для себя торопливым, с перебежкой, шагом.

Район этот был перспективный, но пока еще малоблагоустроенный. Тут только что прошла поливочная машина, и вся проезжая часть улицы залеплена была рыжей, размокшей, сальной глиной, да и на тротуарах ее хватало. Орест Иванович тащил на своих ботинках столько этой тяжкой глины, сколько не перебывало у него на ногах за все послевоенные двадцать пять лет. Невольно он вспомнил тихий, выметенный Померанцев переулок, куда ему с Фрунзенской набережной было рукой подать.

Шлепал он пешком более получаса. Были у него опасения, что не найдет дома: бывал он тут всего два раза, да и то зимой. Но, увидев перед собой двухэтажный белый детский садик, который зимой только строился, а сейчас ожил, наполнился, как птичник, голосами, Орест Иванович понял, что вроде бы идет правильно.

Аллочка увидела его еще с балкона. Когда он поднялся на четвертый этаж, она уже ждала его у двери и кинулась к нему. В первый раз в жизни Оресту Ивановичу показалось, что он может зарыдать. Он еле-еле сдержался и стал гладить девочку по голове, пряча от нее свое лицо.

— А ты разве не в школе?

— Что вы! Летом ходят только отстающие.

Должно быть, Аллочка решила, что Орест Иванович страшно волнуется, поэтому все и перепутал.

— Садитесь, пожалуйста. Они скоро придут, и мы все узнаем.

Он еще погладил ее по голове, на которой сегодня не было банта. Но ему не сиделось, он встал и прошелся по комнате.

— Скажи, Аллочка, мама вчера... заболела?

— Да. А дети родились сегодня рано утром.

Потом Аллочка сообщила, что дети — это два мальчика общим весом в четыре килограмма шестьсот граммов.

— Как вы считаете, это не очень мало?

— Да нет,—растерянно сказал Орест Иванович, сам не знавший, много это или мало.— Наверное, хорошие ребята...

— Я тоже так думаю,— сказала девочка.

Она тоже волновалась, это было очевидно. Надо было бы приласкать ее, развлечь. Но Орест Иванович сейчас уже думал только о собственных внуках: какие они, что для них нужно, как они будут здесь расти? Он рассеянно перелистывал ноты, разбросанные по крышке рояля, и думал о том, что и его внуков, пожалуй, чуть подрастут, засадят за эту штуку.

— По-моему, вы не рады,—грустно заметила Аллочка.

— Нет, что ты!.. Я рад.—Орест Иванович вытер с лица теплый, какой-то тяжелый пот.— Скажи, Аллочка, как вы все тут живете? Игорь... он вам не мешает?

— Что вы! Я даже не представляю, как мы раньше были без него. Если я прошу бабушку спеть, то она говорит, что у нее болит голова, а вот если Игорь попросит, то она никогда не отказывается.

— Что же она поет?..

— Разное. Чаще всего «Что так жадно глядишь на дорогу?». Вы знаете эту песню?

...Стеклянные подвески на люстре, вывезенной еще из Померанцева переулка, жалобно дребезжали: этажом выше топали чьи-то большие ноги, как будто нарочно хотели вызвать этот нервный, непереносимый сейчас дребезг. Потом кто-то так саданул дверью, что люстра исполнила целый концерт. Орест Иванович возмутился: такое безобразие будет потом и над головой его маленьких внуков.

— Там живет один спортсмен,— объяснила Аллочка. — Но он, кажется, скоро разводится с женой. Пойдем на балкон? Тогда мы скорее увидим Игоря и бабушку,

На балконе, в горячем от солнца ящике, доцветали измельчавшие анютины глазки.

— Я их поливаю,— сказала Аллочка.— Но в этом году такая жара!

Вдали маячило какое-то редколесье. По насыпи шла электричка. Зеленели остатки чьих-то индивидуальных огородов. Пахло жарой и глиной.

— Здесь скоро будет очень хорошо,— сказала Аллочка.— Только вот бабушке не хватает того дворика. Помните, который виден был с нашего старого балкона?..

И она тут же радостно закричала:

— Идут, идут!..

С высоты четвертого этажа Оресту Ивановичу нетрудно было увидеть своего сына и его тещу. Они очень торопились. Наверное, потому что оставили Аллочку дома одну. Они ведь не знали, что он тут.

— Бабушка, по-моему, уже не плачет,— определила Аллочка.

Те были совсем близко. Орест Иванович не без скрытой боли заметил, что Игорь и его красавица теща выглядят совершеннейшими близкими родственниками. Идут, чуть ли не обнявшись, и что-то горячо обсуждают: может быть, как детей назвать или как их тут, в этой двадцатисемиметровой квартире, разместить. Еще здорова ли мать? Орест Иванович, волнуясь и досадуя на сына, думал о том, что вот детей-то делать не хитро, а вот условия для них создать — об этом должен сейчас кто-то другой позаботиться. И ему очень хотелось, чтобы этот другой был именно он сам.

— Я открою,— сказал он Аллочке.— Погоди...

...Сына своего Орест Иванович не видел месяца два. Игорь был худой, загорелый, нестриженый и за каким-то дьяволом отпустил усы. Волосы валились ему на лоб и закрывали шрам. Рубаха на нем была модная, но не очень свежая, что в данный момент было извинительно.

Но гораздо больше поразил Ореста Ивановича вид «сватьи». Она помолодела, казалось, лет на десять, хотя сегодня и пренебрегала несколько своим туалетом и на ее голове седина сейчас явно преобладала над искусственной рыжиной.

— Поздравляю вас, Зоя Васильевна!

Она в первый раз лучезарно улыбнулась ему и от-

ветно пожала руку. Она так устала, что еле могла говорить.

— Лена просит... передать вам большой привет!..

Орест Иванович был просто счастлив. Он повернулся к сыну.

— Как это ты опять не в колхозе?

— А что я сейчас там делать буду? — пряча от отца в кулак усы и улыбку, сказал Игорь.

Но тут Орест Иванович понял, что на сегодня хватит выговоров.

— Ну, поздравляю и тебя,— сказал он сыну.

Потом все спохватились, что сегодня никто из них четверых еще не пил чаю. За этим не очень вкусным чаем Орест Иванович окончательно умилился душой и готов был недвусмысленно заявить, что внуков он своей милостью не оставит. Как никогда, он сегодня был рад, что у него имелись для этого возможности. Перед глазами у него уже стояла новая квартира из трех, а то и из четырех комнат, раздельный санузел, большая кухня, лоджия, где не только две, а целых пять колясок поставить можно.

Он уже раскрыл было рот, но вовремя остановился; Зоя Васильевна, которая успела нанести на свое счастливое лицо какие-то косметические штрихи, крайне дружелюбно обратилась к нему:

— Вы знаете, у нас в роду уже были близнецы. Страшно похожие!..

— А как же их не путали? — поинтересовалась Аллочка.

— Няня надевала на них разные варежки.

— А летом?

— Кажется, у одного была на шее родинка.

Игорь, который больше помалкивал, только улыбался, на этот раз пробасил:

— Ничего, мы своих не спутаем!

Что-то в этом же духе следовало произнести и Оресту Ивановичу, но он как-то не находил слов. И ощутил себя в положении человека, который может со своими чисто метражными соображениями сейчас оказаться некстати. Аллочка уловила его замешательство и пришла на выручку.

— Давайте лучше подумаем,— сказала она,— как мы назовем наших маленьких детей.

МАРИША ОГОНЬКОВА

Повесть

ГЛАВА 1

1

Осенью сорокового, високосного года в деревне Орловке, что лежит в двух километрах от Воронежского шоссе, а от железнодорожной станции Венев верстах в восемнадцати, случился ночной пожар.

Посреди деревни пролегал глубокий зеленый яр, который просыхал лишь в самое жаркое лето. Так что огню удалось смахнуть только одну сторону деревни, прогуляться по левому ее порядку. Порохом занялись соломенные крыши, сразу почернели яблони китайки, зачадили малинники. Алым заревом вспыхнули ометы, затлел даже лежалый навоз на задворьях.

Первым загорелся дом Евгеньи Огоньковой. Хозяйки в эту ночь дома не было: поехала в Венев, повезла продавать поздние крепкие яблоки. Евгенья, баба еще молодая, миловидная и робкая, недавно овдовела и осталась с четырьмя детьми. Так что теперь было не до того, чтобы самим кушать эти яблоки. Евгенья и кадушку с глаз убрала, в которой мочили на зиму антоновку. Дома без матери остались тринадцатилетний кудряш Роман, или, как его дома звали, Романок, одиннадцатилетняя Маришка, пятилетняя Лидка и совсем малое дитя в качке, родившееся уже после отцовой смерти.

Ребятишки проводили мать до шоссе, помогли тащить два пудовых мешка. Дождались, пока она втиснулась с этими мешками в маленький голубой автобус,

и пошли домой. Пятимесячная Верка, как бы догадываясь, что надолго останется без груди, всю дорогу плакала.

Именно из-за этой крошечной крикухи Евгеньины ребятишки, может быть, и спаслись: Верка не давала уснуть, тосковала без матери, изжевала себе все пальцы. Маришка поила ее разведенным молоком, давала хлебца.

— Ты уснешь ай нет? — со взрослым гневом спросила наконец сестренка-большуха.— Ведь это наказанье божецкое!..

Пошло на первый час ночи, простучал где-то далеко поезд-товарняк. Маришку валил сон, но она ослабевшей рукой отдернула шторку на окошке и поглядела наружу. Вдруг ей показалось, что по темной земле летит какой-то красный вихорек. Это был отсвет, а пожар занимался позади избы, на гумне.

Сердце у Маришки страшно заколотилось. Она хотела крикнуть громко, но лишь тихо завыла. И все же она не растерялась, стащила с кровати Романка, дала крепкую колотушку не желавшей просыпаться Лидке, с недетской догадливостью кинулась к комоду, выхватила завернутые в узелок рублевки, справки, бумажки. Уже на улице она сунула замолкшего от младенческого страха ребенка увальню-брату, а сама бросилась выпускать скотину. Мелкие, некрепкие Маришкины зубы колотились, руки сводил ужас, но она все-таки вытащила застав на воротцах, выпустила овечек и телку, шестом согнала с насестов перепуганных, дико орущих кур.

С утренним автобусом вернулась Евгенья. Дети ее вместе с другими погорельцами, сбившись в кучку, сидели в яру, в дудках и таволге. Сюда огонь не достал. Тут же стояла ручная швейная машинка и небольшая деревянная укладка, которую соседи помогли огоньковским ребятам вытащить из занявшейся избы. Сюда же Маришка с Романком согнали овец с теленком, только куры все разлетелись невесть куда. А над яром догорали, чадили избы, садочки. Их и не пытались гасить — разве ведрами такое зальешь?

Евгенья, пока бежала от шоссе к дымящейся деревне, кричала. А когда села возле своих детей, так уж и не поднялась. Напрасно Маришка пыталась подсунуть матери под грудь плачущую Верку: Евгенья отмахива-

лась, как будто ей подсовывали еще одну беду. И если без матери ребятишки держались и не ревели, то теперь все разом залились слезами, и Маришка, и Лидка, задергал губами, заморгал даже крепкий на слезу Романок.

Потом, уже пополудни, из соседней деревни пришла за ними тетка, сестра покойного отца.

— Идите к нам,— сказала она.— Куда же вас теперь денешь?

И Огоньковы пошли, все впятером. Романок погнал телка и овец, пятилетняя Лидка понесла лукошко с цыплятами, которых только накануне наседка нежданно-негаданно привела за собой из густых лопухов. Пятимесячную Верку взяла на одну руку мать, другой рукой прихватила швейную машинку. А Маришка, поднатужившись, потащила деревянную укладку, в которой теперь была «вся жизнь»: плюшевая жакетка, ковровый платок, пряжа от своих овец да метров десять ситца и сатина в разных кусках. Дня три назад Евгенья, как на грех, достала из этой укладки покрывало и накомодник, вывязанные из крашеных ниток: близился престольный праздник. Теперь они сгорели вместе с комодом и деревянной кроватью. В деревне говорили, что это еще пощада — не было раздачи хлеба на трудодни, а то бы и хлеб сгорел.

У тетки в избе Евгенье с детьми отвели угол за печью. С неделю они кормились от хозяев, а потом, не дожидаясь намека, Евгенья сама сообразила, что уж и хватит. Ведь им пятерым по ложке — и пустая чашка. Она нашла на пожарище уцелевшие чугунки, попросилась к золовке в печь. Но печь была маленькая, сложенная на одну семью, больше двух посудин в нее не становилось. Так что завтракали и ужинали Огоньковы чем-нибудь холодным. Капуста в огороде хоть и уцелела частью, но порубить ее теперь было не во что, а без щей крестьянский живот все равно пуст. А поскольку сгорело и сено, то Евгенья продала телка и овец, зарубила кур, которых Маришка отыскала в ближних лозинках. Надо было как-то жить дальше... Только к будущей весне колхоз обещал помочь погорельцам отстроиться. Но все равно требовались деньги: без них никто тебе ничего не принесет и не положит.

Романка проводили в Тулу, в ремесленное училище.

Евгенья облила его слезами, а на Маришку ей таких горьких слез уже не хватило.

— Поезжай, моя золотая, ко хрестной маме,— сказала она.— Поживешь с полгодочка, авось не объешь ты их.

— Я мало ем,— покорно сказала Маришка.— Мне бы в обед чего, а ужинать я и не спрошу.

Маришкина крестная мать, звали которую Лушей, жила в шахтерском поселке Кирьяново, работала на шахте, выдавала фонари. Женщина она была бездетная и нелегкого нрава. Первый муж от нее уехал, со вторым, помоложе себя, жила уже без регистрации. Это немного смущало Евгенью, но Маришка была еще мала и все равно не поняла бы, что к чему. Мать решила отослать ее с попутчиками: из тех, кто погорел, многие уехали устраиваться на шахты. Она стачала для старшей дочки платье с завязочками у ворота и долгую рубашонку, в чем спать.

Когда Маришку привезли в Кирьяново, на угольных терриконах лежал первый снег. Она уже бывала раньше здесь в гостях и теперь без ошибки сама нашла Лушину квартиру.

— Здравствуйте, крестная мама и ваш муж,— с порога сказала Маришка и, как велела мать, поклонилась.

— Здравствуй,— без особого привета отозвалась крестная.— Ишь ты, какая большая стала! Проходи, садись.

Маришка села, но тут же сказала снова:

— Я вам буду в хозяйстве помогать. Мама велела. За вашу за хлеб за соль.

Хлеб-соль в доме у Луши были неплохие: Маришке отрезали три кружка колбасы, положили их на половину сайки. Но вот щи показались ей невкусными, совсем не такими, как когда-то варила дома мать: больно кисла была Лушина капуста. И первая предательская слеза чуть не капнула в эти щи.

— Чего заплакала? — не по-мужски ласково спросил у Маришки крестнин муж Троша.— Не надо.

— А где я заплакала? — мужественно отозвалась Маришка.— Это Верка с Лидкой небось там без меня заливаются.

После ноябрьских праздников Маришку свели в Кирьяновскую школу, в четвертый класс. Сначала там

потребовали справку, но потом директор согласился взять и так.

— Какая с нее справка? — сказала крестная.— У них все до последней липки сгорело.

У Маришки не было ни учебников, ни тетрадок, взять сейчас их было неоткуда. Нашлась старая счетная книга, на ее свободных страницах Маришка стала выполнять домашние задания.

— Смотрите, как новенькая девочка старается,— сказала учительница Ксения Илларионовна. Увидев на переплете счетной книги надпись: «Тетрадка ученицы Огоньковой Марине Парфеновной», она исправила ошибки и добавила: — «Парфеновной» ты будешь еще не скоро. А пока ты Мариша Огонькова.

По дороге из школы к дому Маришка заходила в хлебный магазин, брала две буханки черного и две буханки белого. Троша был мужик большой и хлеба ел очень много. Резали для него всегда только большими кусками, тонкий ломоть у него не держался в руке.

Маришка возвращалась домой первая, поэтому считала себя обязанной управляться по хозяйству: мела полы, носила воду и грела обед на чудной штуке, именуемой «грец». Стояла рядом и следила, чтобы этот «грец» не коптил.

Вечером, после того как исправно делала уроки, она писала письма матери. Перечисляла поклоны всем домашним, даже крошечной Верке, которая еще ничего не могла понимать. Однако и ей посылался низкий с любовью поклон.

— А я вот все не соберусь своим написать,— признался Троша.— Не выходит у меня.— Троша окончил четыре класса, когда служил в армии, но из скромности всегда указывал, что малограмотный.

Маришка аккуратно вырезала еще один листок из своей счетной книги и приготовилась писать письмо и для Троши. Луша безмолвно наблюдала эту картину. Потом взяла у крестницы исписанный листок и вдруг горячо поцеловала ее в макушку. Это была первая ласка, и Маришка растерялась.

— А вы меня к маме отпустите? — спросила она.— Ведь меня не насовсем отдали.

— Отпустим,— ответила Луша и, отвернувшись, вытерла слезы платочком. И даже Маришке стало ясно: тоскует, что своих детей нет.

К весне сорок первого подоспели новости: из деревни Евгенья прислала длинное, восторженное послание, в котором сообщала, что их семью после стольких горестей наконец настигла и радость: Романок, гуляя с ребятами-ремесленниками по улицам Тулы, нашел кошелек, а в нем три сотенных бумажки, четыре десятки и на два рубля мелочи. Адреса при деньгах не было, и мастер-воспитатель велел Романку отослать деньги в деревню матери, а та посчитала, что на эти деньги сына навел сам господь бог, что эти рубли и сотни — первое бревнышко на новый дом.

С тех пор Маришка, когда шла по улице, глядела только под ноги. Очень ей хотелось тоже помочь матери. Но всего только раз попались ей возле хлебного магазина зеленые три копейки.

Перед майскими праздниками Евгенья дополнительно сообщила, что в соседнем селе продают хату на своз, просят тысячу двести. Недохватки у нее было семьсот целковых. Уже продана была швейная машинка, ковровый платок и пряжа вся до последней нитки. В письме содержался явный намек, не поможет ли кирьяновская родня: как-никак Маришкина крестная доводилась Евгенье двоюродной сестрой.

Троша заморгал, а Луша промолчала. Смысл был такой: и так немало помогли, целую зиму продержали девчонку.

— А что бы Михаил Иванычу Калинину написать? — вдруг предложил Троша.

— Ты научишь! — скептически сказала Луша.

Маришка решила посоветоваться насчет письма Калинину со своей учительницей Ксенией Илларионовной. Та почему-то смутилась и идеи этой тоже не поддержала. А на другой день отозвала Маришку в сторону и сунула ей десять рублей.

Ксения Илларионовна была еще не старая, но седая и ходила всю зиму в одном и том же платье.

— Дай вам бог здоровья! — подражая интонации матери, сказала Маришка.

— Что ты, что ты! — остановила ее учительница.— Какой там бог. Ты же девочка умная.

В конце мая Маришка закончила четвертый класс, получила листок с четверками и пятерками и стала жить ожиданием, когда Троша возьмет отпуск и свезет ее домой в Орловку. Она уже заранее готовила прощальные слова, которые сказала бы крестной матери:

— Большое спасибо вам за ваше воспитание, за ваш привет!..

Но Троше отпуска все не давали, а потом вдруг взяли его на какую-то переподготовку. Он ушел с железной кружкой, с двумя парами носков, и весь хлеб, что Маришка принесла из магазина, Луша положила Троше с собой в мешок.

Между тем Евгенья к себе в Орловку уже перевезла купленную хату, в которой не было пока ни крыши, ни сеней. Колхоз помог ей деньгами и с перевозкой, дал соломы на крышу и кругляка на сенцы. Но весна стояла холодная, и топить было нечем. С пасхи не мылись, не жалели воды только на маленькую Верку. Но хоть и холодный, но все-таки это опять был свой дом. Его поставили высоко над яром, на прежнем своем месте, возле обгорелых лозин, которые давали от земли новые, зеленые ветки. К троице достроили сенцы, только не было пока двора, но в него и пускать было нечего: новую скотину нужно было еще наживать да наживать.

Приехал из Тулы Романок, теперь почти что Роман Парфенович: в черной форменной шинели с золотыми буквами, в черном картузе и в намазанных гуталином ботинках. Они с матерью принесли из засеки березовых веток, натыкали за новые наличники и под карниз. Евгенья начисто перемыла все окошки, только вот шторок к ним сейчас не было. Поставили на голый подоконник два столетника да красную гераньку.

Маришка между тем томилась в Кирьяновке. Приходило ей в голову, что ждать нечего, что нужно убежать. Но совесть не позволяла. С тех пор как Троша ушел на переподготовку, Луша взяла ее спать с собой и даже во сне почему-то крепко держала. Маришке думалось, что если она решится и убежит, то крестная мать ее обязательно догонит и воротит.

— Как мне маму охота повидать! — однажды робко призналась Маришка.— Хоть бы одним глазком!..

— Успеется,— отозвалась Луша,— живи пока.

Наверное, если бы она знала, что всего через три дня начнется война, не сказала бы, что успеется. Но ведь никто не знал...

2

Лето сорок первого стояло солнечное и яркое. Ни поздних заморозков, ни холодных дождей, ни сухих ветров. Такое бы лето в мирный год!.. На шахтерский поселок пока еще не было ни одного налета, и даже не верилось, что где-то полыхают деревни, пустеют поселки, уходят на восток люди. Тут, в Кирьяновке, на станции по-прежнему грузили бурым углем платформы, вагоны-пульманы. По насыпям из-под черной пыли вопреки всему лезла лебеда и полынь, в поселке, как облитые медом, цвели липы. Но на клумбах возле шахтерского клуба да и возле домов никто не поливал распустившихся цветов, они сохли, наводили тоску.

Троша с переподготовки домой не вернулся. Луша ходила угрюмая, часто плакала и не спала по ночам. Маришка понимала, что другого такого Троши, случись что-нибудь, Луше нипочем не найти: тот не дрался, не ругался, одна беда — много ел. Теперь, без Троши, Маришка приносила из магазина всего одну буханку белого да полбуханки черного. Потом и вовсе хлеб стали давать по карточкам, и на Маришкину долю падало всего триста граммов, короче говоря — горбушечка.

О том, что творится дома в Орловке, она не знала. Автобусы больше не ходили, в поезда не сажали. А кто шел куда-нибудь пешком, останавливали и спрашивали документ.

— Ангел небесный, снеси меня к маме!..— горячо попросила Маришка.

Она уже давно догадывалась, что никаких ангелов нет, но просить больше было некого, а домой очень хотелось.

В начале августа в Кирьяновку эвакуировали из Москвы большой госпиталь, заняв под него здание той школы-семилетки, в которой училась Маришка. Сначала по железнодорожной ветке пришел эшелон с медицинским персоналом, с койками, с матрацами, с бачками и кипятильниками. Целый вагон — аптека, другой вагон — с рентгеном. А суток через пять привезли ране-

ных: у кого гимнастерка надета в оба рукава, у кого в один, другие просто накрыты пыльными шинелями, а под ними белье и бинты.

От станции до госпиталя было около версты по немощеной улице. Лежачих раненых нельзя было трясти в машине, их клали на носилки, и Маришка видела, как молоденькие медсестры-москвички по четверо тащили их. Они и руки меняли и отдыхали через каждые двести шагов, а раненый боец стонал и бранился.

— Дайте я маленечко пособлю,— попросила Маришка и протянула руку к носилкам.

Ее не отстранили, и она вместо молоденькой медсестры пронесла носилки полные двести шагов.

— Какая девица-то крепкая! — заметила красивая врачиха со шпалой в петлице и очень строгими глазами.— Ну, хватит, девочка, уходи.

Но Маришка не ушла, а только дождалась, когда скроется из виду строгая врачиха, и опять взялась помогать.

Дома крестная мать спросила ее:

— Ты Троху-то не видела? Гляди, может, и его привезут.

— Я гляжу,— заверила Маришка.— Не пропущу.

Но Трошу не привозили. Везли всяких: смоленских, орловских, московских, а Троши не было.

— Сколько же тебе лет, девочка? — спросили у Маришки московские медсестры, увидев ее снова и снова возле госпиталя.

Маришка покривила душой и сказала, что четырнадцатый год. Но и рост и отроческая угловатость выдали ее. Разве что светлые, понимающие глаза говорили в ее пользу. Медсестры вроде бы поверили и взяли Маришку с собой в столовую.

Еда там была распрекрасная. Бойцам, медперсоналу и всем вольнонаемным давали жареного мяса, компот с урюком и еще с чем-то приятным, названия чему Маришка не знала. Приводили ее сюда потом еще не раз, она поела и мясных котлет, о которых в деревне только слыхала. Оказалось, что повар раньше служил в большом московском ресторане и готовил, как колдовал. Маришка попробовала и жареной печенки, и почек, и гуляша; детский живот ее радовался, а душа страдала:

этого бы компоту сейчас годовалой сестренке Верке, а матери с Лидкой по котлетке бы!..

К Маришке пригляделись и посоветовали пойти к начальнику госпиталя, военврачу первого ранга Заславскому, попросить, чтобы разрешил помогать в палатах, разносить раненым еду, прибираться и писать письма для тех, кто сам не может.

Маришка испугалась, но пошла. Военврач первого ранга очень строго посмотрел на нее через очки с золотцем, но выслушал.

— Будьте добрые,— подражая матери, попросила Маришка,— не откажите в просьбе!..

По распоряжению начальника госпиталя, закрывшего глаза на Маришкино малолетство, ее, Марину Парфеновну Огонькову, зачислили санитаркой по вольному найму, без обмундирования, но с довольствием. Выдали только белый халат, который Маришка сама ушила и подняла карманы. За первый месяц службы она выросла сантиметров на пять, потому что сытно и вкусно ела. Сознание того, что она теперь почти военнослужащая, заставило в Маришкиной душе отступить всем другим тревогам и чувствам. Все реже тосковала она о родном доме и уж совсем не спешила вечерами к крестной. Да и та работала теперь по шестнадцать часов в сутки. Варить на «греце» было нечего, посуда стояла чистая, незакопченная и холодная.

Поначалу не во всем Маришке хватало сообразительности, кое-что делала она и невпопад. Как-то после влажной уборки она увлеченно отстирала все тряпки и дерюжки и повесила на видном месте, чтобы оценили. Но эти тряпки первой попались на глаза заведующей отделением, военврачу третьего ранга Селивановой.

— Это твоя работа? — спросила она очень грозно.— Ты бы еще подштанники здесь развесила!

Маришка страшно испугалась, даже прижалась к стенке. Красивая военврач третьего ранга взглянула на ее маленькие, красные от холодной воды руки и пошла дальше.

— Ты Селиванову не бойся,— сказали медсестры.— Она порядок любит, а так она не вредная.

Маришка изо всех сил старалась запомнить, что если нужно будет спросить о чем-нибудь строгую Селиванову, то нельзя называть ее по имени-отчеству, Валенти-

ной Михайловной, а надо сказать так: «Товарищ военврач третьего ранга, разрешите обратиться!»

Если же вдруг в отделение придет, к примеру, сам начальник госпиталя Заславский и при нем нужно будет что-то Селиванову спросить, то следует говорить так: «Товарищ военврач первого ранга, разрешите обратиться к товарищу военврачу третьего ранга!»

— Молодец! — похвалила Маришку палатная сестра, когда та одолела эту скороговорку.— Ну, беги, разноси ужин.

— Есть, товарищ военфельдшер второго ранга! — радостно выпалила Маришка и побежала в столовую.

Был уже август, пошли дожди — для эвакуаторов самая плохая погода. Прибыл еще эшелон в пять вагонов с одними тяжелыми, откуда-то из-под Вязьмы. Этими же вагонами увезли куда-то тех, кто поправлялся, в какой-то батальон для выздоравливающих. Увозили ночью, в темень.

Утром Маришка точно в шесть пришла в палату, стала наводить порядок. Все обтерла, понесла выбрасывать окурки. Но ее вдруг окликнули с другого конца коридора:

— Огонькова! Мариша!.. Поди-ка сюда скорее!

Там, где раньше была учительская, куда Маришка вслед за своей учительницей, Ксенией Илларионовной, носила тетрадки, линейки, глобус, сейчас была операционная палата. А табличка все оставалась: «Учительская».

— Поди сюда, не бойся,— шепотом сказала операционная сестра и дала ей подержать какую-то металлическую штучку с ножами. Позже Маришка узнала, что одной из молоденьких медсестер, только что с курсов, во время операции стало тошно. Военврач третьего ранга Селиванова ее выгнала, никого другого под рукой не оказалось, и кликнула Маришку. Раненый, хоть и был под наркозом, весь крутился, выбивался. Военврач Селиванова резала ему руку пониже плеча. Когда ножик шел в тело, было слышно какое-то шипение, как будто выходил воздух. И словно не по живому телу резали, а по чему-то хрусткому, вроде бы как по замороженному киселю или по студню.

Маришка, хотя и замерла от ужаса, не отвернулась. Но руки ее задрожали, и ножики на лоточке зазвякали. Селиванова потихоньку выругалась, но не по Маришкиному адресу: трудно было резать.

Потом военврач третьего ранга сняла марлю с лица и помахала пальцами в резиновых перчатках. Раненого стали перевязывать, и он теперь лежал уже, как мертвец, очень синий.

Маришка догадалась, что ей уже здесь делать нечего. Но в это время военврач Селиванова, сняв перчатки, вдруг взяла ее за подбородок.

— Ну, крошечка-хаврошечка, хватила страху?

Потом Маришка краем уха слышала, что тому раненому нужно было переливать кровь. А так как не было в запасе нужной группы, то кровь дала сама Селиванова.

Маришке очень хотелось знать, какая у нее группа. Ей укололи палец и выяснили, что у нее третья группа, но сказали, что эта группа мало кому нужна. И Маришка с тоской пососала уколотый палец. Тот раненый, которому дала кровь Селиванова, умер на другой день. Маришке объяснили, что у него была газовая гангрена, потому и воздух выходил из руки и хруст был такой. Значит, зря красивая Селиванова старалась.

С того дня Маришка стала меньше бояться военврача третьего ранга и не избегала попадаться ей на глаза.

— Ну что, Огонек? — неожиданно очень по-дружески обратилась к ней Селиванова после очередного обхода.— Как у нас с тобой дела идут?

Маришка не очень растерялась и ответила четко:

— Хорошо идут, товарищ военврач третьего ранга.

Так с легкой руки Селивановой все в госпитале стали звать Маришку Огоньком. И ей это прозвище очень нравилось.

Из Орловки наконец дошло до Маришки письмо. Там мобилизовали всех до единого молодых мужиков, ждали своего череда и пожилые. Хлеб еще не обмолочен, картошка, просо — все в поле. Успели наставить сена, но кто его будет теперь возить. Страшно выйти в луга: немец бьет с самолета, палит копны зажигалками.

«Дорогая доченька,— писала Евгенья,— сообщаем тебе, что брата Романка увезли вместе с училищем неизвестно куда, и не знаем следу. И об тебе болит

душа. Такое время, что уж всем бы возля друг дружки».

Маришка заплакала. Накануне она видела в кинокартине, которую показывали раненым бойцам, немцев-фашистов. У всех у них были страшные, нечеловечьи хари, рогатые каски, кованые сапоги, как копыта. Что же будут делать мать с Веркой, с Лидкой, если такие чудища придут к ним в деревню, куда они все будут хорониться?

В начале осени стали проводить занятия по строевой подготовке. Вольнонаемному составу тоже было положено маршировать с учебными винтовками, ползать по лугу по-пластунски, осваивать приемы построения. Каждое утро с десяти до двенадцати.

Занятия проводил воентехник третьего ранга Чикин, человек не старый, но с темным, стариковским лицом. У него было что-то с легкими, однако это не мешало ему ухаживать за молоденькими сестрами, и улыбка с его темного лица никогда не уходила.

Кроме Маришки, на занятия из числа вольнонаемных выходило человек двадцать: повар, дезинфектор, бухгалтер, киномеханик, остальные санитарки, няньки, нанятые в поселке и в ближних деревнях. Все они исстрадались, пока научились без ошибок выполнять команды: на первый-второй рассчитайсь, ряды сдвой, в одну шеренгу становись, право плечо вперед, лево плечо вперед!.. Хорошо, что воентехник Чикин был человек непридирчивый, к тому же всегда влюбленный. А может быть, он придерживался того мнения, что если придет смерть, то каким плечом к ней ни поворачивайся, она все равно тебя накроет. Да и что спросить, когда народ такой не строевой, не физкультурный?

У Маришки было то преимущество, что она уже маршировала в школе, и теперь она все делала быстрее и лучше других. Лево-право выходило у нее само собой, а не после того, как подумает. Она теперь и по коридорам не бегала, а ходила четко, считая про себя: три, четыре, левой, левой!.. Учебную винтовку она тоже привыкла носить и делать с ней приемы, но вот до настоящей стрельбы дело не дошло. Возможно, что при госпитале и не было настоящего оружия.

Занятия шли не нудно, потому что Чикин со всеми

нянькамн и санитарками перемигивался, словно бы договаривался. Насчет вольнонаемного состава, который жил по своим домам, было не строго, а военнослужащим сестрам баловства не спускали. Маришка сама слышала, как на построении комиссар госпиталя, старший политрук товарищ Чалых сказал строго:

— Вчера во время демонстрации кинофильма «Девушка с характером» наблюдалось следующее безобразие: медицинская сестра Богданович и раненый боец занимались обниманием.

Маришка в первый раз подумала: хорошо, что она малолетка, ее никому не интересно обнимать.

3

В десятых числах сентября начались налеты и на Кирьяновку. Два дня подряд бомбили шахтерский поселок, наверное, хотели разрушить шахты. С самолета изрешетили пулями помещение железнодорожной станции, расколотили ветку на Тулу. Насмерть прибило двух ребят из ФЗУ, не пожелавших схорониться в щель. Лежачих раненых три раза пришлось вытаскивать в пришкольный сад, потом таскать обратно. Из окон высыпались все стекла и даже две двери от взрыва слетели с петель.

Сентябрь уходил, и темнело теперь совсем рано, еще до ужина. И каждый вечер можно было ждать нового налета. Но немцы в последние дни что-то не прилетали, хотя в прошлый раз ушли безнаказанно. Только где-то далеко, то ли в Туле, то ли на Косой горе, изредка били орудия.

Совершенно случайно Маришка услышала страшный разговор. Говорили врач по лечебной физкультуре и тот же воентехник Чикин.

— Ведь если придут, то голыми руками нас возьмут: три винтовки на всю охрану.

— Не исключено...

И Маришка в первый раз помертвела от страха. Тихонько, словно боясь быть услышанной этими проклятыми немцами, она побежала в свою палату.

— Девчоночка, куколка, может, слыхала, куда теперь нас?

Раненые уже знали, что готовится отправка. Маришка и сама видела, как отбирают истории болезни, как врач-эвакуатор переписывает какие-то списки.

— Истинный бог, не знаю!

Пожилой боец чуть не в голос заплакал. Он был смоленский, с первых дней угодил в пекло, не ведал, что с бабой, что с детьми.

— Пусть бы смерти предали, хошь на день бы домой!..

— Врешь! — сказал другой раненый.— Не захочешь ты помереть. Я вон гляжу, ты по три кашки съедаешь.

— Не плакайте, дяденька,— добавила и Маришка. Но на смоленского, видно, нашло: горько плакал, и все тут.

Пробило семь, и Маришка побежала разносить вечернюю кашу. Пожилой смолянин отсморкал слезы и достал из-под матраца собственную деревянную ложку. Когда Маришка принесла ему каши-перловки, он спросил:

— Хлебушка не прибавишь?

Этой просьбой он ей и раньше досаждал. Но она ответила вежливо:

— Персонал поужинает, останется, я вам принесу.

Ей очень неловко было собирать со столов куски, которых день ото дня становилось меньше и меньше, а на то, что оставалось в котлах, имели свой прицел повара и раздатчики. Ведь могли подумать, что Маришка эти куски для себя собирает.

Хлеба она смоленскому принесла, а он в своей горести съел и поблагодарить забыл. Что же, Маришка не обижалась.

Открылась дверь, сунулась дежурная медсестра:

— Огонек! К врачу-эвакуатору, быстро!

Сердце у Маришки дрогнуло: неужели всех увозят? А как же она? Возьмут ли ее с собой? О предстоящей эвакуации госпиталя говорили уже все, никакого секрета из этого не делали. Маришка думала, что сейчас ей велят собирать обувь, раздавать солдатские мешки, сворачивать койки.

Но составу был дан совсем другой приказ: брать носилки, и на станцию. Привезли еще человек полтораста раненых, очень тяжелых. Это эвакуировался полевой госпиталь из Сухиничей.

Таскали сухинических в полной тьме: доходил сентябрь. Из тех, кого привезли в четырех товарных вагонах, никто не шел, всех несли. Таскали и санитарки, и медсестры, и врачи, и политруки.

Маришка топила в операционной печку-голландку. Спать ей совсем не хотелось, только немножко ломило шею и плечи. Потом она не заметила, как заснула, уронив стриженую голову в коленки. А проснулась на топчане, под больничным халатом, которым кто-то ее накрыл. И вдруг увидела в окно, как через парк идут трое мужчин из числа вольнонаемных с лопатами на плече, а с ними старший политрук. Маришка не сразу, но сообразила, что идут они на шахтерское кладбище копать могилу: кто-то последнюю дорогу не пережил.

Эвакуация началась восьмого октября, перед рассветом. На станции, не освещенной ни одним фонарем, стояли вагоны с нарами из свежих досок. Только эти доски и белели в темноте, а сами вагоны были черные и грязные: здесь возили раньше не людей, а грязный товар какой-нибудь, а может, и скотину. Не было ни одного огня и в поселке, и машины, на которых подвозили раненых до станции, шли с темными фарами.

Маришка плакала и цеплялась руками за тех, кто с ней прощался. И вдруг кто-то сказал рядом:

— Хватит реветь-то, придурок деревенский!

И тут же Маришка услышала:

— Медсестра Богданович, перестаньте хамить! И наденьте как следует головной убор: вы не на гулянке.

Это военврач третьего ранга Селиванова Валентина Михайловна так вступилась за Маришку. Та Селиванова, которой она когда-то сильно побаивалась.

— До свиданья, Огонек! — ласково сказала военврач третьего ранга.— Не горюй, может, еще увидимся.

Минут через пять тихо, как бы украдкой, свистнул паровоз и запричитали вагоны. Маришка еще плакала и искала глазами Валентину Михайловну. Но уж очень темно было...

— Товарищи вольнонаемные! — на этот раз не слишком бодро скомандовал воентехник Чикин.— Собрать носилки, построиться, и шагом марш!..

Все, наверное включая и самого Чикина, подумали, что сегодня можно бы и не строиться. Но порядок есть порядок — время военное.

Как бы в дополнение ко всем слезам дома Маришка застала голосящую Лушу: оказывается, забегал на час Троша. Их держали где-то совсем недалеко, но он по своей малограмотности так и не собрался ничего написать. А теперь уж везли на фронт — это точно.

— Про тебя спрашивал,— сказала крестная.— А я уж и сама забыла, какая ты есть.

В свою родную деревню Маришка вернулась только к следующей весне. Орловку война обошла: еще зимой немцев повернули у станции Мордвес, между Каширой и Веневом, в сорока километрах от Маришкиного дома.

От Кирьяновки до Тулы Маришку довезла попутная машина, а там она побежала пешком, от деревни до деревни. Никто ее не остановил и не спросил никакого документа: ростом она по-прежнему была маленькая. Она шла по колдобистым, оттаивающим дорогам, видела темные метелки не убранного с осени проса, придавленную снегом и льдом гречиху, замороженную свеклу в буртах. Над оголившейся землей низко летало воронье и галочье, ближе к деревьям роились воробьи. На поречье ледышками торчали вытаявшие из-под снега капустные кочаны.

— Мамычка, это я пришла!..— тихо сказала Маришка, перешагнув порог.

Евгенья кормила грудью Верку, которой доходил второй год, но которая как была, так и осталась крошечной. В новой избе было совсем голо, печь, сложенная еще прошлым летом, так и не белена. Мать кормила Верку, а сама прикрывала безжизненную грудь — холодно.

— Мама!..— повторила Маришка.— Ведь это я.

— Золотая ты моя!..— вымолвила наконец Евгенья.— Как тебя бог научил?.. Как тебя ножки донесли?

Вечером в деревне не светилось ни одного окошечка; про керосин здесь давно не было и помина. Казалось бы, зачем немцам нужна была деревня в двадцать пять домов, низких, под соломой, которые, как стрижиные

гнезда, прилепились на краю глубокого и холодного яра? Ради чего они хотели сюда прийти? Что бы они тут нашли? Груды невывезенного навоза на задворьях да десяток тонн картошки в поле, которую так и захоронил снег.

Только теперь, когда они вчетвером улеглись на лежанке, где раньше и двоим было тесно, Маришка почувствовала, как отощали, подробнели все — и мать и ребята. Сейчас она была при матери старшая. Она лежала, не спала и думала: чем они до тепла дотопятся? В Кирьяновке она собирала уголь возле шахт, а здесь чего же соберешь? Недаром, когда Маришка подходила к своей деревне, она не увидела ни одной рябиночки, ни одной лозинки — все срубили и стопили.

Холода продержались до поздней весны. Единственной крепкой обувкой были Маришкины солдатские ботинки, которые дали ей еще в госпитале. В них она бегала по воду, таскала на топку погнившую солому с дальнего поля. Но в избе у Огоньковых все равно было холодно, холодно!..

— Верка-то у нас елюшки дышит,— сама чуть живая, сказала Евгенья.— Синенькая вся!..

Девочке сровнялось два года, когда Огоньковы ее схоронили. Уже озеленилась земля, пели дрозды. Маришка оглядела всех, собравшихся на кладбище, и не по-детски ужаснулась: при ярком свете солнца все были черные, лицом похожие друг на друга: и темными платками и провалившимися глазами. Старухи тянули «Вечную память». Маришка взглянула на небо, там переливалась лазурь. Сколько раз слышала она, что никакого бога нет, но как ей хотелось верить, что крошечная Веркина душа будет плавать высоко-высоко в чистом, теплом небе...

ГЛАВА II

1

— Мамычка, а ведь мне завтра восемнадцать лет!..

— Забыла я, дочка,— виновато сказала Евгенья.

Мариша и сейчас была невелика ростом, но лицо у нее было круглое и хорошенькое. Нос, правда, лупился, и обе ноздрюшки остались маленькими, детскими.

Евгенью же военные годы сломили. Так болел желудок, что никакая радость не была радостью. Слишком много за эти годы съели всякой травы и гнили: мороженой картошки, побывавшего под снегом зерна, прелой свеклы. Молодые животы все переварили, а Евгенья заболела всерьез. Теперь, даже если ела хорошую пищу, ей казалось, что во рту у нее трава, горькая и вязкая. Ей шел всего сорок третий год, но она уже была не работница. Даже посидеть выходила только к старухам, потому что тем, кто остался здоров, не всегда хочется слушать про чужую боль.

...По улице шел теплый майский ветер, качались молодые, наново посаженные лозинки. По ступенькам в избу карабкалась зеленая травка.

— Не застудись,— сказала Евгенья, глядя на голые, уже успевшие загореть Маришины руки.— Больно рано, касатка, начала раздешкой ходить.

А Мариша отрезала рукава у платья, чтобы залатать грудь и подол. Материал был еще довоенный, какого теперь не купишь: сколько носила, а цветочки видны.

Она вывела мать из избы, посадила на лавочку. На Евгенье было два платка: нижний, белый, чистый, а сверху черный с махрами, две телогрейки.

— Знаешь, чего бы я съела, доченька,— вдруг сказала Евгенья.— Кусочек бы той колбаски, какую отец-покойник привозил. Нарезана наискосок, и шкурочка так колесиком и остается.

— Где же нам колбасы взять, мама? Разве только Романок пришлет.

У Романка была своя история. Ремесленное училище, в котором он до войны учился, осенью сорок первого эвакуировали на Урал, в Свердловскую область. Ребят сразу же стали водить на практику, в кузнечный цех. Обували и одевали, спать клали на чистые койки, но с харчами было плохо: в супе лапшина за лапшиной бегала с дубиной. Когда Романок об этом писал матери и сестрам в Орловку, те обливались слезами, хоть сами и вовсе никакой лапши не видели в то время.

Все же, пока училище о ребятах заботилось, жить было можно. Но в начале сорок третьего ребят-ремесленников передали заводу, там рабочих было под тысячу, и о том, как прожить, теперь каждый должен был заботиться сам. Романок начал с того, что проел новые

ботинки и бушлат, которые выдали ему при выпуске из училища, потом пару бязевого белья и шапку; остаток зимы проходил в солдатской пилотке, вследствие чего приморозил одно ухо. Но бедовал недолго: он был малый красивый, весь в мать, очень миловидную в девках Евгенью, выглядел он взросло и нашел себе «марушку». Она купила ему новый бушлат и ботинки, сама вывязала носки и варежки. Романок стал ходить на работу с картофельным пирогом и с бутылкой молока. В эту пору он в Орловку писем не слал, и Евгенья убивалась как никогда.

В конце сорок пятого Романка призвали в армию. Сейчас он дослуживал в стройбате под Москвой. Домой он еще ни рубля деньгами, ни одной конфетки девчонкам не прислал, но домашние, простив ему долгое молчание, теперь обманывали друг друга словами: «Вот Романочек приедет, вот Романок пришлет!..»

Евгенья сидела на майском солнышке, смотрела, как управляется Мариша. Ту бригадир часом раньше отпустил с поля: урок свой выполнила, а дома больная мать. Теперешний бригадир, инвалид войны, был с совестью. Не то, что прежняя бригадирша-злыдня, которая из здешних баб немало крови попила.

— Минералку, что ли, растаскивали? — спросила Евгенья. Она уже два года как не работала, а знать ей хотелось все.

— Уже запахали. С понедельника садить.

Мариша шестую весну встречала в поле. Когда она в сорок втором вернулась в Орловку, никто не поглядел, что она маленькая: хочешь есть, иди работай. Сперва Евгенья старалась ее далеко от себя не отпускать, боялась, что обидят: положат лишнего девчонке на горб и сделают на весь век калекой. Но все же пришлось и отпустить. Косить за взрослыми бабами Мариша не поспевала, а грести была не слаба и снопов навязывала больше взрослых девчат. Но хлеба в Орловке сеяли год от года меньше, в основном была картошка да свекла, считалось, что это не тяжелая работа, каждый подросток может ее выполнять.

На огороде у соседей фыркала лошадь.

— Когда же нам-то вспашут? — тревожно спросила Евгенья.— Вечор вижу, Иван Степаныч кобылу ведет, думала, к нам...

На горе свое, Евгенья была не солдатская вдова, а вдова мирного времени. И сколько раз ее по этому поводу обходили: то одного не дадут, то в другом откажут. Ей казалось, что она и расхворалась не от плохого питания, а от несправедливого к ней отношения.

— И нам вспашут,— заверила Мариша.— Главное, мамычка, вы себя не растравливайте из-за этой кобылы.

Она одним самоваром кипятку обстирала всю семью, оставшиеся угли вытрясла в утюг. Пока домывала последнее, первое уже просохло на майском ветру, можно было и гладить. Каждую стирку Мариша боялась, что уж это будет в последний раз — расползется на ниточки.

— Пойдемте, мамычка, в избу,— позвала она.— А то холодать начинает.

Евгенья покорно встала, пошла за дочерью. У Мариши были такие же серые, добрые глаза, как у нее самой в девушках. Но Евгенья когда-то заплетала нежидкую косу, а дочь, как все сейчас, стрижена на косой проборчик, только уши накрыты. Младшую, Лидку, всю войну вовсе коротко остригали, как овцу: воды и мыла было в обрез.

— Может, чаю хочете, мама? В самоваре на чашечку осталось.

— Нет,— сказала задавленная болезнью Евгенья.— Теперь что-то уж и ничего не хочу.

Она легла на постель, и Мариша накрыла ее. В избе было тихо, тихо. Лидка ушла на речку, приловчившись, словно парнишка, ловить на удочку. Мариша поглядела на ходики: шестой час, пора бы ей воротиться. Может, и вправду чего принесет.

Голые когда-то стены огоньковской избы теперь украсили фотокарточки. На самом видном месте висел, конечно, Романок, снятый в солдатской форме. Шея у него была крутая, нос вздернутый и веселый. За плечами сидели две голубых птички на серебряных веточках.

Остальные фотокарточки были тоже неплохи. Два года назад, перед самой победой, в деревню приехал из Венева фотограф. Делал снимки за картошку: за шесть карточек ведро. Поскольку впереди была посадка, Мариша с матерью платить картошкой не рискнули, а предложили фотографу пяток яиц от первой курочки. Тот взял охотно, а за то, что Огоньковы пустили его

в темный угол за печью проявлять снимки, сделал им лишнюю семейную фотографию. Евгенья сидела возле своего дома, на самом солнышке. За плечами у матери стояла Мариша, сбоку десятилетняя Лидка. Девчонки улыбались, а Евгенью не удалось уговорить улыбнуться: она переживала, что нет дома Романка.

— Не расстраивайтесь, мамаша,— сказал Евгенье фотограф, думая, что она оплакивает убитого.— Вечная память, как говорится!..

У самого фотографа не хватало трех пальцев на правой руке, но ремесло его не покинуло, он, как мог, подрабатывал на прокорм своей семье.

— Вас я сделаю в овале и с обрамлением,— обещал он Марише, которая ему как будто понравилась. А может быть, просто рассчитывал, что за овал и обрамление Огоньковы пригласят его пообедать.

Но когда фотограф увидел, чем обедает семья, где лишь одна шестнадцатилетняя Мариша способна заработать кусок, то сесть за стол не согласился, сказал, что сыт, что уже ел.

Мариша тогда в первый раз застыдилась своего платья, в котором ей пришлось фотографироваться. На ногах у нее были не туфли, а сапоги большого размера с парусиновыми голенищами, которыми ее премировали в колхозе.

— Стойте ровненько,— велел фотограф, заметив, как Мариша переминается от неловкости.— Ваша красота сама за себя скажет.

Марише было отчего волноваться: это был второй снимок в ее жизни, а первого можно было и не считать: там она была снята в младенчестве, между отцом и матерью. Этот маленький, тусклый и желтый снимок сгорел в сороковом году вместе с деревянной переборкой, оклеенной голубыми обоями. А на втором снимке она прямо стояла во весь свой рост, и на пальце у нее светился занятый у подружки перстенек.

Потом этот перстенек был на радостях отдан Марише навовсе: у подружки вернулся домой отец-солдат, с тремя медалями и с двумя чемоданами добра. Наверное, кто-то и позавидовал, но не Мариша. Она радовалась, что вернулся домой, в деревню живой-здоровый человек, значит, скоро кончится война и будет другая жизнь. Она уже мечтала, что будут у них опять ягнята,

гуси, утки. Насадят в огороде новых яблонь, вишен, вся деревня оживет, свадьбы пойдут... Правда, ей-то самой рано было о свадьбе думать. Но раз думалось...

Весна в том, сорок пятом, была ранняя, даже грачи прилетели раньше срока, потеснили вороньи и воробьиные стаи. Весь апрель работали от света до потемок, и все с песней. Лошади и те вроде что-то чувствовали, шли без кнута.

Девятого мая Мариша в первый раз в своей жизни хлебнула свекольного самогона, этой белой, пенистой жижи, и в ужасе затаила дыхание. Но уже через минуту радостно улыбалась и пела со всеми, сидя в избе у самого председателя, где в это утро все было залито солнцем.

Кто-то сунул ей в руки балалайку-пятиструнку. Мариша играла хорошо, у них в Орловке почти все девчата умели держать в руках балалайку. А вот гармонистов уже не было.

Сыграй, милый, сыграй, Вася!..

Мариша оглянулась на мать: Евгенья сидела тихая и красивая. Она всегда была лицом голубая, как снятое молоко, но тут у нее на щеках расплылся румянец, так что Марише даже немножко страшно стало: уж больно резка была перемена.

В тот же яркий день, но уже к вечеру приехали на машине из района поздравлять с Победой, раздавать детям гостинцы.

— Да вы что, я же взрослая,— сказала Мариша, когда ее чуть не приняли за подростка.— Мне не надо!

— Дайте ей, дайте! — крикнул председатель.— Не больно велика!

А Марише очень хотелось быть взрослой. Праздничные пряники свои она отдала сестренке Лидке, которая сжевала двойную порцию, как за себя кинула. А Мариша только прикусила чуть-чуть. Зато воды попила не один ковш: это ее мучил проклятый самогон.

Похмелье не помешало Марише на другое утро подняться на бледной зорьке.

— Что тебя бог в такую рань поднял? — спросила Евгенья.— Поди, и трех-то нету?

— Управлюсь да побегу бригадку нашу побужу,— шепотом отозвалась Мариша.

— Неугомонная ты! — ласково сказала Евгенья.— Деточка ты моя глупая!

Мариша уже обувалась возле порожка.

— Не глупая я, а работать надо, мамычка. Гляньте в окно, какой день сегодня золотой. Теперь уж все хорошо будет, мамычка милая!

2

Мариша глубоко вздохнула, вспоминая то утро, те надежды. Два года прошло, она стала совсем взрослой. Отодвинув шторку, поглядела на улицу: солнышко уже заходило, синела трава. Из яра поднимался туман, расползался по склону. На завтра опять все обещало хорошую погоду.

— Нянька, я сегодня шешнадцать штук пымала!..

Это появилась бойкая рыбачка с ведерком, в котором плескались рыбки-крошечки, такие же тощие, как и сама Лидка.

— Кабы нажива хорошая была,— баском сказала она,— я бы их тыщу наловила.

Утром, когда Мариша поднялась на работу, мать не спала.

— Кто бы меня на ноги поставил,— уже с безнадежностью сказала она,— я бы тому в самую землю поклонилась!..

Кланяться в землю Евгенье не пришлось. Она дожила только до вершинки лета, до петрова дня. Соседки толковали, что не надо было в больницу отдавать, что там кого хочешь залечат, но Мариша, с тех пор как работала в госпитале, свято верила каждому, на ком был белый халат.

Когда она узнала, что матери больше нет на свете, ее охватило страшное отчаяние. Марише уже казалось, что мало они мать берегли, плохо за ней ходили, не всякую ее просьбу уважили. Еще вчера была у них с Лидкой мать, пусть больная, еле слышная, но в полной памяти и с любовью к ним, к своим детям, до последней минуты.

Тем больше была сражена Мариша, когда увидела, что двенадцатилетняя Лидка вытянула из комода оставшийся после матери платок и прихорашивается у зеркала.

— Что же ты не плачешь-то?..— крикнула Мариша.— Тебе и маму не жалко?

— А что, мне на кладбище непокрытой, что ль, идтить? — отозвалась Лидка.

Мариша совсем растерялась. Но что возьмешь с дуры-девчонки? И Мариша нарыдалась одна за двоих.

Романку была отправлена в часть телеграмма, заверенная в сельсовете, чтобы отпустили на похороны. Больница велела мертвую Евгенью забирать поскорее, а Романок все не ехал.

— Ой, погодите минуту, не закидывайте!.. — закричала Мариша, увидев на дороге пылящую машину. Но та, не доехав с полверсты до кладбища, свернула куда-то в сторону.

Романок явился через три недели после Евгеньиных похорон. Приехал уже насовсем — демобилизовали раньше срока: осталось двое сирот. Если дома Романок бодрился и охорашивался, то на кладбище, над могилой, всхлипнул и высморкался прямо в зеленую траву.

Все надежды Мариши теперь были связаны со старшим братом. Ей казалось, что он среди них и самый умный и самый красивый. Хотя кудри Романку в стройбате обкорнали, все равно он был видный — розовощекий, чистый, под гимнастеркой белая рубашка, а портянки из такой теплой и мохнатой байки, что их прямо жалко было навертывать на пятки.

С начала уборки Романок вышел в поле бригадиром, отдали ему под начало с десяток девчонок и десятка полтора вдовых баб. Опыта у него не было, но выбирать не приходилось, — парней и мужчин в Орловке было совсем мало, в редкой избе пахло мужиком и табаком.

— Годочка через два мы тебя в бригадиры,— сказал Марише председатель.— Да только замуж небось выйдешь, уметешься отсюда куда-нибудь.

— Куда же я уметусь? — серьезно отозвалась Мариша.— Я не одна, у нас семья.

Маришины погодки служили сейчас кто в Германии, кто в Венгрии, кто у себя на Родине, по дальним углам. На выходные дни набегали в Орловку ребята-эмтээсовцы, еще раза два-три в году привозили на картошку

молодежь из Тулы, из Калуги, даже из Москвы. Но дело кончалось тем, что поговорят, походят с баяном, с гитарой, оставят адрес — и все.

Еще когда жива была Евгенья, Маришу удивил неожиданным ухаживанием немолодой ветеринар-зоотехник.

— Нет,— почти испугавшись, сказала Мариша.— У меня мама больная.

— А то подумай,— не отставал ветеринар.— Мне шалавы надоели, мне на любовь хорошая женщина нужна.

«Женщина» попыталась подумать, но тут же опять ужаснулась. Больше всего Мариша боялась, чтобы не узнала мать и чтобы не подумали, что это она сама навязывалась ветеринару. Ей показалось, что никто ни о чем не догадывается, но уховертка Лидка и тут влезла:

— Ветинар твой небось слыхал, что про тебя в газете писано. Он все газеты получает.

Мариша для виду замахнулась на сестру-нахалку. Но не удержалась и рассмеялась.

— Вот и писано! — сказала она.— А про тебя чего написать? Что ты двойки одни получаешь?

Про Маришину ударную работу действительно писала областная газета «Коммунар». Только никто не догадался прислать ей вырезочку хотя бы. На память. Но все равно она втайне гордилась: ведь не про всех пишут.

Свои личные дела Мариша таила даже от матери: никогда Евгенья не знала, есть ли у ее старшей дочки кто-нибудь на душе. Гнать ее домой, как других девок, не приходилось, всегда, чуть стемнеет, приходила сама. А когда Евгенья слегла, то только на Первое мая и на Победу Мариша собралась гулять, да и то потому, что с улицы очень уж звали.

Еще бóльшая стеснительность появилась у Мариши при старшем брате. Сам он с деревенскими девчатами не водился из гордости, переписывался с какой-то девицей из-под Москвы. Купил патефон, сделал на проулке скамейку и там все вечера, когда не дождило, этот патефон крутил. Неаполитанские песни пока заменяли ему будущую любовь.

Если дома все было управлено, то и Мариша, спрятав голые коленки под стареньким платьем, тоже сиде-

ла и слушала, мечтательно глядя на крутящуюся пластинку.

— Ну, Огоньковы опять музыку завели,— говорили соседи.— А есть-то, наверное, нечего.

Но это уже была неправда. С возвращением Романка Евгеньины сироты стали подниматься на ноги. В ту осень они нарыли много картошки, поэтому взяли поросенка. Была надежда, что к весне возьмут и телку. Около их избы теперь часто стояла на привязи лошадь: бригадиру было положено. А раз была лошадь, то появилась и возможность привезти лишней травы, соломы, дров на топку и не волочить на себе кули с картошкой. Казалось бы, Мариша не должна была испытывать ничего, кроме признательности к брату-бригадиру, но к ней очень скоро просочился в душу страх, что Романок зазнается, зарвется, из бригадиров его турнут и кончится все плохо. Когда он вернулся в деревню, все его ласково звали: «Романушка, Романок милый». А потом стали говорить:

— Вон Огнище покатил! Скоро совсем ходить разучится.

Бригадир из Романка получился плохой. Ясно было, что, как только найдется стоящий человек, из бригадиров Романка турнут. И им овладела торопливая жадность: пока у места, хоть лишний куль зерна завезти, припахать сотки три-четыре к огороду.

— Они мне еще за мать ответят! — удивив неожиданной злобой Маришу, сказал Романок.— Задушили работой женщину.

— Не трожь ты маму,— вдруг вырвалось у Мариши.— За-ради господа бога не трожь!..

Дожидаться, пока его снимут с должности, Романок не стал, устроился завхозом в районную школу-десятилетку. Ездить туда надо было на автобусе, зато платили зарплату в триста пятьдесят целковых, работа не пыльная, не на здорового мужика рассчитана, и то краски домой притащит, то фанеры, то гвоздей. С электролампочками было трудно, а у Огоньковых всегда горела шестидесятисвечовая.

Но главные деньги давала им картошка. Уже давно были порублены вокруг всей Орловки вишневые и яблоневые сады, все уступило место картошке, которая на веневском неистощимом черноземе росла крупная, ров-

ная и разваристая. Ее ели по три раза в день, ею кормили птицу и скотину, возили продавать в Венев, в Каширу и даже в Москву. В последнюю предреформенную весну она стоила, например, на Павелецком рынке до тридцати рублей за килограмм.

Теперь, правда, цены были уже другие, но и жизнь тоже была совсем другая. В мае сорок восьмого с большой выручки старший брат купил Марише ко дню рождения первое ее пальто на сатиновом подкладе, с отстрочкой по бортам и вороту и с пуговицами на карманах: Марише исполнялось девятнадцать лет.

Что купить, что продать — этим теперь руководил исключительно Романок. Одевался в солдатскую гимнастерку, чтобы было больше доверия, выходил на шоссе, там голосовал проходящим машинам. На базаре нагребала в ведра Мариша, а Романок, чтобы не пачкаться и не пылиться, только принимал деньги и сдавал сдачу.

Очень скоро Мариша не столько уследила, сколько чувством поняла, что Романок хитрит, обсчитывает покупателей, а выручку утаивает от нее. Но она, конечно, молчала, ничего не смела сказать, только попробовала давать большой поход, из-за чего на каждом мешке выходила потеря в четыре-пять кило. Сначала Романок на это посматривал снисходительно, но вдруг нахмурился и спросил:

— Ты чего это делаешь?

— Ведь у нас своя...

— А я сказал, кончай!

И Мариша замолчала. Когда ехали обратно из Москвы, по вагонам электрички ходил слепой и, подталкивая впереди себя маленького мальчика, громко и мучительно просил:

— Граждане пассажиры, я являюсь отцом четверых детей, жена тоже инвалид...

— Дай копеечек двадцать,— тихо сказала Мариша Романку.

— А где я их взял?

У Мариши своих денег не было. Но в сумке лежал белый хлеб, купленный в московской булочной. Она отломила уголок от мягкого батона и дала мальчику-поводырю.

— Ишь раздобрилась!..— тихо, но грубо сказал Романок.— Ты на вокзале в уборную ходила, за что попало хваталась, а я, между прочим, этот хлеб кушать буду.

Вообще Романок стал держаться культурно, по утрам долго мылся у крыльца, смущая своим голым телом проходивших мимо баб и девчат. Уже не говорил «исть», а тем более «жрать», а только «кушать». И не скрывал, что в перспективе у него женитьба на московской невесте. Та, судя по присланной фотокарточке, была далеко не красавица, зато будущая учительница и хотя не из самой Москвы, но все-таки из Московской области.

Мариша испуганно посмотрела на брата, вдруг вскочила и убежала вперед по вагонам. Сошла с поезда не в Кашире, где была пересадка на автобус, а на каком-то полустанке, не доезжая Венева, и в свою деревню пришла только на другой день, заплаканная, сирота сиротой. Самое же трагическое заключалось в том, что она еще забыла в поезде под лавкой четыре порожних мешка из-под картошки, а они были чужие, заемные.

Романок решил свеликодушничать.

— Хрен с ними, с мешками! — сказал он.— Свои отдадим. Люди и насыпью возят.

Но насыпью возить не пришлось. Уже в следующую поездку Романок купил у одного мужика в синей спецовке четыре явно сворованных тарных мешка, за все четыре отдал всего десятку.

— Сумочка такая тебе подойдет? — спросил он Маришу, показывая на вывешенную в витрине галантерейного ларька голубую клеенчатую сумку с пряжкой под золото.

Сестру он все-таки жалел, ей с проданной картошки перепадало кое-что. У нее уже и платья были и туфли. И Марише как-то в голову не приходило, что ведь все это было куплено на ее собственные деньги: только она одна и работала в колхозе (значит, земля принадлежала ей). Лошадь, чтобы пахать, боронить эту землю, тоже давали ей, а не брату. Но Марише казалось, что самое трудное — это продать картошку, договориться насчет машины, захватить хорошее место на рынке. Уж тут-то она с Романком соперничать никак не могла.

— Спасибо, Ромочка! — благодарно сказала Мариша.— Я с этой сумочкой на кино ходить буду.

Романок был не против, чтобы Мариша ходила в кино. Но возвращаться поздно не велел. Да она бы и сама постеснялась...

3

В начале зимы пятидесятого года состоялась первая свадьба в доме Огоньковых: женился Романок. Невеста его, с которой он познакомился, служа в стройбате под Москвой, только что закончила педагогический техникум и распределилась к ним, в Веневский район. Звали невесту не по-деревенски, Сильвой, хотя отчество у нее было самое простое — Ивановна. С Маришей они были погодками, и можно было рассчитывать, что станут товарками и помощницами друг другу. Но очень скоро Мариша поняла, что невестку ни в огород не пошлешь, ни по воду, ни тем более навоз откидывать. Если даже та и пойдет, то не много наработает — не приучена.

Свадьба получилась не из веселых: со стороны невесты вышла большая накладка. Оказалось, что мать Сильвы, бухгалтер хлебозавода, к моменту бракосочетания дочери находилась под следствием и вскоре же получила срок с высылкой в какой-то дальний лагерь. Мариша восприняла это очень тяжело, словно не невестина мать, а сама невеста растратила государственное добро. Она бы на месте Сильвы не торопилась со свадьбой и хоть немного погоревала бы.

«Что же мне делать-то, когда народ разойдется?— думала Мариша, глядя на молодых.— Ведь они спать ложиться будут...» И гадала, куда им с Лидкой деваться. Та стала такая наглая, что не застесняется, будет подсматривать в оба глаза.

Но подсматривать в первую ночь было нечего: Романок перепил и беспробудно спал. Сильва устало и разочарованно спросила у Мариши:

— У вас будильник звонит? С утра у меня уроки...

Будильника у Огоньковых не было, но Мариша обещала молодой невестке, что вовремя разбудит. Она услала Лидку к подружке, а сама забралась на лежанку, в дальний угол. На постели, где спала когда-то покойница мать, теперь лежали молодые. Романок так и

не очнулся, похрапывал. Сильву стоило бы пожалеть, но ясно было, что возле Романка она уже не в первый раз, недаром кто-то успел заметить, что молодая на пищу смотрела с неприязнью, поэтому можно предположить, что месяцев через семь родит.

Еще не рассвело, когда в окошко к Марише постучалась подружка, посылали возить с поля свеклу. Ночью выпал снежок, под ногами сразу чернело, слышно было, как в яр сочилась вода.

Собираясь на работу, Мариша подумала, что сегодня будет очень грязно, но все-таки надела ватник получше и покрылась светлым платком: выглядеть старухой ей никак не хотелось.

— Пора вам,— тихонько сказала она над спящей Сильвой.— Восьмой час...

Вечера день ото дня становились темнее. То ветер подвывал, то дождило. Как-то поздним вечером Мариша без особо понятной причины всплакнула на печке. Ей казалось, что эти слезы никому не мешают. Но Романок, вдруг очнувшись возле своей супруги, спросил очень сердито:

— Ну, еще чего такое?

— Извините,— шепнула Мариша,— я думала, не слышно...

Наступившая зима особых радостей не сулила. Сильва действительно была в положении и летом должна была родить. Мариша поймала себя на том, что заранее испытывает какую-то неприязнь к ребенку, которого собиралась произвести на свет ее невестка. Нянькой Мариша пробыла все свои детские годы и теперь с тревогой предчувствовала, что опять и настирается и накачается: вряд ли Романок разрешит Сильве бросить работу, тетрадки ее. За это ведь платили деньги, и немалые. У самой Мариши денег не было. На трудодни ей выдали сахарным песком, продать который она не решилась. Все в семье пили чай внакладку, Лидка валила по три ложки на стакан.

Ей под новый, пятьдесят первый год исполнилось шестнадцать. Когда-то она донашивала за Маришей и даже соглашалась надеть какую-нибудь одежку покойной матери, но теперь как с цепи сорвалась: стала требовать и того и другого. Даже в жару не хотела выйти из дому на босу ногу, требовала белые носки.

Ни добрым словом, ни угрозой нельзя было выгнать Лидку в огород, чтобы пополола или полила. Зато ворохами носила из школы двойки, утром ее было не поднять, вечером не загнать с улицы. А загонишь, сядет на диван и заводит патефон.

Диван этот тоже имел свою историю. Романок привез его поздно ночью из школы, как сактированный. Правда, большого ущерба он этим школе, где работал, не нанес: диван был древний, веревки между пружинами сгнили, обивка истерлась. Но Романок прихватил шпагата, мешковины и метра два красного сукна в чернилах, которым покрывали стол во время собраний. Романкова молодуха достала из своих запасов полотняную дорожку, расшитую васильками, так что получился такой диван, который в деревне был не у всех и каждого. Садиться на него с ногами было не велено, одна только Лидка пренебрегала этим запретом.

Как-то раз Мариша пришла с работы очень усталая, грязная: за день с тонну колхозной картошки перебрала, перетаскала из зимних ям, рассыпала на солнечной стороне у сараев. Пришла и увидела, что Лидка завалилась на диван, поет что-то и мазюкает себе ногти красным карандашом. На столе неприбранная посуда, в ведрах воды нет даже на донце. Марише очень хотелось крикнуть сестре: «Так целый день и будешь валяться, зараза?»

Но она сдержалась. Сказала только совсем тихо:

— Ноги-то спусти: увидят, заругают.

Лидка и ухом не повела. Она в отличие от старшей сестры ни брата, ни его супруги нисколько не боялась. Наоборот, с Сильвой у Лидки сразу пошла дружба: сядут вечером на тот же диван и разглядывают журнал, в котором платья последней моды. А Маришкино сердце болит о другом: нужно картошку из подпола доставать, а то росток кольцом пойдет, обломается. Но разве скажешь? С Лидки много не возьмешь, а другая ведь образованная, техникум закончила, можно бы с глупостями и погодить. Раз в деревню приехала, надо к делу применяться.

— Нянь! — окликнула сейчас Лидка расстроенную Маришу.— Чего это ты дуешься-то? Дала бы чего поесть.

Вечером и невестка спросила, почему у Мариши вроде бы плохое настроение. Та промолчала, в первый раз ничего не ответила.

— Небось на заем сотни на три женили,— высказал предположение Романок.— Отдавай, раз богатая.

На это Сильва резонно заметила:

— Ты-то хоть не распространяйся. Я сама хожу, людей подписываю.

А Мариша думала совсем не о займе. Она думала о том, что стала в родной семье чужая. В семье, из которой так быстро отлетел дух покойной их матери. При Евгенье никто не бранился, не завидовал друг другу, не зарился на чужую обновку или подарок. Никто не подковыривал друг друга, не обижал.

Теперь все меньше и меньше раздавалось в избе у Огоньковых ласковых слов, а больше высказывалось деловых соображений.

— Мама срок отбудет, ее на прежнее место восстановят,— как-то сказала Сильва.— Надо, чтобы она и Лиду туда устроила.

Единственное, за что Мариша уважала невестку, это за ее профессию. Ей хотелось, чтобы и Лидка пошла в педагогический техникум, стала бы учительницей. Но Сильва почему-то была на этот счет другого мнения.

— За четыре сотни полдня в классе отсиди, да плюс подготовка, да тетрадки...

Мариша глядела на молодую невестку и вспоминала свою учительницу Ксению Илларионовну, она-то уж, конечно, сотен не считала. И Мариша не только не выразила никакой благодарности Сильве за ее заботу о Лидке, а наоборот, сказала холодно:

— Вы уж устраивайте кого-нибудь другого.

Сказала, хотя и знала: никто ее не спросит в случае чего. Захочет Лидка пойти на хлебозавод — пойдет. Захочет на Камчатку уехать — тоже не удержишь.

Вообще с тех пор, как Романок женился, огоньковская семья поделилась на две неравные половины. В одной был он сам со своей Сильвой, к ним же липла Лидка. В другой — одна Мариша. Уже давно не спрашивали ее, если хотели что-нибудь съесть или выпить; прямо брали со стола, с полки и ели. Только посуду и крошки убирала она сама. Она же стирала постельное,

со всей семьи и носила полоскать под яр. Сильва с белым бельем совсем управляться не умела: на какую-нибудь комбинашку или лифчик измыливала целую печатку мыла. Да и чего было жалеть, когда мыло это не куплено, а принесено Романком из школы, где его выдавали на хозяйственные нужды.

Была у Маришки тайная надежда, что когда отбудет срок наказания мать ее невестки, то Романок с женой переберутся под ее крыло. Но надежда эта угасла самым неожиданным образом.

Получено было письмо, из которого Огоньковы узнали, что мать Сильвы освобождалась досрочно, выходила замуж за «вольного» и оставалась на жительство в Приуралье. Дочку она просила как можно скорее выслать ей те вещи, которые она, не дожидаясь описи имущества, распихала по родственникам и знакомым.

— Ведь это надо же!..— с возмущением сказала Сильва. — Нашла там себе какого-то кобеля!..

Романок был выпивши, но все сообразил.

— Надо поехать, пока сама не заявилась. Ты говорила, там польты были...

— А вдруг не отдадут? — вмешалась с жадным огоньком в глазах шестнадцатилетняя Лидка.

И тут Мариша не выдержала.

— Бессовестная! — крикнула она младшей сестре.— Ты что не в свое дело лезешь?

Все повернулись к Марише, как будто усмотрели в этом ее вскрике посягательство на то имущество, о котором только что шла речь.

— А чего это ты орешь? — грозно спросил Романок и даже поднялся с места.— Ты кто тут такая?..

Мариша убежала в холодные сени, там наплакалась.

— Ты чего это? — вышел к ней Романок.— Ставь самовар, мы чаю хотим. Вон конфеты, высыпь в блюдце.

Конфеты эти были недоданы кому-то из ребят в школе. Романок иной раз приносил и мятные пряники, и сушки, и пирожки.

— Хитер народ! — сказал он как-то.— Уроки пропускают, а за пряниками приходят.

Мариша ставила самовар, и слезинки капали то в чугунок с углями, то на самоварную крышку с припаянными ручками. Новый самовар в те годы трудно было купить даже в Туле, а то бы Романок расстарался. На

самовар ушло последнее ведро, и надо было идти по воду. Раньше Марише и в голову бы не пришло: кому же идти, как не ей? Но сегодня что-то у нее внутри зашевелилось, упрямое и злое. Она поставила пустые ведра посреди избы и сказала чужим голосом:

— Ну, все теперь!.. Идите сами.

4

Весной пятьдесят первого в Орловскую МТС прислали на ремонт техники молодых рабочих с одного из больших подмосковных заводов. Был среди них очень симпатичный, хотя и немножко чудной парень: холодно было, а он приехал без шапки, в одном пиджаке, в парусиновых ботинках. Звали парня Рэм, а фамилия его была Султанов. Говорил он по-русски совершенно чисто, но косоватые, красивые глаза, а также плотные белые зубы выдавали в нем Восток.

— Вы ударница, конечно? — спросил Рэм у Мариши.

— Не знаю, — сказала Мариша. — Работаю...

— Такие, как вы, всегда ударницы.

— Почему же?

— Лицо у вас такое.

Мариша пожала плечами и покраснела. Рэм ей очень понравился.

— Ручки у тебя какие маленькие! — сказал он, перейдя на «ты». — Как же ты ими работаешь?

У Мариши действительно были маленькие, совсем не крестьянские руки. За Огоньковыми тянулся слух, будто покойная Маришина бабушка родила Евгенью не от мужа, а еще от барина. Даже вторая, уличная фамилия была у них — Бариновы. Самое трудное Марише было своими руками ухватиться, но уж если ухватывалась, то несла. Рэм разузнал, где живет Мариша, и вечером явился к ним в избу. Там вся семья сидела на полу, резали картошку на посадку. Только Сильва занималась своими тетрадками.

— Это «лорх» у вас? Много рассаживаете?

— Восемь мешков.

— Есть еще очень хороший сорт, «берлихенген» называется. Слыхали?

— Слыхали, — отозвался Романок, хотя никакого «берлихенгена» отроду не знал.

Рэм достал большой складной ножик с тремя лезви-

ями и тоже сел на пол, помогать хозяевам. Мариша молчала, чтобы не выдать своего волнения, которое охватило ее при приходе гостя. Ей казалось, что все сразу поняли, зачем Рэм сюда пришел.

Но Романок или ничего не заметил или не хотел замечать. Сказал только после ухода Рэма:

— Сорта знает, а из ботинок пальцы лезут.

Весна была, как нарочно, ветреная, холодная. Поэтому, когда при следующем свидании Рэм протянул Марише свои руки, чтобы погрела, она их не отстранила. Наоборот, позволила ему сунуть их ей подальше в теплые рукава.

— Влюбился я в тебя, — сказал Рэм. — Что, не веришь?

Такое честное и нежное признание Мариша слышала впервые, а ей уже подходило к двадцати двум.

— Что-то в душу постучалось, — ласково улыбаясь, продолжал Рэм.— А ты ничего такого не чувствуешь?

— Нет пока,— тихо сказала Мариша, хотя уже чувствовала.

— Неужели? Таишься, наверное. А зачем это нужно?

— Вы ведь уедете...

Почти до утра Мариша не уснула, боясь пошевелиться, словно Романок смог бы догадаться, о чем она думает. Она очень боялась брата, который всего двумя годами был старше ее. Заранее представляла, как он вскинет брови, потом сощурится и спросит:

— Эт-то еще чтой-то такое?..

Тем не менее на следующий вечер Мариша, чуть стемнело, выбежала к Рэму. Каждую минуту ее могли хватиться дома: одному ужинать, другому постелить. Романок по вечерам мыл ноги, выцеживая воду из самовара, а она забыла этот самовар разогреть.

Они с Рэмом стояли в потемках за двором. Но даже и тут некуда было спрятаться от ветра.

— Тебе небось холодно? — тихо спросила Мариша.— А, Рэмочка?..

Ее возлюбленный сразу же проявил восточную щедрость, пришел с подарком. Это был шелковый головной платочек с летучей бахромкой, который он показал Марише при огоньке зажженной спички.

— Где же ты его взял?..

— Ножик за него отдал. Видела, какой ножик был у меня?

Мариша не чувствовала себя такой уж бесприданницей, кое-что имелось и у нее: туфли, платья. Но за этот платочек она исполнилась такой благодарности, что у Рэма победно сверкнули глаза.

— Будешь меня любить, маленькая?

Не такая уже Мариша была маленькая, да и сам Рэм был отнюдь не богатырь. Но отеческое его обращение вконец ее растрогало, она обхватила Рэма обеими руками и сказала ему в самое лицо:

— Буду, буду!..

...Поля вокруг деревни были страшно голы, и апрельская ночь недостаточно темна. То и дело приходилось оглядываться — не увидели бы. С осени на каждом задворье хватало соломы-сторновки, припасенного для скотины сена. А сейчас уже ничего, кроме голой черной земли да сырых прутьев, остатков топки.

— Не надо, Рэмочка!..— с нежностью и стыдом попросила Мариша, когда Рэм совсем осмелел.— Уважь меня, не надо!..

Она жаждала того, чтобы все было как положено: хоть не богатая, но свадьба, белое платье, обручальное колечко. Марише казалось, что если она сейчас уступит Рэму, то этого колечка ей не видать. И к девичьему ее страху подмешивалось еще опасение погубить в весенней грязи свое единственное пальто, купленное три года назад раскошелившимся Романком.

Взволнованный и сильно озябший, Рэм положил свою голову Марише на плечо. Наверное, понимал, что силой тут не возьмешь, а жалость — самое уязвимое Маришино место.

К полночи притих ветер и на землю спустилась белая стужа. Наверху расплывались и таяли серые, как немытая овечья шерсть, облака. От этой стужи завыли на задворках некормленые собаки. Их держали почти в каждом дворе, но редкий хозяин заботился об их пропитании. Две из них сейчас проскочили мимо Мариши и Рэма худыми, вытянутыми тенями, но не испугали, а только нагнали какое-то недоброе чувство.

— Не серчай, Рэмочка,— сказала Мариша,— тебе бы надо идти...

Все вокруг уже спало, между темными избами шевелился холод. Но пустить Рэма даже в сени Мариша не рисковала.

— Ну, нагулялась? — утром спросил Романок и гневно сощурился.— Ишь ведь чего придумали!.. Шли бы обыматься за чужой двор, а то хотишь нас опять под пожар подвести?

Мариша поняла, что это Рэм выдал их встречу, чиркнув спичкой в темноте. Хорошо, что у Романка хватило совести не пойти туда и не застать их. Но сейчас он все-таки мог бы помолчать хотя бы при Лидке.

— Связалась с кыргизом каким-то,— сердито продолжал Романок.— Ты думаешь, они зачем в деревню едут? Колхозам помогать? Нет, они едут вашего брата охмурять. Шпана малиновая!

Казалось, еще немного, и он, как в старинку, пригрозит вожжами.

Но Мариша сказала вдруг тихо и оскорбленно:

— Ты зачем, Роман, не в свое дело лезешь?

Домашние переглянулись, в том числе и Лидка, проявлявшая явно повышенный интерес ко всей этой истории.

— Глаза у него красивые — жуть!..— сказала она.

— Дура! — ворчливо бросил Романок.— Я тебе покажу глаза!..

Тем же вечером Рэм опять пришел к Огоньковым. Он не обратил внимания на испуганные, предупреждающие знаки Мариши, смело прошел вперед и сел на лавку.

— Наша бригада скоро уезжает.

— Ну и катитесь! — хмуро бросил Романок.

— Что значит «катитесь»? Надо поговорить.

Мариша стояла в страшном волнении. Хотела спрятаться, но ноги не шли с места.

— Примете меня в свою семью? — спросил Рэм.

— Только бы не хватало!..

— Тогда ее отпустите. Я пока у родных живу, но буду просить комнату.

Романок поднялся и стал против «жениха».

— Кто тебе комнату даст? — произнес он с печальной усмешкой.— У тебя штанов нет, а ты — комнату!.. Разве комнаты таким дают?

— А каким же?

— Самостоятельным, вот каким.

Романок как предчувствовал, что выйдет такой разговор: надел костюм с полоской и часы на руку.

— У тебя совесть есть? — проникновенно спросил он у опешившего на минуту Рэма.— Девчонка — сирота. Мы только жить начинаем, а ты хотишь ее за собой по миру повести.

Повисла плохая тишина. Родительская забота, прозвучавшая в словах Романка, на какой-то миг обескуражила Маришу. Зато к Рэму вернулся дар речи, и косоватые глаза его вспыхнули темным блеском.

— А я не верю, что ты в Советской Армии служил,— сказал он Романку.

— Это почему же?

— Больше похоже, что ты бывший деникинец, кулак. Ты можешь живого человека съесть.

Романок открыл рот, чтобы ругаться, но не сразу нашелся.

— Если хочешь за свою сестру калым получить, тебе надо в Алма-Ату ехать, в Сталинабад! — бросил Рэм и повернулся к Марише.— Испугалась? Я думал, что ты взрослый человек, а ты мелочь, девчонка!..

Хлопнула дверь. Рэм ушел. После его ухода все некоторое время молчали.

— Хам какой! — первой отреагировала Сильва.— Еще и дверью хлопает.

— Хам не хам, а штукарь хороший, — хмуро и озадаченно покосившись на Маришу, сказал Романок.— Неглупо он тут придумал: возьми его в семью...

Мариша молчала. Слезы из ее глаз катились крупные, как дождь в грозу.

— Знаете, что такое Рэм? — вдруг влезла Лидка.— Революция, электрификация, мир. Я в календаре видела.

— Небось хулды-мулды, а Рэма сам себе придумал,— усмехнулся Романок.— Электрификация!..— Он поглядел на Маришу и понял, что уж хватит: как бы девка не зарыдала в голос.

На ночь Романок сам пошел проверить, заперта ли из сеней дверь на улицу, словно опасался, что сестра убежит.

— Русского, что ли, не найдется? — примирительно

сказал он.— А эти, как цыгане, мотаются с места на место. Случись чего, и алиментов не получишь.

Сильва тоже попыталась утешить Маришу — парой шелковых чулок.

— У них только одну петлю поднять надо,— сказала она.— И прекрасно носить можно.

— Спасибо!..— бросила Мариша.— Не надо мне вашего. Спрячьте.

Утром ветер сменился, сильно потеплело, черным жиром растопилась под солнцем земля, как будто кто-то полил распаханные борозды густым конопляным маслом. У Мариши вязли ноги, влажно горели похудевшие щеки. Она плохо понимала, куда ее посылают, что велят делать, что поднимать, что нести. Она ждала вечера, чтобы побежать к Рэму.

До поселка, где жили рабочие МТС, было побольше трех верст. По самой жуткой весенней грязи, когда ни конному, ни пешему, Мариша пробежала эти три версты за неполные полчаса. В большом кирпичном строении, вокруг которого был все тот же развороченный чернозем, сейчас шло веселье: провожали московских. Десятка полтора парней нестройно кричали под балалайку:

За речи, ласки огневые
Я награжу тебя конем.
Уздечка, хлыстик золотые,
Седельце шито жемчугом!..

Мариша не сразу решилась спросить, где же Рэм. Но парни — народ догадливый.

— Еще вчера домой драпанул твой черенький.

Что было сказать? Мариша настолько растерялась, что улыбнулась и тут же прислонилась к косяку. Ребята поняли, что девка «горит», и насмешничать больше не стали. Лишь только Мариша вышла, балалайка забренчала снова:

На кой мне черт твоя уздечка,
На кой мне хрен твое седло?

Встречный ветер шатал Маришу. Назад она брела, не разбирая дороги. Дважды оставила сапог в грязи и на второй раз заплакала, как плачут в деревне — не безмолвно, а в голос. Благо, кругом никого не было.

К майским праздникам все обзеленилось, обсохло, прогрелось. Совсем случайно Мариша вспомнила, что в подполе зимует луковичный цветок, что давно пора поставить его к свету. Когда она его достала, на нее как бы с укоризной взглянул бледно-желтый росток: поздно, мол, ты спохватилась!.. Велико ли дело — цветок! Но холод цветочного горшка дошел Марише до самого сердца.

Все эти дни ее поедала самая черная тоска. Куда бы она ни пошла, всюду тоска эта была с ней, словно лежала за пазухой. И все-таки Мариша в свои двадцать два пока еще дремала. Детство и юность, полные нехваток и трудов, житейски рано овзрослили ее, но не дали ходу главному. А то бы она уж на второй день метнулась за Рэмом. Дважды за это время она садилась писать ему письмо, но дважды убеждалась, что складно у нее не получается — ведь почти целых девять лет не брала в руки ни пера, ни карандаша. Она просто боялась, что Рэм над таким письмом посмеется, и тогда только хуже будет.

Когда засеяны были в колхозе свекольные участки, рассажена картошка, Мариша пошла просить, чтобы ее отпустили, выдали ей справку. Но сказать, что есть у нее на примете парень и что она хочет уехать к нему, естественно, постеснялась.

— Кто же летом из колхоза хороших работников отпущает? — сказал ей председатель. — До осени погоди.

С Маришиных щек сбежала последняя краска.

— До осени это долго,— тихо сказала она,— я не могу...

Вода точит камень: в начале июля справку Марише все-таки выдали, и она без прощальных объятий и поцелуев покинула Орловку. Невестка ее была на сносях, волновать ее не следовало, и Мариша постаралась проститься по-хорошему.

— Зря на легкую жизнь надеешься,— хмуро сказал Романок.— Как бы улицу мести не пришлось.

— Ну что же,— как можно спокойнее отозвалась Мариша,— буду мести.

Ей хотелось добавить: «Я у вас тут тоже не золотыми яблочками игралась». Она поглядела брату в глаза и поняла, что оба они друг дружке уже совсем чужие. А ведь что раньше-то было!.. Готова была богу на него

молиться, с самых детских лет больше всех его любила и слушалась.

Сестра Лидка все-таки проводила Маришу до автобуса, но целоваться тоже не стала, словно была уверена, что старшая сестра через неделю, а то и раньше явится обратно.

— Ты уж получше учись, Лида,— сказала Мариша.

Та усмехнулась, скосив глаза: сама, мол, к парню едешь, а мне учиться!..

Эту девчонку Мариша нянчила, до трех лет почти не спуская с рук. В это трудно сейчас было поверить, взгляни кто-нибудь на некрупную, страшно исхудавшую за последние месяцы Маришу и на шестнадцатилетнюю Лидку, которая уже обогнала сестру в росте. На Лидке сейчас был васильковый берет, платье «солнце-клеш» с пуговицами по свиному пятаку, подкла́дные гвардейские плечи. И на щеках плавал горячий, нахальный какой-то румянец.

— Ну что же, прощай, Лида,— сказала Мариша.

Она в последний раз оглянулась на родную Орловку. Деревня, за войну и послевоенные годы лишившаяся всех садов, стояла над яром, вся залитая солнцем, голая, но прекрасная. Ее со всех сторон опахали тракторами, не оставив почти ни одного зеленого лужка. Но сочная, расцвеченная ромашками и голубым цикорием трава росла по межам, по канавам, по заборам, по крутым склонам оврага, везде, куда нельзя было заехать трактором. Эта трава лезла из земли, подгоняемая ярким солнцем и частыми золотыми дождями, и словно просилась под серп и косу. На поле, сбоку от шоссе, выпревала в горячем черноземе кормовая свекла с зеленью, густой, как лопуховые заросли, и зелень эта тоже цедила через себя свежесть и сладость.

— Ты чего это, нянь?..— удивленно спросила Лидка.— Не плачь, вон автобус идет.

Через час Мариша уже садилась в поезд. Остались позади Ожерелье и Кашира, на подступах к столице пошли трубы, железнодорожные депо и пакгаузы, на которые глядеть после полей и перелесков было просто страшно. Но Мариша, слава богу, ехала в Москву не в первый раз. Адрес, который сказал ей Рэм во время одного из их свиданий, она держала в голове, и чем ближе подъезжала к столице, тем чаще его повторяла.

С Павелецкого вокзала она перебралась на Курский и доехала электричкой до большого и многолюдного подмосковного города. Тут она пошла пешком, держа в правой руке деревянный чемодан с привязанными к нему валенками, а в левой платок, которым поминутно стирала с лица крупный пот — от избытка жары и страшного волнения.

Мариша уже знала, что лучше лишний раз спросить, чем плутать наугад. Поэтому вскоре же нашла нужную улицу и дом. Она долго стояла перед калиткой, ожидая, что кто-нибудь выйдет. Дом вроде бы был полон народа, но никто, как на грех, не выходил. И Мариша толкнула калитку.

В узкой, как коридор, всего с одним окном комнате сидела за столом и пила чай старая женщина в белом платке. Платок этот был повязан не на косячок, как у русских, а двумя углами свободно ложился на плечи. Несмотря на жару, на старухе этой было что-то уж слишком много всего надето.

— Чего тебе надо? — спросила она, не бросая пить чай.

Мариша подумала, что тут ее никто не ждет и, возможно, не знают даже, кто она такая. Но она ошиблась.

— Поздно ты ехал! — укоризненно сказала старуха, поглядев на Маришин чемодан и привязанные к нему валенки, которые особенно нелепо выглядели в жару.— Рэмка тебя долго ждал, все почтовый ящик глядел.

Мариша безмолвно стояла, не рискуя даже поставить на пол свой чемодан.

— Меня Рабига звать. Садись, чего стоишь? Чай пить хочешь?

Мариша опомнилась и села. Она смотрела на чернобровое, еще не сильно тронутое морщинами лицо старухи и видела в нем Рэма. У нее задрожали губы и покатились слезы.

— Зачем плачешь? Парень много, другой найдешь. А Рэмка сейчас далеко, на Север вербовался. Опоздал ты.

— Не отпускали меня,— тихо сказала Мариша.— Прополка...

Старая Рабига допила чашку и опять принялась цедить в нее черный, густой чай. Широкие рукава ее цветного платья покачивались над столом.

— Прополка много будет, любовь один.— И, желая смягчить упрек, добавила: — Так лучше тебе, Рэмка глупый, куда тебя звал? Пять человек один комнат живем, Рэмка свой койка даже нет. Что война наделал, все ломал!..

Мариша невольно представила себе, что ждало бы ее здесь, в этой комнате: возможно, новая кабала, даже если бы эта умница старуха и стала ее жалеть и за нее заступаться. Рэм не должен был всего этого скрывать. Хотя, будь он сейчас здесь, Мариша согласилась бы остаться.

— Куда сейчас пойдешь? — спросила Рабига.

— Не знаю...

— Жалко тебя! Хороший девушка. Зря чай со мной не пил.

Старуха с трудом поднялась, чтобы проводить Маришу до двери.

— Ноги больной. Жидкий нельзя, а я чай пить люблю. Все равно скоро смерть. Только Рэмка жалко, шибко жалко!.. Один внук у меня. Ну, счастливый тебе дорога!

Уже за дверью Мариша подумала о том, что нужно было спросить новый адрес Рэма. Но, видимо, старуха не считала, что Марише следует его знать, а может быть, и сама еще не знала. Во всяком случае, вернуться Мариша не решилась: робость, унаследованная ею от покойной матери, шла за ней повсюду, как тень.

Она вышла на жаркую улицу и направилась обратно к станции. Кто-то остановил ее и спросил, не продает ли валенки. Она не ответила и пошла дальше.

Вечером она сидела на жесткой лавке в набитом битком зале ожидания Павелецкого вокзала. На улице было уже темно, зал освещался плохо. Те, кто сумел захватить место на лавках, спали тяжелым, тревожным сном. Их могли каждый миг разбудить, согнать с места, они рисковали быть обворованными и проесть последний рубль, пока удастся купить или закомпостировать билеты. Но бедствовали здесь не каширские или веневские, которым в общем-то до дома рукой подать, а дальние: пензенские, саратовские, ульяновские.

На вокзале Мариша сидела сейчас не потому, что собиралась обратно в деревню. Дорога туда ей была заказана. Она ясно понимала, что вернись она туда, с

годами превратилась бы в угрюмую, молчаливую бабу с черными руками, к которой никто уже не посватается, а будут от нечего делать приставать женатые мужики. И так как в деревне каждое слово на слуху и каждый шаг на виду, то Мариша ясно представила себе, что всю жизнь она бы держала ответ перед братом, перед невесткой, даже перед Лидкой. Она вспомнила, как они обошлись с Рэмом, и дала себе клятву не простить.

— Подбери ноги-то,— врываясь в Маришины мысли, сурово приказала вокзальная уборщица, подметавшая под лавками.— Понаехали сюда!

Казалось, еще немного, и она прогонит Маришу с лавки, а тогда попробуй отыщи место, где можно приткнуться. Ясно было, что этой уборщице осточертели все те, за кем приходилось убирать грязь и мусор, хотя это и было источником ее зарплаты. Но, случайно взглянув Марише в лицо, она вдруг спросила:

— А ты не веневская? Ну-ну, сиди!

Иногда человек, который с виду кажется вовсе недоступным, на самом деле только и ищет повода, чтобы поговорить. Так случилось на этот раз. Уборщица, покончив с делами и с ворчанием, пустила Маришу в служебное помещение и посадила пить чай. Мариша, совершенно сраженная непривычным для нее вниманием, все рассказала и не знала, как и благодарить за участие.

— Вот тут у меня яички,— сказала она, раскрывая свой деревянный чемодан,— возьмите, пожалуйста.

Уборщица яички охотно взяла, взамен дала Марише адрес швейной фабрики, которая находилась у Абельмановской заставы. Там одна из ее многочисленных родственниц работала вахтером.

— Давай действуй! Руки есть, работа будет. А парней ты себе еще целую снизку найдешь. Не кривая.

Мариша улыбнулась. А она уже давно не улыбалась.

— Садись на «шестерку», до Новоспасского доедешь, а там на трамвай.

Это для Мариши было слишком сложно. Но она горячо поблагодарила за все наставления и, подхватив свой чемодан, пошла с Павелецкого на Таганку пешком по Садовому кольцу, через Краснохолмский, потом через Яузский мост. Времени в запасе у нее было достаточно.

ГЛАВА III

1

В один из приветливых, желто-красных сентябрьских дней Мариша присоединилась к огромной очереди, тянущейся к Мавзолею Ленина. Ей очень хотелось побыть подольше на Красной площади, поглядеть на Кремль, на Спасскую башню с часами, бой которых она раньше слышала только по радио. Но велено было не задерживаться и проходить. Только миновав Чугунный мост, возле Балчуга, она все же задержалась и взволнованно поглядела на золотые главы, на стены и башни.

С того памятного дня, когда она бедствовала на Павелецком вокзале, доходил уже третий месяц. В конце июля она вышла на работу. Это была та самая швейная фабрика около Абельмановской заставы, адрес которой так счастливо попал Марише в руки в первый же день в Москве. Прописали ее, правда, временно, но зато она вскоре же получила свой первый в жизни паспорт, для которого сфотографировалась в ближайшем фотоателье. Вышла она не очень похожая, но печать, прижавшая ей правое плечо, удостоверяла, что это именно она, Марина Парфеновна Огонькова, 1929 года рождения, уроженка деревни Орловки. Разве можно было не радоваться?

Общежитие для девчат, куда Маришу поместили, находилось на Симоновском валу, так что на работу можно было бегать пешком, экономя на транспорте. А бегала Мариша по-деревенски быстро. Однажды за ней устремился какой-то незнакомый парень, но так и не догнал.

Волнения и радости этих двух месяцев помогли Марише избавиться от тоски по Рэму. Она о нем думала теперь все реже, хотя и не без прежней нежности, но чаще почему-то вспоминала старую Рабигу. Да еще упорно снилась ей каждую ночь родная деревня, никак от этого нельзя было избавиться. Стоило закрыть глаза — и вот он, зеленый, глубокий яр, полный цветущей таволги, холодный ключ, из которого она дважды в день таскала воду, белый клубничный цвет на не скошенном еще покосе, их дом в три окошка... Но наступало утро, видения эти исчезали, исчезали и сожаления.

Мариша всегда поднималась по-деревенски рано, будь то будний день или воскресенье. По выходным и по

праздникам обязательно отправлялась глядеть Москву. Доезжала трамваем до Котельников, а оттуда пешком по всему центру.

На сегодня у Мариши была намечена цель. Побыв на Красной площади, она дошла до ближайшей станции метро и здесь стала в очередь к окошку справочного бюро. Тут она попросила дать ей адрес Валентины Михайловны Селивановой. Красивый и строгий образ этой женщины Мариша носила в себе все эти годы, но ни даты, ни места рождения ее указать не могла.

— Уж будьте так добры! Мы с ней в военном госпитале вместе работали.

Это было еще одним чудом, но Марише дали справку, что Селиванова Валентина Михайловна, рождения тысяча девятьсот одиннадцатого года, проживает совсем рядом, на Большой Полянке, в доме № 19. Предупредили также, что есть в Москве еще одна Валентина Михайловна Селиванова, но уроженка не столицы, а деревни Щербаково Пензенской области, проживающая на улице Красина.

Мариша решила, что ее Селиванова не может быть из деревни. И на всякий случай добавила:

— Которую мне надо, это военврач третьего ранга.

Стоявший в очереди военный заметил:

— Военврачей третьего ранга уже нет. Есть майоры медицинской службы.

— Извините,— сказала Мариша,— я не знала.

Она взяла справку и отошла. Сразу же решила ехать на Большую Полянку.

Оказавшись на Серпуховке, она вдруг вспомнила: ведь она бывала где-то здесь, когда приезжала с Романком, только не с картошкой, а с соленым салом. На Павелецком рынке это сало у них не пошло: поросенок был тощий, и сало вышло желтое, твердое и невкусное. С Павелецкого они перебрались по кольцу на Даниловский. Значит, она, Мариша, была совсем рядом с Валентиной Михайловной, но сердце почему-то ей никакого сигнала тогда не подало...

На Большой Полянке Мариша нашла нужный ей дом. Поднялась на третий этаж, увидела высокую, как ворота, двустворчатую дверь, на которой ничего не было обозначено, что хочешь, то и думай. И дотронулась пальцем до звонка.

За дверью зашлепали туфли, забрякала цепочка, залаяла собака.

«Только бы чулки не порвала»,— подумала Мариша. Но косматая, коротколапая собачонка лишь обнюхала ее белые босоножки, пахнущие новой клеенкой.

— Мне бы Валентину Михайловну...

— Валя, это к вам!

Прошло с полминуты. Мариша замерла в ожидании, что вот сейчас из комнаты строгой, четкой походкой выйдет к ней военврач Селиванова в белом халате поверх диагоналевой гимнастерки, в начищенных до блеска сапогах, собранных гармошкой на плотных икрах. Мариша в те памятные времена любовалась этими сапогами, они были тонкие, хромовые.

Но Селиванова появилась не из комнаты, а из ванной, в широком мохнатом халате, сырая, красная, с чалмой из полотенца на голове и с папиросой в зубах. Лицо ее пополнело, но было по-прежнему красиво. Мариша отметила все тот же склонный к придирке взгляд, с которым Селиванова по утрам входила в палаты.

— Здравствуйте, товарищ военврач третьего ранга, — тихо сказала Мариша.

Та вглядывалась в нее и как будто не узнавала.

— Огонек!.. Неужели это ты? — проговорила она.

— А кто же? — радостно сказала Мариша.— Я, конечно!..

В комнате у Селивановой они сели на кожаный, исцарапанный собачьими лапами диван. Та же собачонка, которая встретила Маришу у входной двери, сейчас выплясывала по дивану, обнюхивала то Маришу, то мокрые волосы хозяйки.

— Макар, перестань, фу! Иди на кухню!

Макар, поразив Маришу своей дисциплинированностью, тут же прекратил озорничать и ушел.

— А ты прекрасно выглядишь, Огонек! — сказала Селиванова.— У тебя вполне столичный вид.

Мариша уже несколько подпортила свои добрые льняные волосы шестимесячной завивкой. Но комплимент Селивановой показался ей искренним, поэтому очень приятным. И она сама с той же мерой искренности стала рассказывать о своем деревенском житье-бытье, о том, что заставило ее в конце концов эту деревню покинуть.

Селиванова как будто была тронута.

— Ах, ты, бедняжка!., Ну, как говорится, нет худа без добра.

Из коридора старческий голос оповестил:

— Валя, у вас убегает чайник.

Пока Селиванова была на кухне, Мариша разглядывала обстановку. Мебели и других вещей в комнате было очень много. Вещи все неплохие, даже дорогие, но вот сказать, чтобы здесь царил такой уж порядок, как этого когда-то требовала от палатных санитарок сама Селиванова, то этого не было: пахло окурками, рассыпанной пудрой, и собачонка, видимо, тащила много грязи на лапах.

Только начали пить чай, Селиванову позвали к телефону. Мариша опять долго сидела одна, потом к ней на колени взгромоздился появившийся из кухни Макар. Это ей пришлось не очень по душе: у них в деревне никто собак на колени не пускал.

Наконец Селиванова вернулась. Подошла к главному: спросила, что Мариша делает в Москве. Та рассказала, что вот уже два месяца, как устроилась на швейную фабрику около Абельмановской заставы. Сначала работала подсобницей, а теперь поставили утюжить готовую женскую одежду: платья, сарафаны, юбки, костюмчики... Работа нетяжелая, правда, летом сильная жара в цехе от утюгов. А живет в общежитии на Симоновском валу. На семь человек комната.

Селиванова задумалась.

— Знаешь, я могла бы взять тебя к себе в клинику. Только, пожалуй, хрен редьки не слаще. На твоей фабрике ты еще в ударницы выйдешь, а тут только с больных научишься хапать. Пей чай.

Мариша пила и украдкой поглядывала на дверь: не войдет ли кто-нибудь? Неужели Валентина Михайловна жила совсем одна? В разговоре та не помянула ни разу ни о муже, ни о детях. Мариша и сама не понимала, почему неудобно прямо об этом спросить. Но вот язык не поворачивался задать вопрос не старой еще женщине, где ее муж: убили, ушел к другой?

Селиванова как будто догадалась, о чем думает Мариша. Нахмурилась и сказала каким-то намеком:

— С Макаром сложно: целый день один.

В комнату заглянула старушка, которая открыла на

Маришин звонок и потом напомнила Селивановой об убегающем чайнике.

— Валя, простите, нужно не позднее четырнадцатого числа заплатить за квартиру. Я могу это сделать сама, если вы оставите мне деньги.

— Не оставлю,— сказала Селиванова.— Пусть устранят течь над ванной. На меня сегодня не столько из душа текло, сколько с потолка.

В голосе прозвучали прежние селивановские ноты. Мариша невольно поджалась и даже подумала, не пора ли уходить.

— Познакомьтесь, Екатерина Серапионовна,— уже другим тоном обратилась Селиванова к старушке, указывая на Маришу.— Моя однополчанка. Вам тоже полезно было бы послушать, как поживают выходцы из колхозного крестьянства. А то мемуары все какие-то строчите.

Старушка не успела обрадоваться предложению познакомиться. Последняя фраза Селивановой, видимо, обидела ее, но она нашла в себе силы, чтобы удалиться с достоинством.

Марише стало очень жалко старушку. Ко всем образованным людям она по-прежнему испытывала уважение. Ко всем, кроме своей невестки-учительницы, которая, как теперь понимала Мариша, была не очень-то образованная.

— Ну, я пойду, Валентина Михайловна,— сказала она.— Большое вам спасибо!..

Селиванова взглянула на нее пристально, словно хотела понять, не обидела ли она чем-нибудь и Маришу. Возможно, Селиванова знала за собой эту способность сражать словом.

— Ты еще придешь? Подожди минутку!..

Она вытащила какой-то чемодан и щелкнула замком. А когда повернулась к Марише, то та в первый раз увидела на лице у бывшего военврача третьего ранга какое-то смущение.

— Ты только не обидься, Огонек... Я думаю, тебе это не лишнее будет. Возьми.

Мариша, пораженная, глядела на ярчайшее шелковое платье, которое мяла в руках Селиванова. За что?.. Ведь она чужой человек. Всего три месяца проработали вместе в госпитале. И то, разве Мариша работала? Ее

взяли, потому что пожалели. Спасибо, что Селиванова ее узнала, не позабыла.

— Можешь не благодарить,— сказала Валентина Михайловна и закурила, чтобы покончить с неловкостью.— Я за него немке пятьсот граммов масла отдала. Она даже всего триста просила... Так сказать, трофеи.

Что-то осталось в Селивановой суровое и грозное, не позволившее Марише сейчас отблагодарить ее поцелуем или предложить услуги — убраться, постирать. Она только сказала тихо, с прежней своей еще детской интонацией:

— Дай вам бог здоровья, Валентина Михайловна!

Селиванова усмехнулась.

— Ладно, Огонек, иди. А то я после ванны совершенно разваливаюсь.

Мариша простилась и вышла на лестницу, прижимая к груди селивановский подарок. Такого платья она не видела даже во сне, а Селиванова рассталась с ним, как будто это была какая-нибудь старая юбка десятого года носки. Да еще и смутилась, как будто боялась, что Мариша не возьмет. Для Мариши это было большим открытием в характере бывшего военврача третьего ранга.

В новом платье она показалась своим соседкам по комнате. На тех заграничное платье необычайного покроя с плиссированными рукавами и подолом произвело заметное впечатление. А комендантша сказала:

— Одень пенек, будет как ясный денек. Шифон. У меня до войны такое было.

Маришу не обрадовало сравнение с пеньком, но обижаться всерьез у нее оснований не было.

Через некоторое время она снова отважилась пойти на Большую Полянку. Ей очень хотелось чем-нибудь услужить Валентине Михайловне, а заодно и той старушке, ее соседке, которая, судя по всему, тоже была человеком одиноким.

На негромкий Маришин звонок теперь дверь открыла сама Селиванова. Лицо у нее было напудрено, ярко накрашены губы. Одета она была в синий шерстяной костюм с высокими плечами и большими острыми бортами. В петличке белела красивая шелковая ромашка.

— Заходи, заходи, Огонек. Но у меня всего полчаса: я ухожу в театр.

Макар суетился и скулил, чувствуя, что сегодня вечером он останется один. Лакированные туфли хозяйки вызывали у него активный протест, он пробовал царапать их лапой.

— Если хочешь, можешь у меня переночевать,— сказала Селиванова.— К двенадцати я вернусь. Посиди с Екатериной Серапионовной. Неплохая старуха.

Мариша решила остаться. Екатерина Серапионовна напоила ее чаем. Чашечки, из которых они пили, были страшно тонюсенькие, весили не больше кленового листа. Этих чашечек у Екатерины Серапионовны осталось всего несколько, но она не пожалела их подать. Значит, посчитала Маришу достойной гостьей.

— Книжек у вас сколько,— сказала Мариша,— вот бы почитать!

— Пожалуйста. Что вы любите?

Мариша должна была признаться, что читала совсем мало. Некогда, да и где в деревне книжки возьмешь? Старушка была очень удивлена.

— Разве у вас там не было библиотеки?

— В районе только. Я раз зашла...

— Ну и что же?

— Дали мне книжечку... Стала читать, да что-то не поняла.

Екатерина Серапионовна была тронута Маришиной искренностью.

— Я найду для вас что-нибудь подходящее,— обещала она.

Так странно, непривычно было Марише слышать, что кто-то обращается к ней на «вы». Тем более такая культурная старушка в золотых очках с черным шнурочком.

— А вы сами тоже книжки пишете? — рискнула спросить она у Екатерины Серапионовны.

— Ну что вы! Для этого нужен талант. А я просто записываю... В жизни было много событий, встреч. Возможно, это даже кому-то и будет интересно.

Селиванова вернулась в первом часу ночи. Бросила на стол измятую театральную программку, на которой Мариша разобрала: «Стакан воды». Устало стащила с ног лакированные туфли, швырнула на спинку стула синий жакет с шелковой ромашкой в петлице.

Мариша решила, что Валентине Михайловне не по-

нравился спектакль, поэтому она и не в духе. Но Селиванова сказала какую-то странную фразу:

— Боже, какие бывают кретины!.. Ну просто ничего не доходит!

Тогда Мариша догадалась, что Селиванова была в театре не одна. И как бы в подтверждение этого в затихшей квартире резко зазвонил телефон. Селиванова вышла в коридор и взяла трубку.

— Конечно, уже дома,— сказала она.— Вы что, думали, я на улице ночевать буду?

Вернулась в комнату, погасила свет и начала раздеваться.

— Поразительная заботливость! — вдруг бросила она то ли Марише, то ли самой себе.— Лучше бы такси поймал.

Очень скоро Мариша заметила, что ее прихода на Большой Полянке ждут. Поэтому каждое воскресенье аккуратно приходила. Екатерина Серапионовна показывала ей, как раскладывается пасьянс, который Мариша первоначально приняла за гадание. Поручениями ее тут не обременяли, разве что Селиванова просила зайти на рынок и купить морковки для «дуралея», то есть для Макара.

— Сколько у нас в деревне моркови! — сказала Мариша.— А ни одна собака есть не будет.

Так началась первая московская зима, которая ни в чем не разочаровала Маришу: она устроилась на работу, получила московскую прописку, разыскала Валентину Михайловну и познакомилась с Екатериной Серапионовной. Тут, на Большой Полянке, к ней стали относиться как к своему человеку, ничего от нее не скрывали: ни пристрастий, ни слабостей, ни странностей. Мариша не могла не заметить главного: обе ее новые приятельницы очень мало занимались делами сугубо житейскими и обе не терпели праздности. Старушка с завидным прилежанием что-то писала и переписывала, посещала какие-то собрания и вела общественную работу в домоуправлении, а Селиванова даже в воскресенье с утра садилась у телефона и начинала обзванивать медицинские учреждения: кого-то куда-то надо было перевести, кого-то срочно оперировать, срочно достать какие-то лекарства.

— Что же вам совсем покою нет, Валентина Михайловна? — вздохнула как-то Мариша.— Чаю попить не можете.

— Да,— согласилась та,— надо было идти в стоматологи.

Чаю она все-таки выпила, потом заглянула в комнату к соседке.

— А вы почему дома? Ведь на Новодевичьем открывают какой-то мемориал.

Старушка спохватилась, надела шляпу и поспешно удалилась. По Москве она всегда ходила пешком, не любила ни троллейбусов, ни автобусов.

— Примечательная все-таки старуха,— сказала Селиванова.— Единственный сын погиб на фронте, муж скоропостижно умер,— другая бы духом пала. А эта, как видишь, бегает...

Мариша видела, что отношения между Валентиной Михайловной и ее соседкой очень хорошие, что стоит Екатерине Серапионовне занемочь, Селиванова тут как тут. А ведь они даже не дальние родственники, а люди, которых судьба совершенно случайно свела в одной квартире.

Марише шел двадцать третий год, но она была дитя трудных лет и осталась некрупной, на вид почти девчонкой. Это преимущество давало ей возможность утаить годика два-три. И если по деревенским понятиям она была уже «старуха», то здесь, в Москве, ей эта кличка не угрожала.

— Скажите, а почему бы вам не выйти замуж? — как-то спросила ее Екатерина Серапионовна.

Мариша сперва покраснела, потом побелела и ответила тихо:

— Как же выйдешь-то?.. Я ведь тут мало еще кого знаю.

В мае по случаю дня рождения Мариши Екатерина Серапионовна повела ее в филиал Большого театра на «Царскую невесту». Предварительно она разъяснила, кто такой был Иван Грозный, кто такие опричники, как деспотизм царя крушил человеческие судьбы.

— Тем не менее это был великий преобразователь,— добавила Екатерина Серапионовна.— Этого не надо забывать.

— Вам следует выступать с лекциями,— язвительно заметила присутствовавшая при этом Селиванова.— Если будете упирать на то, что для великих преобразований необходимо было каждого третьего сажать на кол, как раз попадете в точку.

Услышав эти слова, Мариша даже испугалась, хотя смысл сказанного дошел до нее далеко не полностью.

— Идите, идите,— уже мягче сказала Селиванова,— опоздаете.

Сидели они далеко, в последнем ряду третьего яруса. Больше восьми рублей за билет Екатерина Серапионовна не могла себе позволить.

Царская невеста была не очень молода и несколько неповоротлива, но голос у нее был просто соловьиный. До Мариши впервые доходил живой, чудесный звук, а не тот, который ей до этого приходилось слышать из радиоприемника. А когда Марфа запела: «В том городе мы вместе с Ваней жили...», Мариша вспомнила свою Орловку, черный огород со множеством грачей, зеленый яр, в котором журчал ключ, и молча заплакала. Молодой боярин Лыков показался ей чем-то похожим на Рэма, и к концу акта слезы потекли сильнее.

Екатерина Серапионовна потрепала своей мягкой ручкой тоже маленькую, но твердую Маришину руку.

— Эти слезы делают вам честь,— сказала она.

В антракте они вышли в фойе, увидели, как у буфетных стоек люди едят бутерброды с копченой колбасой и пьют ситро. Может быть, Маришина спутница смутилась своего безденежья, а может, это действительно было ей не по душе, но она сказала:

— Мне не нравится манера набивать рот в театре.

Они с Маришей отошли и сели подальше от тех, кто ел и пил.

Весна — лучшее в Москве время года, это поняла Мариша. В деревне они, бывало, плавали по полой воде, не могли вытащить ног из черной грязи. Запасы топки подходили к концу, и если тепло запаздывало, то все ходили хрипатые, простуженные, обветренные, собирали каждую сухую травинку, щепку, чтобы истопить печь и обогреться.

А здесь было сухо, тепло, везде чисто выметено. Когда они с Екатериной Серапионовной поздно вечером

возвращались из театра, шли через Красную площадь, Марише показалось, что все кругом — сказка: в ушах еще стояло грустное пение, а над Василием Блаженным в фиолетовом низком небе стелилось густое, с кровавым подплывом облако. Замоскворечье светилось из сумерек не уснувшими еще окнами. Все это было очень похоже на ту декорацию, которую человеческой рукой, казалось, нельзя и нарисовать.

Марише хотелось остановиться, замереть и смотреть. Но нужно было поторапливаться, чтобы не обеспокоить Селиванову поздним приходом: часы над Спасскими воротами показывали уже первый час ночи.

2

Лето в Москве стояло очень жаркое. После деревенского простора Марише все не хватало воздуха, мокло за пазухой и сохли губы.

В один из горячих и пыльных июньских дней она поехала на Большую Полянку. В жарком воздухе плавал запах цветущих лип.

Трамвай, на который Мариша села, звонил громко и нудно, от этого звона становилось еще жарче.

Селиванова была сегодня чем-то явно раздражена. Много курила и разговаривала отрывисто.

Екатерина Серапионовна потихоньку объяснила, почему у Валентины Михайловны неважное настроение. В квартире на Большой Полянке ранее проживал один полярник, который постоянно был в отлучке,— Мариша удивлялась, почему дверь в третью комнату всегда закрыта и жильцов не видно. Теперь на эту дверь был повешен сургуч на веревочке; полярник получил отдельную квартиру в первом жилом высотном здании, а в его комнату должны были вселить какого-то нового жильца. Он бы уже появился, но домоуправление все тянуло с ремонтом.

— Я понимаю Валины опасения,— сказала Екатерина Серапионовна.— Мы ведь уже давно живем в квартире вдвоем. А теперь могут появиться люди, которые не переносят собак.

Мариша привыкла к Макару, и сейчас ей уже странно было, что кто-то может его не переносить.

— Разве что только с кошкой въедут,— сказала она,— тогда конечно...

Но у нового жильца кошки не оказалось. Судя по всему, он был тоже человеком совершенно одиноким. Мариша увидела его во время очередного визита на Полянку. Это был высокий, белокурый, немолодой мужчина, одетый, несмотря на летнюю погоду, в тяжелый шерстяной свитер.

— Здравствуйте,— сказала Мариша, когда новый жилец открыл ей дверь.— Я к Валентине Михайловне пришла и к Екатерине Серапионовне.

— Да, да, пожалуйста,— отозвался тот и ушел в свою комнату, скрипнув рассыхающимся паркетом.

Екатерина Серапионовна сообщила Марише, что новый жилец производит неплохое впечатление: человек интеллигентный, преподаватель института.

— Пока трудно сказать,— заметила Селиванова.— Вполне возможно, что и зануда.

Тем не менее Мариша обратила внимание, что сегодня Валентина Михайловна не расхаживает по квартире в халате и с полотенцем на голове. С самого утра на ней было светлое спортивное платье, в котором она выглядела и броско и молодо. А у Екатерины Серапионовны к старенькой кофточке приколото пожелтевшее кружевное жабо.

Внезапно в коридоре зазвонил телефон. Обычно подходила Екатерина Серапионовна, которой, как считала ее соседка, все равно делать нечего. Но на этот раз Мариша услышала мужской голос:

— Одну минуточку! Валентина Михайловна, это вас!

Разговаривала Селиванова по телефону кратко и не поймешь с кем, словно хотела поскорее отвязаться. Потом сказала громко:

— Спасибо, Борис Николаевич!

— Ради бога!

Такой обмен любезностями очень понравился Марише. Теперь обстановка в квартире на Большой Полянке стала для нее еще более привлекательной.

— Если жулики полезут,— сказала она,— у вас мужчина есть в квартире.— Екатерина Серапионовна с тех пор, как после амнистии сорок шестого года кто-то пытался взломать замок, страшно боялась жуликов.

В общем, новый жилец пришелся очень ко двору. Он не отличался на первых порах особой разговорчивостью, но был вежлив и предупредителен, старался никому своим присутствием не помешать. Его приезд не внес никакой сумятицы, ничем не нарушил привычного хода жизни в квартире на Большой Полянке. Борис Николаевич даже отказался от ремонта в своей комнате, который должно было сделать домоуправление, потому что это могло создать затруднения для соседок. А может быть, и сам этого ремонта боялся. Селиванова очень скоро заявила, что им крупно повезло.

Первые сведения о новом жильце поступили от Екатерины Серапионовны. Марише она сообщила, что Борис Николаевич специалист по западной литературе, главным образом по немецкой. После тяжелых фронтовых ранений он нашел в себе силы закончить аспирантуру и подготовить кандидатскую диссертацию. Тема ее — писатели-романтики, поэты «Бури и натиска». Екатерине Серапионовне следовало бы разъяснить, что это за штука такая «Буря и натиск», но Мариша и так догадалась, что это что-то шибко интересное, а то разве бы такой серьезный человек стал заниматься.

На осторожный Маришин вопрос: а где же у Бориса Николаевича жена?..— старушка ответила, что, кажется, они разошлись. Мариша попыталась представить себе дурочку, которая отказалась от такого интересного, непьющего, образованного мужчины, и ничего не могла понять. Никаких внешних недостатков в Борисе Николаевиче не было. Правда, лицо у него почти всегда было бледное, голос негромкий, движения сдержанные, и лет ему можно было дать больше, чем ему было на самом деле. Одевался он тепло и, пока не приобрел уличного термометра, каждое утро вежливо осведомлялся у соседок, какова сегодня погода.

Хозяйство у нового жильца было самое примитивное. Пробавлялся он пищей случайной, но Мариша не раз наблюдала, как расточительно много сыплет Борис Николаевич в чайник заварки. У них в деревне такой порции хватило бы на неделю, и то не попить.

Поначалу она стеснялась Бориса Николаевича: он казался ей недоступным, немножко, может быть, гордым. В этом и не было ничего удивительного: ведь он был такой ученый, о чем бы он с ней стал разговари-

вать? Но вскоре Марише представился случай убедиться, что это не совсем так.

Она приобрела себе новое пальто из темно-синего драпа, на шелковой подкладке. Старое, купленное ей еще Романком четыре года назад, теперь никакого вида не имело. На радостях она отправилась со своей обновой на Полянку. Там в прихожей висело большое зеркало, в котором можно было себя как следует оглядеть.

На Екатерину Серапионовну и на Валентину Михайловну новое пальто особого впечатления не произвело. Но тут из своей комнаты вышел Борис Николаевич, внимательно посмотрел на Маришу и вдруг сказал:

— Вы знаете, я бы немножко укоротил рукава. И хорошо бы какой-нибудь светлый шарф.

— Ого! — весело заметила Селиванова.— Очень дельное предложение.

Она тут же принесла бледно-голубую крепдешиновую косынку и повязала Марише на шею.

— Вы не считаете, товарищи, что нам пора пристроить нашу девицу за какого-нибудь хорошего мужика? — сказала она.

Мариша смутилась и проговорила совсем тихо:

— Зачем? Не обязательно.

Борис Николаевич ей улыбнулся и подмигнул, как будто хотел подтвердить, что действительно не обязательно: какая в этом радость? Еще двадцать раз успеется.

Однажды, придя на Полянку, Мариша не застала никого, кроме Бориса Николаевича.

— Это вы, Марина? Проходите, пожалуйста, ко мне.

За неимением свободного стула Мариша присела на краешек дивана. И вдруг вздрогнула, услышав за собой чье-то грустное дыхание.

— Это Макар,— пояснил Борис Николаевич.— Скучает без хозяйки.

Селиванова только что уехала в Новый Афон. Екатерина Серапионовна считала Маришу своим человеком, поэтому намекнула ей, что Валентина Михайловна отправилась туда не столько для того, чтобы отдохнуть, сколько чтобы избавиться от очередного назойливого поклонника.

Макар подтвердил свою тоску еще одним глубоким вздохом. Вздохнула и Мариша. Оглядела комнату: в углу над книжным шкафом густо туманилась паутина.

— Вы давно знакомы с Валентиной Михайловной? — спросил Борис Николаевич.

— Давно. Мы с ней вместе в военном госпитале работали.

— Как же это могло быть? Ведь вы же тогда ребенком были.

— А вот и могло! Меня в порядке исключения туда взяли. Я очень сильная была.

Борис Николаевич взглянул на ее маленькие руки.

— Неужели? А сейчас?

— Сейчас еще сильнее.— Мариша улыбнулась и вдруг спросила: — Борис Николаевич, вы не разрешите, я у вас тут приберусь?

Он оглядел свою комнату, словно в первый раз ее видел.

— Что вы, с какой же стати?.. Если не возражаете, давайте лучше выпьем чаю.

После первой же очень крепкой чашки сердце у Мариши страшно заколотилось.

— Что это с вами?

— Упарилась...

К чаю у них ничего не было. На кухне стояла баночка с вареньем, принадлежавшая Екатерине Серапионовне, но ее, естественно, решили не трогать.

— Сделаем вид, что мы варенья не любим,— сказал Борис Николаевич.— Налить вам еще?

Потом он спросил, откуда она родом: воронежская, тамбовская, курская?

— Тульская,— оживленно ответила Мариша.— К нам можно через Венев ехать, а можно через Узловую.

И, не ожидая дальнейших расспросов, она рассказала, какое у нее было прекрасное, ласковое детство, когда были живы и отец и мать. Как всей семьей ходили в колхозный сад обирать яблоки. Десять мешков наберешь, одиннадцатый твой. Сорта были хорошие: грушовка, аркад, анис, а из поздних — боровинка, антоновка.

— У нас и в своем саду было много. Только куда их? Варенья в деревне не варили.

— И не жалко вам было от ваших яблок уезжать?

Мариша только рукой махнула: где они уж теперь, эти яблоки!.. Объяснила, что в войну уцелело у них на огороде всего одно корявое деревце. Его трясли все кому не лень, и свои и соседские. На самой макушке оставалось всего с десяток яблок, которые она сама на Преображение сбивала длинным шестом, чтобы испечь в русской печи. Так сладко пахло!.. А вернулся брат, он и эту яблоньку ссек под корень, чтобы было удобнее пахать.

Борис Николаевич внимательно слушал.

— Я почти не представляю, как сейчас живут в деревне,— задумчиво сказал он,— видел только во время войны.

— Сейчас по-другому,— поспешила заверить Мариша.— Белого хлебушка, правда, нет, а картошки много. Что вы так смотрите?.. Ей-богу, много, даже не съедаем. А вы бы поглядели, какая крупная!

Ее собеседник улыбнулся, видимо, она его убедила.

— А в Москве вам нравится?

— Даже очень. Нас с фабрики в Останкинский музей возили. И по каналу Москва-Волга. Все удовольствие бесплатно, только буфет за свои.

Мариша сказала это и смутилась: она-то в буфет не ходила. С деньгами она расставалась все еще по-деревенски туго. Подруги пытались ее угощать, но она согласилась только на полпорции мороженого.

— Да, в Москве интересного много,— сказал Борис Николаевич.— Это хорошо, что вы приехали. Поступите учиться...

Наверное, он думал, что ей лет семнадцать-восемнадцать. Мариша не стала его разубеждать.

Заскреб ключ во входной двери, появилась Екатерина Серапионовна с каким-то большим конвертом в руках.

— Вот рискнула в первый раз обратиться в редакцию,— объяснила она.— Оказывается, что у них уже есть материал на эту тему.

И старушка стала объяснять, что покойный муж ее был лично знаком с Андреем Белым.

Борис Николаевич спрятал улыбку.

— Лучше бы, конечно, с Демьяном Бедным.

Мариша решила проявить свою осведомленность.

— А мы в школе один стих Демьяна Бедного учили,— сказала она.

Подмяв под голову пеньку,
Рад первомайскому деньку,
Батрак Лука вздремнул на солнцепеке...

— Позавидуешь Луке! — заметил Борис Николаевич и возобновил свои занятия, прерванные появлением Мариши, а она смутилась и уже жалела, что вспомнила Демьяна Бедного: лучше бы промолчала.

К началу осени вернулась из Нового Афона Селиванова, черная, худая и красивая. Осведомилась, устранили ли течь над ванной, но не буйствовала, когда узнала, что течет сильнее прежнего. Мариша отнесла это за счет того, что Валентина Михайловна просто не хочет проявлять своего характера при новом соседе. Та попробовала даже перейти с ним на однополчанское «ты»: оказалось, что в сорок третьем они оба были под Белгородом почти рядом, рукой подать.

— Не я тебя чинила, старлейт,— сказала Селиванова,— а то бы ты сейчас не скрипел.

Но Борис Николаевич сделал вид, что этого «ты» не расслышал, и продолжал обращаться к обеим дамам по-прежнему на «вы». Селивановой ничего не оставалось, как с этим примириться.

Марише показалось также, что Бориса Николаевича несколько тяготит опека, которой досаждает ему бывшая военврач третьего ранга.

— Скажите, почему у вас такая ненависть к врачам? — раздраженно спросила Селиванова, когда Борис Николаевич в очередной раз отказался от предложения измерить ему давление.

— У меня к вам ненависть? — попробовал он отшутиться.— Да ни в коем случае!..

— В конце концов, это просто смешно. Я уже почти договорилась относительно вас в ЦИТО. Туда люди по три года очереди ждут.

— Тем более не хочу. С какой же стати?

Марише нравились люди застенчивые, не нахрапистые, такие, как Борис Николаевич. Но все-таки почему же не полечиться, если есть возможность? Были дни,

когда он очень плохо себя чувствовал, старался совсем не выходить из своей комнаты, чтобы избежать вопросов: почему это он сегодня такой бледный да что у него болит. Меньше других он стеснялся Мариши, как будто она была еще девочкой, малолеткой.

— Вы захворали, Борис Николаевич?

— Да, что-то неважно себя чувствую.

— Ничего вам не надо?

— Спасибо, у меня все есть.

— А то бы я с радостью. Огурчиков не хотите?

— Спасибо, не хочу. Не беспокойтесь.

Он прошел на кухню, налил себе стакан воды. Наверное, чтобы принять какое-нибудь лекарство. Селиванова ему натаскала их очень много. Через час Борис Николаевич вышел из своей комнаты уже в более бодром настроении.

— Вы не к метро? — спросил он у Мариши, видя, что та тоже собирается уходить.— Пойдемте вместе.

Мариша страшно обрадовалась, пошла рядом с ним и просто не находила слов. Она и сама не могла объяснить, что в этом человеке так ее притягивало. Назвать Бориса Николаевича красавцем было нельзя. Но лицо его было до того не похоже на все другие лица, которые когда-либо доводилось ей видеть, что казалось ей самым лучшим. Одевался Борис Николаевич очень скромно. Рубашки, которые он носил дома, относились к разряду тех, что называют «смерть прачкам», темные, не то в сеточку, не то в клеточку. У него был единственный приличный, хотя и не новый, костюм. И еще шерстяной свитер, в котором Мариша его первый раз увидала. Есть такие люди — что на них ни надень, во всем они хороши.

Короче говоря, теперь Мариша только о Борисе Николаевиче и думала и приходила на Полянку каждый раз в надежде его увидеть. Однажды ухитрилась в его отсутствие обмахнуть пыль в комнате и вымыть почерневший от времени паркетный пол. Он вернулся, сначала ничего не заметил, потом стал делать вид, что не замечает, а под конец сказал:

— Непослушная вы девочка!

Мариша была просто счастлива. Она спряталась за дверь, чтобы ее сейчас никто не видел, и потерла ладонями загоревшиеся щеки.

На швейной фабрике вокруг нее работали в основ-

ном женщины, девчата, и из-за каждого неженатого и даже женатого мужчины шла довольно жестокая борьба, затевались интриги, ходили сплетни. Мужики чувствовали, что они сила, и ломили себе цену. Но даже в этих обстоятельствах Мариша успела кое-кому приглянуться и получала предложения «закрутить». Но это было не то, совсем не то!.. Однажды она увидела во сне, что спит с Борисом Николаевичем, очнулась в сладком ужасе и с того дня совсем потеряла голову. Наводя украдкой порядок в его комнате, она нашла его фотографию, рискнула похитить и до тех пор прижимала к губам, пока испугалась, что фотография попортится.

Позже Мариша узнала, какой это острый нож — ревность. Теперь, когда бы она ни пришла на Полянку, Валентина Михайловна сидела в комнате у соседа или приглашала его к себе. Макар привязался к новому жильцу, а то бы и он непременно взревновал. Если бы не Мариша, пес насиделся бы без морковки: хозяйка его теперь была полна совсем иных забот.

Только за последний месяц Валентина Михайловна сшила себе два новых платья. Одеваться она умела. Тех платьев или сарафанов, которые выходили на швейной фабрике из-под Маришиного утюга, Селиванова не надела бы никогда в жизни. Шила ей жена какого-то архитектора, а туфли присылал из Адлера один грузин, которому Селиванова в свое время сделала сложную операцию и тем обула себя до конца дней.

В комнате у Валентины Михайловны, притиснутое прочей мебелью, стояло старое черное пианино. На его исцарапанной крышке вечно лежало что-то, не относящееся к музыке: шляпы, коробка от обуви, щетки, гребенки, тюбики от губной помады. Но однажды Мариша, придя на Полянку, увидела, что за пианино сидит Борис Николаевич.

— А для вас что сыграть? — спросил он Маришу, как будто польщенный ее удивлением.— Хотите «Турецкий марш»?

Негустые его светлые волосы, когда он играл, рассыпались по лбу. Мариша сидела не шевелясь и смотрела на этот лоб, на пальцы. Честно говоря, музыку она сейчас не слушала, ей было не до музыки.

— Ну так как? — спросил Борис Николаевич.

— Замечательно!..

— Так уж и замечательно? Я ведь не Оборин и не Софроницкий.

— Они что же, лучше играют?

Борис Николаевич и Селиванова переглянулись. Мариша почувствовала, что опять сказала невпопад, и больше уже не проронила ни слова.

Сейчас ей уже казалось, что ее приход явно помешал. Но Селиванова сказала дружественно:

— Хорошо, что ты пришла, Огонек. У меня отличный рассольник.

Этот рассольник не утешил Маришу, тем более что он вовсе не был отличным. Готовить Селиванова не умела и этим процессом страшно тяготилась. Просто сейчас, по Маришиному разумению, она хотела выглядеть в глазах Бориса Николаевича хорошей хозяйкой.

Разговор, прерванный приходом Мариши, возобновился. Селиванова говорила о своих делах, о том, что в клинике в последнее время обострилась обстановка. Вместо того чтобы нормально лечить людей, разводят демагогию, подсиживание. Опытный врач иногда вынужден оправдываться в чем-то перед какой-нибудь нахалкой медсестрой.

— Вам легче: вы не врач и не биолог.

— У нас свои проблемы,— вздохнул Борис Николаевич.

— Так переходите с немецкого романтизма на что-нибудь более родное. На какие-нибудь там «Бруски».

— Должен заметить, что «Бруски» — роман отнюдь не худосочный.

Мариша сидела молча и подавленно: понимала, какое огромное преимущество было у Валентины Михайловны. О чем она сама могла поговорить с Борисом Николаевичем? Она и слов-то таких не знала, какие слышала за этим столом.

Приближался новый, тысяча девятьсот пятьдесят третий год. У обитательниц квартиры на Полянке была надежда, что встречать его Борис Николаевич будет вместе с ними. Но он объявил, что уезжает в город Ржев. Там жила его мать, в Москве ее по не понятной Марише причине почему-то не прописывали. С фотографии, стоявшей на столе у Бориса Николаевича, смотре-

ла симпатичная седовласая женщина, которая и в Москве наверняка никому бы не помешала. А в Ржеве, оказывается, было плохо с дровами, и вообще там люди еще не могли прийти в себя после военной разрухи. Мама Бориса Николаевича пыталась давать домашние уроки математики, но появление фининспектора положило этому конец. Когда Мариша об этом узнала, то вновь вспомнила свою любимую учительницу, Ксению Илларионовну. Жива ли она?

От поездки в Ржев, понятно, никто Бориса Николаевича отговаривать не стал. Он надел под костюмный пиджак свой толстый черный свитер и уехал. Непрактичный, как многие мужчины, он не сумел взять с собой никаких продуктов. А может быть, у него просто не оказалось денег.

После его отъезда Селиванова не без колебания приняла чье-то приглашение на новогоднюю встречу и ушла из дома. Мариша и Екатерина Серапионовна остались в этот вечер вдвоем. Они просидели до двенадцати часов ночи, выслушали новогоднее поздравление по радио. Потом Мариша постелила себе в кухне на полу и легла. Селивановский Макар подумал и лег рядом с ней.

Она уже задремала, утомленная грустью. Вдруг кухня осветилась. Это вернулась Валентина Михайловна.

— Ну, конечно, эта аристократка выпихнула тебя в кухню! Иди ко мне, ложись на диван.

Мариша попробовала заступиться за Екатерину Серапионовну, сказав, что она сама тут легла, что тут удобно, тепло.

— Ну, как хочешь.

Ушла Селиванова не сразу, а после того, как выкурила две папиросы. У Мариши было такое чувство, что она хочет ей что-то сказать. Но та ничего не сказала.

3

Он ведь знал, кто Мариша такая — простая работница. Однако когда открывал ей дверь, то не было случая, чтобы не помог снять пальто.

— Здравствуйте, Борис Николаевич! Как съездили?

— Спасибо, все хорошо. Проходите, пожалуйста.

— Я извиняюсь, а где же все?

— Насчет Валентины Михайловны ничего не могу сказать, а Екатерина Серапионовна, кажется, пошла на собрание актива в домоуправление.

Мариша вспомнила высказывание Селивановой по адресу своей старенькой соседки: «Мужа похоронить не успела, домоуправление хапнуло у нее одну комнату. Я думала, она, по крайней мере, год рыдать будет, а она уже на следующей неделе в это же домоуправление отправилась какой-то там кружок проводить».

— А вы все пишете, Борис Николаевич? — заглянув ему через плечо, спросила Мариша.— Наверное, уже много написали? И все про бурю?..

— Про какую бурю?.. Ах, про «Бурю и натиск»!.. Нет, не только. А как ваши дела?

— Радость у меня, Борис Николаевич. Комнату мне дают. С одной женщиной на двоих.

— Какая же радость, если на двоих?

— Но ведь мы всемером жили.

Он смотрел на нее и улыбался.

— Позавидуешь вам, Мариночка: всем вы довольны, везде вам хорошо.

— А что же мне? Молодая я, здоровая...

Она в эту минуту была не только молодая и здоровая, но и хорошенькая. Щеки у нее еще с мороза были розовые, серые глаза улыбались.

— Хотите чаю? Только у меня, кажется, кончился сахар.

Мариша сказала, что в одну минуту сбегает: магазин рядом. Когда она вернулась с пачкой рафинада, Борис Николаевич уже поставил чашки на стол. Они сели друг против друга и принялись за чай. Мариша старалась смотреть в блюдце, а Борис Николаевич смотрел на нее. Он был сегодня очень приветлив.

— Что это вы все глядите на меня? — смущенно спросила Мариша.

— А почему же не глядеть? На вас глядеть очень приятно. Вы сегодня такая хорошенькая. Ну-ка, поднимите головку!

Мариша подняла и улыбнулась.

— Вот так все время и улыбайтесь. Это вам отнюдь не вредит. Не все умеют хорошо улыбаться, а вам это дано от природы.

...Каждую минуту могла прийти с собрания Екатерина

Серапионовна. Могла появиться и Селиванова, поэтому Мариша решила, что надо поспешить с признанием.

— Знаете, Борис Николаевич... Вы только не обижайтесь. Я ведь в вас влюбилась. Хотите верьте, хотите нет.

Наступила пауза.

— Влюбились?..— спросил он, сразу став очень серьезным.— Когда же это вы успели?

— Успела вот.

Он был заметно смущен.

— Вот так штука!.. Ну, влюбились, так любите. Спасибо!..

Мариша поняла, что дела ее плохи.

— Вы уж никому не рассказывайте...

— Ну что вы, как это можно?

Борис Николаевич пересел поближе к Марише и даже взял ее за руку. Она сегодня надела кольцо с алым камушком — цветом любви. Сейчас поджала палец в надежде, что он не заметит.

— Все это пройдет, Мариночка, помяните мое слово.

— В жизнь не пройдет!

Он пожал плечами, как бы удивляясь ее упрямству.

— Должен вам доложить, что я ведь весь по кускам сшит. Если еще и голова откажет, чем мы тогда будем с вами заниматься? По дворам с обезьянкой ходить?

— С какой обезьянкой? — испуганно спросила Мариша.

— Ну, это я просто хотел вас немножечко развеселить. Улыбнитесь, пожалуйста.

Мариша попыталась, но не вышло.

— Что же мне теперь делать-то, Борис Николаевич?

— Даже не знаю, что вам такое и посоветовать...

Опять наступила пауза.

— Я понимаю,— шепнула Мариша,— зачем я вам? Я малограмотный человек, из деревни...

— Как вам сказать... Дело, конечно, не в этом. Грамотным человеком вы станете, если захотите. Я вам этого искренне желаю.

Сейчас Марише было совершенно все равно, станет она грамотной или нет.

— Кончена моя жизнь! — опять шепнула она.

— Перестаньте говорить глупости! — с не свойственной ему строгостью прикрикнул Борис Николаевич.— В

конце концов, вы меня ставите в нелепое положение. Что вы во мне нашли? Это смешно просто!

Мариша смотрела сквозь слезы на Бориса Николаевича и думала: «Как это что нашла?.. Да тысячи мужиков, хромых, косых, пропивших половину разума, и те думают, что лучше их нет. А в этом человеке все, ну просто все, что только может быть лучшего! Кого же тогда и любить?»

Если бы кто-нибудь полгода назад сказал Марише, что она будет сама навязываться мужчине, она бы очень обиделась. А вот сегодня так и вышло. Но, как это ни странно, стыда она сейчас не испытывала, а только одну горькую печаль.

— Бросьте, умоляю вас! — повернувшись к ней, сказал Борис Николаевич.

Он стал говорить о том, какая она славная, какая добрая, как в квартире на Полянке все ее любят, и что если она сейчас из-за пустяков обидится и перестанет здесь бывать, то на его душе будет страшный грех.

А она слушала и думала: «Хороши пустяки! Тут, можно сказать, вся жизнь!..»

И вдруг Марише показалось, что они сейчас в квартире уже не одни. Хотя вроде бы и входная дверь не хлопала, и пол не скрипел. Она вышла из комнаты Бориса Николаевича и действительно увидела перед собой Селиванову. Та пристально поглядела на Маришу, потом отвернулась и хотела повесить на вешалку свое пальто. Оно соскользнуло и свалилось на пол.

— Это вы, Валентина Михайловна?

Селиванова молчала, пальто так и лежало на полу.

— Знаешь, это в конце концов... Я понимаю, что тебе замуж надо. Но все-таки следовало бы подумать, куда ты лезешь. Я считала, что ты умнее!

В следующее воскресенье Мариша на Большую Полянку не пошла. Сидела и плакала. Ее обидели именно там, где она меньше всего могла ожидать. Она уже корила себя, что так безраздельно отдала душу обитателям квартиры на Полянке, ведь за это время могла бы обзавестись подружками, могла бы при большом желании познакомиться даже с кем-нибудь из парней. Но, возвращаясь мыслями к Борису Николаевичу, она понимала, что никакие парни ей не нужны, даже самые золотые; любовь к человеку, который был старше ее на

целых восемнадцать лет, как будто прибавила ей самой ровно столько же.

Слезы у Мариши то просыхали, то набегали снова. Так смолкает ночной дождь, и вдруг снова стучат и шуршат по крыше капли. Марише казалось, что еще ни разу в жизни не была она так несчастна. Не радовала и новая комната на двоих, хотя раньше ей и вовсе некуда было бы спрятаться со своим горем от шести девчонок, которые спали койка к койке.

Но долго одиночества Маришина душа не выдержала. Трижды садилась Мариша в трамвай, чтобы ехать на Полянку, и трижды сходила на следующей остановке. Наконец все-таки поехала.

Бориса Николаевича в квартире видно не было. Дверь в его комнату сегодня была плотно закрыта, и ее сторожил Макар.

Селиванова извлекла из холодильника торт с желтыми кремовыми розами.

— Изволь есть,— как-то очень сурово и категорично потребовала она.

До Мариши почему-то к этому торту никто не притронулся. Ей показалось даже, что сама хозяйка смотрит на кремовые розы с отвращением. И Марише вдруг стало ясно, что за истекший месяц в квартире на Полянке что-то случилось.

— Знаешь, наш-то герой собирается дать тягу,— после длительного молчания сказала Селиванова.— Вчера явился с этим тортом. Чтобы подсластить...

Мариша замерла и слушала. Оказывается, Борис Николаевич втихомолку подыскал себе обмен и на днях переезжает куда-то в район Красной Пресни. Когда он об этом объявил, то был очень смущен, пытался приводить какие-то неубедительные доводы.

— Говорит, экспресс идет оттуда к месту его работы. Пусть попробует. Ему в этом экспрессе последние кости переломают.

Валентина Михайловна была растеряна и угнетена. Оставалось только догадываться, что за это время произошло между нею и Борисом Николаевичем.

К торту Мариша почти не притронулась, и его унесла к себе Екатерина Серапионовна. Старушка тоже была озадачена тем, что Борис Николаевич их покидает, но особой трагедии в этом не видела. А Мариша в смятении

думала о том, что другой мужчина на его месте покрутил бы голову им обеим с Селивановой, а после бросил бы их, когда надоели. Этот же человек, наверное, даже комнаты себе хорошей подбирать не стал, взял первую попавшуюся, только бы своим присутствием никому душу не бередить. Она попыталась представить себе, какое же лицо было у Бориса Николаевича, когда он пришел к Валентине Михайловне с этим тортом, какой голос...

Увидела Мариша Бориса Николаевича в последний раз уже в середине февраля. Селиванова нарочно в этот день из дома ушла, и отъезжающего провожали Екатерина Серапионовна, Мариша и Макар. Лицо у Бориса Николаевича было тревожное, бледное, чувствовал он себя с самого утра плохо, принимал какие-то таблетки. Никак не мог уложить вещи, пока Мариша ему не помогла.

— Спасибо вам большое, Марина!.. Не беспокойтесь, это я сам возьму. Прощайте!..

Шарф он на шее замотать забыл, он болтался у него из кармана. Мариша старалась не смотреть ему в глаза.

— Счастливо, Борис Николаевич! Посуда ваша вот в этой коробочке, не разбейте.

— Посуда? Ох, да, благодарю вас!.. Передайте привет Валентине Михайловне. Очень жаль...

— Обязательно передам,— поспешно сказала Мариша.

Екатерина Серапионовна глядела вниз из окошка, с третьего этажа, Макар отчаянно царапал дверь, стараясь вырваться на лестницу. Мариша вернулась в квартиру, увидела голую комнату, в которую уже сегодня должен был кто-то въехать, и больше не стала себя сдерживать, всхлипнула и спрятала лицо в ладони.

Освободившуюся после Бориса Николаевича комнату занял отставник, человек преклонного возраста, но крепкого телосложения. После его визитов в домоуправление, а потом в райисполком появились водопроводчики, маляры, и места общего пользования были приведены в полный порядок. На входной двери был повешен ящик с замочком, и сюда дважды в день опускалось большое количество столичных газет и журналов.

— Валя, вы несправедливы,— покачала головой Екатерина Серапионовна, когда Селиванова высказала что-то нелестное по адресу нового жильца.— Василий Степанович человек очень спокойный, мы даже шагов его не слышим.

— Вот это и плохо,— отрезала Селиванова.— Почему это ваш Василий Степанович ходит так неслышно, когда в нем, наверное, центнер веса?

Валентина Михайловна явно хандрила. Она опять стала расхаживать по квартире в старом халате и шлепанцах на босу ногу.

— Дело прошлое, Огонек,— призналась она Марише,— но я никак не могу забыть этого человека.

Мариша сама не могла забыть.

— Согласись, что это был очень приличный мужик. Такая уж у меня дурацкая натура — всегда меня притягивают люди, в судьбе у которых какое-нибудь неблагополучие. Не могу я видеть сытые морды. Вот такие дела, Огонек.

И Селиванова рассказала Марише и про то, что нашлись общие знакомые, от которых она узнала, что бывшая супруга Бориса Николаевича в пору их совместной жизни вела себя, мягко говоря, не очень красиво.

— Вот ничтожным бабам всегда везет,—заключила Валентина Михайловна.— И таких еще любят всю жизнь. Просто непостижимо!

Мариша готова была согласиться, что в жизни много непостижимого. Непостижимо было и то, что и она собиралась любить Бориса Николаевича всю жизнь.

Последующие события той холодной зимы отодвинули в сторону личные, пусть самые горькие переживания. Через неделю после переезда Бориса Николаевича Мариша попыталась попасть в Колонный зал, чтобы посмотреть на Сталина. Она никогда не видела его живым и страстно возжелала взглянуть хотя бы на мертвого. Поздно вечером она едва добралась до Большой Полянки.

В глубокой печали Мариша прожила весь март. Но жизнь есть жизнь, работа не ждет, сдельщина есть сдельщина. Тем более что мартом месяцем заканчивался

производственный квартал, и работать спустя рукава никак не приходилось.

Весна в этом году не спешила: на Москве-реке синел лед, морозило и метелило до самого апреля. День прибавился на два часа, но этого как-то не ощущалось.

— Ты не желаешь, Огонькова, в хор записаться? — спросила Маришу профорг из цеха.— Говорят, настоящего артиста пришлют руководить.

— В хор?..— удивленно переспросила Мариша. Ей не верилось, что настало время, когда опять уже можно петь.

Но дни эти наступили. Близилось лето, на фабрике заговорили о путевках, о детских лагерях, об экскурсиях и поездках. В одно из майских воскресений швейниц повезли на массовку. Ехали по Рязанскому шоссе, на семьдесят пятом километре автобус свернул в лес. Первая трава была так хороша, что жалко было топтать. Только разве кого остановишь, тем более что большинство приехало с детьми. В лесу нашли большой пруд с голубыми незабудками по берегу: он был еще очень холодный, и только те, кто сильно подвыпил, рискнули лезть в воду. Но было очень весело; целый день играли два баяна, женщины перепели все песни, какие только знали. И если бы некоторые девчата вели себя посдержаннее, то и вовсе массовка была бы замечательная. Что ж поделаешь, когда на швейной фабрике ребят и мужчин мало? Лучше уж поискать на стороне, а не ссориться и ревновать при всем коллективе.

— Ну как, Огонькова, довольна? — спросила председатель фабричного комитета.— Еще поедешь?

— Большое спасибо, очень довольна,— сказала Мариша.— Лес такой прекрасный! У нас в деревне такого нету, у нас все поле...

Но больше этим летом на массовку не поехали: оно в Москве было дождливое-предождливое. Правда, в цехе и без солнца жары хватало, а вот прогуляться пойти — это уже хуже. Мариша купила себе зонтик, а поверх новых босоножек иногда даже надевала галоши. Но Москва — это не деревня, тут любую лужу можно обойти стороной, не замочив ног. Что же касается настроения, то оно у Мариши теперь было уже вовсе бодрое. А плохая погода на нее не влияла.

ГЛАВА IV

1

Весна пятьдесят четвертого года была ранняя: уже с середины мая вовсю цвела по бульварам и скверам лиловая сирень, а кое-где на припеке зацветала и поздняя, белая.

В обеденный перерыв швейницы устремлялись в зеленый садик при фабрике. Мариша приметила, что семейные женщины редко ходят в столовку, может быть, деньги экономили, а может, повара не могли на них угодить. Марише казалось, что зря: щи мясные давали очень вкусные и всего за рубль сорок. На гривенник хлебушка — и очень хорошо. Второго блюда, честно говоря, Мариша и сама не брала, считая, что гуляш или битки — это баловство, роскошь.

То ли действительно погода была уж очень хороша, то ли события последних месяцев воодушевляли, но чувствовали сейчас себя все вокруг так, словно какую-то тяжелую заботу с плеч стряхнули. А причина была простая: каждая вторая работница на их фабрике была или тульская, или рязанская, или смоленская; всю зиму только и было разговоров по цехам, что государство сняло с колхозников налоги, скостило колхозам долги и дало ссуды на подъем хозяйства. Товары в деревне появились, одежда, посуда. А то ведь за войну так подбились, что картошку сварить было не в чем, из черепков пили и ели. Не у одной Мариши, почти у всех по деревням жила родня, свойственники. Молодежь на фабрике за путевками в дом отдыха гналась, в какую-нибудь поездку, а те, кто постарше, жертвовали свои отпускные дни на то, чтобы проведать мать, старшую сестру, тетку. Нагружались пшеном, макаронами и ехали. Хорошо, кому дорога была прямая, а кому и с пересадкой.

Все чаще посещала Маришу мысль, что надо бы пренебречь обидами и съездить в отпуск в Орловку. Она бы не к брату гостить поехала, а только поглядеть на родное поле, постоять над зеленым яром.

Но поехать в Орловку Марише не довелось. Этой весной она познакомилась со своим будущим мужем.

Уже не раз попадался ей на Симоновском валу парень в армейской фуражке без звездочки. Наверное,

где-то рядом жил. Марише казалось, что когда он ее замечал, то замедлял шаг, а потом смотрел вслед. И вот однажды решил остановиться. Подмигнул веселым глазом и подал крепкую, горячую руку.

— Здорово!

— Здравствуйте.

— Меня Толей звать. Анатолий Трофимыч Лямкин.

Почему было и Марише не сказать, как ее зовут? Выглядел этот веселый Анатолий лет на тридцать, плечи у него были раскидистые, подбородок и скулы твердые, мужские. Под рабочей курткой чистая голубая рубашка.

— Чего глазки-то прячешь? Не занятая? Давай в кино сходим.

На первый раз Мариша от приглашения отказалась. Но до дома ее Анатолий проводил. Чтобы не думала, что он шпана какая-нибудь, показал служебное удостоверение и водительские права второго класса.

— Восемьсот пятьдесят получаю, но без премиальных не живу.

Теперь, узнав адрес Маришиного общежития, он уже на следующий день появился и там.

— Я билеты купил на восемь часов. Собирайся.

Следовало бы помедлить с согласием. Но парень как будто предлагал от души. Другая на Маришином месте скакала бы от радости.

— Ну что же, пойдемте,— сказала Мариша.

Анатолий сегодня явился шикарный, в новом песочном костюме и в большой шоколадной кепке. Он был полон расположения, только вышли, взял Маришу под ручку. Метров двести до кинотеатра она шла вроде бы сама не своя.

— А ну, пацан, айда отсюда к чертовой бабушке!

Это он согнал мальчишку, который занял их места. Тот пулей слетел со стула, юркнул в проход.

— Пусть бы сидел,— несколько ошеломленно сказала Мариша,— вон ведь мест свободных сколько.

— Те места нам не годятся,— со значением улыбнулся Анатолий и подпихнул Маришу в последний ряд, в самый угол.

Она разволновалась и страшно жалела, что пошла: ожидала хамства. Но Анатолий грубостей себе никаких не позволил, только посмеивался, болтал, и наклонялся

к самому лицу. Картину он Марише, естественно, посмотреть почти не дал. Щеки у нее горели, а руки были страшно холодные.

— Зайти-то к тебе можно? — спросил Анатолий, когда фильм кончился.

— Нельзя,— сказала Мариша.

Он истолковал это по-своему:

— У меня, понимаешь, тоже комната с корешом на двоих. Ну, я его махану куда-нибудь. Пойдешь?

Мариша еще категоричнее сказала, что никого «махать» не надо, она все равно не пойдет.

— Это ты такая? Что я тебя съем, что ли? Посидели бы, поговорили.

Анатолий проводил Маришу до общежития, у дверей пробовал опять уговаривать:

— Ну, а в другой-то раз пойдешь?

Чтобы не упрекать себя потом, что сразу оттолкнула человека, она постаралась улыбнуться и сказала:

— Другой раз — другой сказ. Спокойной ночи!

Хотела она этого или не хотела, но последующие дни думала об Анатолии. Ее только удивляло и тревожило, почему он ее ни о чем не расспросил: ни кто она, ни что она, есть ли у нее родные, близкие, даже сколько ей лет. Это наводило на мысль, что намерения его самые несерьезные и держаться с ним следует сурово.

А Анатолий тем не менее торопил события. Сидели ли они с Маришей в парке или опять в зале кинотеатра, он твердил только одно: как бы это побыстрее сойтись. Ей казалось, что ему все равно, что за девица ему достанется, лишь бы побыстрее досталась.

Но Мариша ошибалась: Анатолий влюбился. На третьей неделе знакомства он сказал:

— Чего голову-то друг другу крутить? Давай распишемся.

Мариша взглянула ему в глаза и увидела, что парня действительно заело. В эту минуту Анатолий показался ей даже красивым. Мариша опустила глаза, вспомнив, что не так давно любила другого человека, такого непохожего. И подумала о том, что ведь мог же этот Анатолий встретиться ей год назад. Тогда, возможно, она была бы даже счастлива.

Сраженная неожиданным поворотом судьбы, Мариша вдруг сдалась. В конце концов ведь ей этой весной

исполнилось двадцать пять лет. В начале июня они с Анатолием расписались.

Муж милостиво разрешил Марише остаться при своей фамилии, которая ей самой очень нравилась и которой она дорожила как памятью о тех днях, когда все в госпитале ласково называли ее Огоньком, в том числе и военврач третьего ранга Селиванова. Она и вправду была тогда «огоньком», а теперь, после того, как жизнь на нее несколько раз дунула, что-то никак не разгоралась... При мысли о Селивановой Маришу посетила грустная догадка, что выбора ее Валентина Михайловна может не одобрить.

Расписывались по месту жительства жениха и невесты, на Симоновском валу. Анатолий стоял нарядный и счастливый. Он уже добился того, что кореша его перевели к другому холостяку, а им с Маришей досталась комнатенка с одним окошком, но с большим стенным шкафом и крашеным полом. На стекле висели казенные часы, которые два раза в день нужно было подталкивать, чтобы шли.

Народу на свадьбу Анатолий созвал больше, чем позволяла жилая площадь. Кто из гостей опоздал, тот стоял в коридоре, принимал тарелки и рюмки через головы. На кровати, где предстояло провести первую ночь молодым, сидело сейчас человек тринадцать гостей.

Ни Романок с женой, ни сестра Лидка на свадьбу к Марише не приехали. Может быть, потому, что свадьба эта была скоропалительная, а в деревне любят, чтобы было время на сборы, на раскачку. А может, просто убоялись трат: на свадьбу к сестре с пустыми руками не поедешь.

Так что Мариша сидела совсем одна среди мало знакомых ей людей, и, как она ни бодрилась и ни улыбалась, явно проглядывали ее смятение и неуверенность в правильности того, что происходит. Дважды в жизни она влюблялась, а вот теперь идет замуж, можно считать, не любя.

Селиванова Маришино приглашение тоже отвергла.

— Нет, знаешь... Я ведь под гармошку плясать не умею.

Что касается Екатерины Серапионовны, то та честно призналась, что очень боится пьяных. А какие Мариша могла дать гарантии, что будет по-другому?

Однако особого разгула не было. Анатолий в этот вечер не повалился, как Романок на своей свадьбе, хотя выпил немало. Когда ему показалось, что гости уже навеселились, он не постеснялся сказать прямо:

— Метро, трамвай кончаются, поэтому большое до свидания вам всем!

Маришу он обнял так горячо, что она даже на какой-то момент почувствовала себя счастливой. Все-таки Анатолий женился на ней без всякого расчета, значит, по-настоящему любил. А такое бывает не часто.

Когда медовый месяц был в разгаре, Мариша решила показать своего молодого мужа обитателям квартиры на Большой Полянке.

Екатерина Серапионовна, увидев нарядных Маришу и Анатолия, обрадовалась. А Мариша прежде всего обратила внимание на то, что от селивановской двери убран коврик, на котором всегда возлежал Макар.

— Собаки больше нет,— шепотом сообщила Екатерина Серапионовна, когда гости зашли к ней в комнату.

Интонация у старушки была печальная, хотя раньше между нею и псом отношения были самые спокойные. Видимо, она переживала за свою соседку.

— Я вас поздравляю!— сказала Екатерина Серапионовна.— Желаю вам счастья!

— Спасибо, бабуся! — за себя и за жену отозвался Анатолий.— А комната-то у тебя какая хорошая! Продай-ка нам ее.

Екатерина Серапионовна растерялась.

— Что вы хотите сказать?..

— Хочу сказать, что продай. Как-нибудь сделаемся.

Мариша с мольбой посмотрела на своего «молодого». Она уже поняла, что привела его сюда в первый и последний раз.

В это время к комнату вошла Селиванова. Опять в халате.

— Добрый день, Валентина Михайловна,— робко сказала Мариша.

— Здравствуй, Огонек,— как-то вяло отозвалась та. — Появилась, наконец?

К себе она гостей не пригласила, за свой сугубо домашний костюм извиняться тоже не стала.

— Не обижайтесь на нее,— попросила Екатерина

Серапионовна, когда Селиванова удалилась.— Она все еще не может прийти в себя после смерти собаки. Я тоже как-то плохо себя чувствую в последнее время. Совсем не могу работать, остановилась на полуслове...

— Ладно, пошли! — заскучал Анатолий.— Прощай, бабуся!

Провожая Маришу, Екатерина Серапионовна сказала:

— Постарайтесь остаться такой, какой вы были. Помните, как мы с вами плакали на «Царской невесте»?..

Мариша была очень подавлена.

Анатолий же искренне удивился, что его молодая жена так сникла. Правда, она еще дома просила его, чтобы он зря не молол языком. Но он был твердо уверен, что все, что ни скажет, — правильно. И если молчать, так это надо не в гости идти, а в глухой лес по грибы.

2

Лето пошло на вторую половину, в июле температура в цехе, где работала Мариша, доходила до тридцати пяти. Гладильщицы раздевались до нижнего белья, наказав уборщицам и вахтерам лиц мужского пола в гладилку не пускать. Только одна Мариша не пожелала даже в самую жару расстаться со своим синим рабочим халатом.

— А ты, я гляжу, левша! — удивилась новая мастерица, увидев, как она ловко перехватывает тяжелый утюг из правой руки в левую.

— Я и левша и правша,— улыбнувшись горячими губами, сказала Мариша.

— Ну, тогда ты тут у нас всех забьешь.

Мариша никого «забивать» не собиралась, но действительно оказалась расторопнее, а главное, выносливее других. Но и ей приходилось нелегко. Выпускали сейчас в основном швейные изделия из штапельного полотна, только что входившего в моду. Глажке это полотно поддавалось хорошо, но, чтобы честно отутюжить каждый шов на платье или халате, не вытянуть и не завалить на сторону, приходилось попариться. За смену Марише накидывали больше сотни изделий с пришитыми пуговицами, которые при неосторожности можно было расплавить. А утюг, который сам же и брызгал горя-

чей водой и паром, весил больше четырех килограммов. Под конец смены Мариша чувствовала непривычную слабость, и маленькие, пусть и сильные, руки ее становились горячими и ватными.

Анатолию Мариша про это не рассказывала, не жаловалась, а то он, чего доброго, мог сорвать ее с работы, которая Марише все-таки была по душе и приносила хорошую денежку. Вот только раздражало, когда к концу месяца уж очень авралили. Мариша тогда спала плохо — перед глазами у нее плыли сарафаны, юбки, блузки: в цветочек, в клетку, в горох, гладкие, пестрые, с рукавами, без рукавов...

За первый месяц после свадьбы Мариша принесла своему мужу тысячу рублей чистыми. По прежним, деревенским представлениям, это была огромная сумма. Но Анатолия она этими деньгами не удивила.

— Шибко-то не жмите, а то расценки подрежут, и за те же денежки будешь не сто, а двести подолов утюжить.

Мариша не поверила, но в чем-то Анатолий оказался прав. В следующем месяце вместо штапеля пошел какой-то жесткий вискозный материал, утюжить который было чистое наказание: перегреешь утюг — горит, не догреешь — так и остается мятое, никакого вида нет, а ведь это людям покупать.

Один месяц Мариша на пестрых пляжных ансамблях просто сама «сгорела»: какой-то модельер придумал такое, что кругом одни швы и петли. Притом тройка: трусы, лифчик и накидушка. А плата, как за одно изделие.

«Куда это столько нашили?— грустно спросила сама себя Мариша.— Можно подумать, что все купаются».

После тысячи рублей приносить домой меньше ей было неудобно, она подналегла и заработала еще больше. Но в получку с нее удержали большой подоходный налог да еще за бездетность шесть процентов, и она отошла от кассы очень удивленная и обескураженная. Хорошо, что Анатолий был не из самых жадных и большого неудовольствия не выразил.

— Бог дал, бог взял,—сказал он.— Не тужи, Парфеновна!

Сам он за три года жизни в столице сменил уже несколько мест. Всерьез он ни с кем не задирался, работал ровно, получал премии. Тем не менее, как только

подвертывалось место получше, сомнениями не терзался и брал расчет. Мариша смутно догадывалась, что Анатолий подхалтуривает, левачит на казенной машине, но, видимо, с умом: еще ни разу не попадался, и водительские права у него были чистые, как стекло.

— Зачем ты это делаешь, Толя? — спросила она однажды, найдя у него в кармане смятую сотню.

— Брысь! — весело сказал Анатолий.— Без сопливых обойдемся.

На другой день он ей на эту сотню приволок две пары чулок и флакон духов. Не догадался только бумажку хорошую в магазине попросить, завернул подарок в «Вечерку».

Молодой Маришин муж был неизменно весел как человек, в жизни которого исключены неприятности. В отличие от жены Анатолий ничего и никого не боялся, все ему было ясно и понятно. Последнее время работал он в одном из строительно-монтажных управлений, возил блоки, кирпич, раствор. Была у него возможность пересесть на персональную «Волгу», но катать начальников и их жен Анатолий не желал из принципа. Поэтому терпел свой самосвал, тяготился только пылью и грязью. Каждый день он менял рубашку, а нижнее когда через день, когда через два, не реже. Мариша стирала и гладила, пришивала пуговицы. Не дожидаясь, когда чистюля муж сделает замечание, меняла постельное белье, выколачивала подушки и одеяла. Занавески у них в комнате были белее снега, накидки и покрывало шумели от крахмала. Анатолий нашел жену отнюдь не ленивую. Только иногда ему казалось, что она ни минуты не сидит без дела, потому что хочет за этим делом спрятать какую-то свою тайную печаль.

— Сядь, посиди,— сказал Анатолий и хлопнул ладонью по дивану рядом с собой.

Мариша села, но тут же протянула руку, чтобы взять клубок и спицы. Муж отобрал их.

— Ты кто? — спросил он.—Старуха, что ли?

Один раз он застал Маришу моющей полы в общем большом коридоре, куда выходило десять дверей.

— Разве наша неделя?

— Да нет... Грязно очень.

Анатолий, не постучав, открыл дверь в комнату к многодетным соседям и спросил грозно:

— Моя жена вам, паразитам, что, уборщица? — И, повернувшись к Марише, добавил: — Увижу еще, убью!

Она подняла на него глаза и спросила совсем тихо, но с вызовом.

— За что же такое ты меня убьешь?

Сам заниматься хозяйством Анатолий не любил, хотя на поверку оказалось, что умел он делать все. Один раз взял у Мариши из рук кусок кислого теста и завернул такую узорную плюшку, что она только ахнула.

Но еще больше она была удивлена, когда Анатолий взялся склеить гармонию для соседа, а когда та была готова, сам с перебором сыграл «Вниз по Волге-реке». На Маришин вопрос, почему же он себе не купит баяна или аккордеона, Анатолий махнул рукой:

— Да ну!.. Это так, баловство. Вон лучше радио слушай.

По субботам Анатолий и Мариша ходили в баню. Анатолий управлялся за неполный час, а Мариша иной раз должна была только шайки дожидаться минут десять — пятнадцать. Ей как-то не приходило в голову, что надо дать полтинник банщице, и все было бы в порядке. В ожидании жены Анатолий выпивал в буфете кружки три-четыре пива, но домой один никогда не уходил, ждал Маришу.

В начале зимы он побывал в командировке в Саранске. Там купил на базаре пуховую пензенскую шаль, специально для того, чтобы Мариша не застудила голову после бани. Неделю на одном хлебе сидел, но купил. Светло-серая шаль очень шла к серым Маришиным глазам и розовым после жаркой бани щекам. Это замечал не только собственный муж, но и другие мужчины, которым давно бы следовало отправиться домой, а они все толпились возле буфетной стойки.

— Ты сегодня что-то долго парилась,— заметил жене Анатолий.— Я уж хотел было обратно за пивом становиться.

— Рядом ребенка маленького мыли,— сказала Мариша.— Неудобно было плескать.

— Когда ребят натащут, это хуже нет.— И, не приняв молчаливого упрека жены, Анатолий добавил: — А ведь не доливает пива! Спасибо, хоть холодное.

Начался новый, тысяча девятьсот пятьдесят пятый. Меньше года Мариша была замужем, но ей казалось — много больше. К Восьмому марта портрет ее вывесили на стенд Почета. Сначала Маришу вызвали в фабричный комитет и там, ослепив двумя лампами, сфотографировали. Кроме почетного места на стенде, она получила еще двести рублей премии. Она догадывалась, что не всегда премии достаются тому, кто их заслужил, а иногда и тем, кого любят мастера, кто держится к ним поближе. Но у нее лично никакой заручки тут не было, значит, она действительно заслужила эту премию своими руками и терпеливым характером. К другим работницам мастера иногда не рисковали даже подступиться с невыгодным изделием, а шли к Марише: знали, что отказа не будет, что она не огрызнется и не побежит с жалобой в фабричный комитет.

На Восьмое марта Маришу посадили в президиум и дружно приветствовали аплодисментами. Она была очень тронута, она даже не представляла, что ее на фабрике так много людей знает и любит. Поэтому дала себе твердое слово, что как работала честно, так и будет честно работать, как затыкала все дырки, так и будет затыкать. Людское спасибо — это тоже большая радость, счастье даже.

Мариша в этот вечер была нарядная, веселая, пела и плясала вместе со всеми. Под конец работницы затеяли играть в жмурки, завязали глаза начальнику ОТК. Завязали, возможно, плохо, потому что он вскоре же поймал Маришу и отпустил не сразу.

— Я вас по маленьким ручкам узнал,— сказал он ей.

Начальник ОТК был немолодой, но мужчина очень интересный, чернобровый. Мариша и не догадывалась, что он ее раньше заметил и разглядел, какие у нее ручки. Ей и в голову не могло прийти, что она кому-нибудь, кроме своего Анатолия, может понравиться. Внимание начальника ОТК ей было очень приятно, но волю этому чувству она не дала. Муж у нее был ревнивый, да и вообще ни к чему.

Две сотни премиальных Мариша отдала Анатолию. Она без его ведома денег не тратила, и это ее нисколько не угнетало. Наоборот, ей казалось, что так даже и жить легче, тем более что муж для нее ничего не жалел.

Вскоре после праздника Анатолий опять уехал в недельную командировку. Мариша осталась дома в одиночестве, и к душе ее вдруг впервые подступил холодный страх: в чем дело, почему у них ребенка-то не намечается? Неужели потому, что нету у нее до сих пор большой тяги к своему мужу, такой тяги, как у него к ней? И самым удивительным и пугающим было то, что Анатолий ей по этому поводу пока не задал ни одного вопроса. Это невольно приводило Маришу к выводу, что изъян заключен, возможно, и не в ней, а в нем. Такое предположение заставляло ее до поры до времени молчать, потому что совестно было об этом спросить... Мариша твердо давала себе слово пойти к доктору, но все не шла: сильно страшно — вдруг скажут, что надеяться не на что. Вот если бы Анатолий ее к врачу послал, она сразу побежала бы.

Но он об этом и не думал. Однажды только сказал каким-то полунамеком:

— Вот ты говоришь, дети. А погляди, что у Мишкиных делается!

За стеной у соседей с утра до вечера гомозилась и орала ребятня. Их пока было трое, но четвертый должен был родиться вот-вот. Никого эти дети не слушались: ни отца, ни матери. Боялись одного Анатолия и, когда он появлялся в общем коридоре, опрометью кидались в свою комнату.

— Мои бы были, я бы их всех передушил!

Сказано это было, конечно, для красного словца, но у Мариши внутри все вздрогнуло.

— Кто бы это тебе дал детей душить?..

До Анатолия наконец дошло. Он нахмурился, потом сказал:

— Ну ведь нет их пока, и слава богу.

Это «пока» немножко утешило Маришу, как будто от этого слова могло что-нибудь зависеть. Она подумала о том, что в конце концов у их матери первенец родился только через два года после свадьбы.

Но это соображение недолго утешало Маришу. Весной ей исполнилось двадцать шесть лет. И вместо того, чтобы радоваться теплу и солнечному свету, она чувствовала чисто осеннюю тоску. Ночью она видела какие-то страшные, несуразные сны. Опять видела во сне Бориса Николаевича и во сне же любила его. Видела ка-

кую-то чужую девочку, которой расчесывала после бани мягкие длинные волосы. Потом видела мальчика, играющего на пианино, чего только не снилось!.. У Мариши совсем отбило аппетит, он пропадал еще и от работы в густом пару. Она исхудала, чем вызвала неудовольствие мужа.

— Об тебя, Парфеновна, ушибешься скоро. Что это с тобой делается-то?

Мариша никому про себя ничего не рассказывала, не жаловалась, не делилась. Но женщины, которые работали рядом с ней, о многом догадались и сами полезли с советами. Одна работница предложила по врачам не ходить, а съездить к «бабушке».

— Да что вы!..— покраснев и побледнев, сказала Мариша.— Да зачем я туда поеду?..

— Поезжай, поезжай! — посоветовали и другие.— Образованную из себя не корчь.

И Мариша допустила мысль, что, возможно, следовало бы и поехать. Рекомендованная «бабушка» жила в Раздорах, по Белорусской дороге. Мариша доехала до Раздоров электричкой, а от станции до поселка шла три километра пешком.

«Бабушка» самым прозаическим образом стирала белье, как видно, с большой семьи. Чтобы домашним не было слышно, о чем она разговаривает с посетительницей, включила приемник, из которого шла передача на иностранном языке.

— Если доверяешься,— ласково и многозначительно сказала она, — то я тебе, так и быть, помогну.

Мариша попыталась изобразить на лице доверие. Она ждала чего-то таинственного, а «бабушка» дала ей только какой-то желтоватой воды в четверке из-под московской водки и велела пить ей и Анатолию на ночь, не забывая трижды перекреститься «перед и опосля».

— У меня муж неверующий,— робко сказала Мариша.

— Сама его закрести. Всю выпьете, опять приезжай.

Мариша хотела дать «бабушке» десятку. Та затрясла головой:

— Допреж дела денег не беру.

Это несколько убедило Маришу в том, что она приехала сюда не напрасно. Может быть, и произойдет «дело».

Но Анатолий не только креститься, но и пить эту желтую воду наотрез отказался, послал Маришу вместе с «бабушкой» куда подальше.

— Поноса не боишься, тогда пей,—сказал он,— дурочка!

Но утопающий хватается за соломинку, поэтому Мариша на всякий случай выпила эту четверку. Ничего с ней не случилось — ни хорошего, ни плохого. Но к «бабушке» она больше не поехала, а пошла в поликлинику.

Молодая врачиха, в отличие от внимательной и ласковой «бабушки», к Маришиной беде отнеслась довольно равнодушно, как будто та жаловалась на бессонницу или насморк. Сказала, что особенно волноваться не нужно и чтобы Мариша зашла через полгодика.

— Ну, что опять? — спросил Анатолий, увидев Маришины слезы.

— Толя, ну зачем я на свете живу?..— дрожащим голосом сказала она.— Для чего?

— Надоела ты мне, Маришка! — сказал он сердито.— Чего ты от меня-то хочешь? Ты думаешь, во мне дело? Как бы не так!.. Не знаешь ты ни черта!

И чтобы как-то успокоить жену, добавил:

— Дались тебе эти дети! У моей матери нас шесть штук было. А думаешь, много ей от нас радости? Почти всех уже схоронила.

Говоря это, Анатолий погладил Маришу по волосам, положил свою голову ей на плечо.

— У меня сегодня знаешь какой день неподходящий был. Чуть ведь не влип я, Маришка!..

И он рассказал, что по дороге в Москву из Нового Иерусалима он подсадил к себе в машину каких-то двоих мужиков с молочной флягой. Те сказали, что везут побелку, а когда задержал пост, оказалось, во фляге молоко.

— Детские ясли обобрали, сволочи! И меня из-за этих сорока литров чуть под угол не подвели. Ладно, что инспектор человек попался, поверил. А то бы ты сейчас уж одна сидела. Тут бы никакая святая вода не помогла.

Это сообщение сразило Маришу. Она представила себе, что могла остаться совершенно одна. А человека, который ее несомненно и преданно любил, забрали бы и увезли куда-то... И Мариша, зарыдав, еще раз горячо

попросила его вести себя честно, повторяла, что никаких сотен и тысяч ей совсем не надо. Сказала ему даже, что его любит и без него помрет.

Анатолий побледнел и крепко обнял жену.

— Маленькая моя, дурочка!.. Да разве я не понимаю? Я бы сам без тебя помер!

То ли оттого, что она простудилась, то ли от всех переживаний, но Мариша в первый раз в жизни расхворалась. Болела голова, и все время тянуло плакать. На медпункте фельдшерица увидела у нее слезы и спросила, в чем дело. Но Мариша только взяла таблетку от головной боли и, ничего не объяснив, ушла домой. Там до самого прихода Анатолия проплакала, положив голову на руки. Больничный лист ей выписали с трудом, потому что температуры не было. Но Анатолий пригрозил участковому врачу, что если с женой что-нибудь случится... Тот не захотел связываться, дал бюллетень на два дня. Сказал, чтобы потом Мариша обратилась к невропатологу.

— Это уж мы сами сообразим,— ответил Анатолий.— Надо, так к профессору сходим. Не в диком лесу живем.

3

В начале лета пришло очередное письмо из Орловки. Там уже забыли или делали вид, что забыли, при каких обстоятельствах Мариша покинула родной дом. Прежние письма, как правило, содержали разнообразные просьбы купить, достать, прислать. Но Мариша чувствовала себя обязанной разве что только в отношении младшей сестры, Лидки. Та, нахалка, правда, ни разу толком и не поблагодарила.

В последнем письме Маришу неожиданно приглашали в крестные матери: у Сильвы с Романком родился второй мальчик. Заодно они собирались окрестить и первого, родившегося сразу же после отъезда Мариши из деревни, то есть почти четыре года назад.

— Тебе эта волынка в полтысячи обойдется, не меньше,— пожал плечами Анатолий, когда Мариша показала ему письмо.—А думаешь, потом спасибо скажут? Я, брат мой, этот народец знаю!

Мариша промолчала. Что-то колыхнулось в ее душе.

Ей очень хотелось поехать взглянуть на родные места, иногда просто до слез хотелось. Особенно беспокоило ее, как там могилка матери и отца: за эти годы и затоптать могли. Но сейчас она решила, что не поедет. Подумала о том, что вот Сильва проверяет, приходят ли ребята в школу в красных галстуках, Романок вывешивает флаги к празднику, а сами собираются тащить детей в церковь. Насколько веру покойной матери Мариша уважала, настолько лицемерие было ей поперек души, и она испытала прежнюю острую неприязнь к брату и невестке, хотя Сильва была, возможно, не так уж и виновата: Романок и крестины-то задумывал наверняка для того, чтобы лишний раз попьянствовать.

Думая обо всем этом, Мариша не без некоторой гордости смотрела на собственного мужа. За год их совместной жизни Анатолий ни разу не перепил. Нормой его был стограммовый стопарь, закушанный чем-нибудь основательным: куском жареной колбасы с горчицей, тарелкой густого супа. Аппетит у Анатолия был очень хороший, шоферский. Иногда Мариша, глядя на жующего мужа, невольно вспоминала Бориса Николаевича, который жил почти на одном крепком чае. Она представить себе не могла, чтобы этот человек пил, к примеру, водку...

Еще задолго до летнего отпуска Анатолий завел разговор о том, чтобы махнуть куда-нибудь к югу, поглядеть море. У одного из сослуживцев его, Гоши Сокова, был пыхтун — «Москвич» первой послевоенной марки.

— Не развалится, так доедем,— весело заявил Анатолий.— На бензин Гошке полсотни подкину, и всех делов. Он со своей бабой и мы с тобой.

Ему не пришлось уговаривать Маришу. Ей тоже страстно захотелось к тому синему морю, про которое она слышала только от счастливых людей, там побывавших, в том числе и от Анатолия, который служил в армии под Балтой.

— Покупаемся! И яблоки там по полтиннику ведро.

Мариша прыгала, как девочка, собираясь.

Попутчиками оказались крошечный дядя с лысеющей макушкой, которую он прикрывал огромной кепкой лазурного цвета, и его супруга Галина, Галочка. Дама эта была такого солидного объема, что Мариша испуга-

лась, хватит ли им вдвоем места на заднем сиденье «Москвича».

— Мне что-то не хочется с ними ехать, Толя,— улучив минутку, шепнула Мариша мужу.

— Да брось! Что нам с ними, детей крестить? В вагоне двое суток париться, думаешь, лучше?

Из Москвы на юг выехали в первых числах июля, в очень сильную жару. Соковы взяли с собой килограммов тридцать сырой картошки. Может быть, Галочка учитывала свой хороший аппетит, а может быть, просто знала по опыту, почем на юге картошка. Так или иначе, в маленьком «Москвиче» было очень тесно, жарко, и еще не доехали до Серпухова, как у Мариши от всех переживаний, неудобств и жары заболела голова.

За рулем попеременно сидели то Гоша, то Анатолий. Гоше было лучше: он был коротенький, а у Анатолия подбородок чуть не упирался в колени. До Курска доехали более или менее благополучно, потом «Москвич» забаловал.

Галочка, по-прежнему пугавшая Маришу своей неразговорчивостью, тут достаточно ясно высказалась, что нужно было ехать им с Гошей двоим, тогда бы не ломались через каждые два часа. Но Мариша прекрасно понимала, что без Анатолия хозяева «Москвича» ломались бы еще чаще. Он свои «посадочные» отрабатывал честно: первым лез под колеса, подкручивал, домкратил, поднимал, заливал. У Мариши же всю дорогу болела душа, что сама тут ничем не может помочь.

Девятого июля, к вечеру, добрались до Анапы. Несмотря на сильную жару, Мариша умудрилась простудиться: две ночи они с Анатолием ночевали на земле. Она вообще стала наблюдать за собой странные вещи: в деревне и мокла и мерзла, чем только не питалась, а всегда была здорова. А вот теперь неизвестно отчего то вдруг насморк, то уши заложит, то поднимается какая-то тошнота. Главное же — очень пляшут нервы от высокомерия Галины. Та работала в большом гастрономе старшим кассиром и не скрывала своего пренебрежения к простой работнице, которая не денежки пересчитывала, а ворочала тяжелый утюг. Это было до того несправедливым и обидным, что Мариша порой едва сдерживала слезы. Ей так и хотелось крикнуть: «Да погляди на себя в зеркало, ты, мымра! Не нужно мне ни

твоего богатства, ни твоей машины. Ведь это счастье, что я не такая, как ты!..»

В Анапе мужчины повели своих «дам» на пляж. Галочка тут же стащила с себя сарафан и улеглась. А Мариша, которую вдруг охватила непонятная застенчивость, на первых порах только разулась и сняла с плеч жакетик, который взяла с собой, боясь новой простуды. Солнце, море, песок просто ошеломили ее.

— Все голые, а ты чего, дурочка, боишься? — спросил Анатолий.

— Да подожди!..

В первый раз в жизни Мариша должна была раздеваться на глазах у чужих людей, правда, если не считать бани. Но это же совсем другое дело. Откровенно говоря, Марише неприятно было глядеть, как муж ее сидит в одних трусиках при чужих женщинах. Правда, ей за Анатолия стесняться не приходилось: он был мужчина очень складный. А вот Гоша, как только снял с головы свою лазурную кепку, так превратился в сморчка: тело у него было в каких-то белых пятнах, и трусики он мог бы припасти получше, они на нем были длинные, линялые.

Дальше десяти шагов от берега Мариша не отошла, побоялась. У них в Орловке речки совсем не было, только в мокрый год застаивались на лугах маленькие озерки, где вода была теплая, вязкая, не доходившая ребятишкам до пупа. В глубоком яру, прямо у деревни, не купались — тут брали воду. Так что можно было считать, что Мариша теперь купалась первый раз в жизни. Когда она окунулась и тихая зеленая волна толкнула ее в грудь и обдала брызгами горячие щеки, Мариша почувствовала такой восторг, что вскрикнула. Удовольствие было бы еще более полным, если бы не страх за Анатолия, который заплывал так далеко, что она теряла его из глаз.

Через несколько дней дала себя знать и оборотная сторона медали. Фрукты в городе на базаре были еще дороги, яблок, обещанных Анатолием, не было вовсе. Он купил Марише черешни, велел есть самой, но она не удержалась и угостила Гошу с Галочкой. Те, пока не доели свою картошку, воздерживались от трат.

Жара стояла страшная, вода была везде невкусная, с ночевкой плохо, и Мариша несколько заскучала. Кра-

сота морского берега радовала ее только в первые дни. Зато теснота и голый народ стали наводить на нее тоску. Но Анатолию здесь нравилось, ему плевать было на всех голых и одетых, лишь бы жарило солнце и грел бы песок. Он стал коричневый, как крашенное луком яйцо, а к Марише почему-то загар приставал туго.

Если не сидели в воде, то играли в «тысячу». Нашли на пляже еще одного охотника, а Галочка играла, как заправский игрок. Марише думалось, что хотя бы на время игры Галочка могла бы немножко прикрыться, а то неясно, заглядывают мужчины к ней в карты или за вырез купальника.

— Ты чего это насупилась? — спросил Анатолий, решивший, что жена недовольна тем, что он два раза подряд проиграл.— Мы же по маленькой.

Мариша ничего не ответила. Встала и пошла вдоль кромки берега, осторожно ступая босыми ногами по ракушкам. И сколько ни шла, кругом были люди и люди.

Здесь, на морском берегу, Мариша впервые в жизни пребывала в праздности. Предыдущие два отпуска, всего по двенадцать рабочих дней, пришлись на зиму. За один она получила деньгами, другой ушел на ремонт комнаты на Симоновском валу, о чем Мариша ни минуты не пожалела. Под руководством мужа она так «художественно» выбелила потолок и покрасила стены, что сама не поверила, что это — дело ее собственных рук. А пол, с которого уже почти вся краска сошла, Мариша отскоблила, как, бывало, в деревне, до цвета свежего яичного желтка. Заботы с таким полом много, но много и радости, светлой памяти: они с матерью, бывало, мыли пол в четыре руки и воды не жалели, хоть таскать ее было далеко, из-под яра.

— Мама!..— обращаясь к морю, тихо сказала Мариша.— Кабы ты тут меня видела!..

Внутри у нее что-то дрожало. Она понимала: это потому, что все кругом такое непривычное, не родное, а главное, от безделья, которое ей совсем не годилось; ее очень удивляло, почему же другие люди не тяготятся им, с раннего утра до позднего вечера лежат на песке или плещутся в воде. Они и приехали раньше и позже, наверно, уедут отсюда. Неужели эти люди устают на работе больше, чем она, которой уже совсем не хочется отдыхать? Сейчас в деревне как раз сено гребут... Кар-

тошка, наверно, уже цветет лиловым цветом, луку небось сколько в каждом огороде, огурцов!.. Как Мариша любила ранние огурцы! С тех пор как уехала из Орловки, она уже ни одного душистого, холодного от росы не съела. Да разве дело в одних огурцах!.. И смутные, но горькие сожаления вдруг обступили Маришу со всех сторон, набежали, как волны на песок.

В один прекрасный день супруги Соковы объявили, что хотят «отрываться» из Анапы. Но предупредили, что обратно они Анатолия с Маришей задаром не повезут: есть попутчики, которые предлагают деньги.

— Ну ты скажи, паразиты! — возмутился Анатолий.— Всю дорогу я под ихней развальней лежал.

А Мариша была просто счастлива, что не сядет больше рядом с толстой Галочкой и не испытает тошноты, которая преследовала ее по пути сюда, в Анапу, в соковской тарахтелке.

Уехать по железной дороге оказалось совсем нелегко, но Анатолий проявил максимум предприимчивости. Ушел утром на вокзал и вернулся вечером, рубашка на нем была черная и мокрая.

— Вагон антрацита разгрузил, а то бы мы тут с тобой до ноябрьских сидели.

На следующий день Анатолий с Маришей, с билетами в кармане, в последний раз отправились на пляж. Муж купил Марише целых три килограмма черешни, и сам тоже стал ее есть на виду у Гоши и Галочки, плевал косточками в их сторону.

Мариша сегодня чувствовала себя как никогда прекрасно и позволила себе по этому случаю оголить плечи больше обычного. И только когда солнце стало садиться, испытала грусть: увидит ли она море еще раз, войдет ли в его теплые, качающие волны? Она прощальным взглядом окинула морской берег и пожалела, что ни разу не пришла сюда ночью, когда берег был бы совсем пуст. Страшно, а хорошо!

На работу Мариша вышла в конце месяца, следовательно, опять попала под самый аврал. Ей тут же накидали вороха тех же пляжных ансамблей, от которых и в Анапе у нее пестрило в глазах. И хотя после отпуска всегда тяжело входить в ритм, первые дни прошли быстро и даже весело: прибегали посмотреть на нее, спросить адрес квартиры, где останавливались.

— Удовольствие очень большое! — заверяла Мариша.— Обязательно поезжайте.

Ей уже искренне жаль было людей, которые не видели моря, а о сопутствующих огорчениях она забыла.

4

Однажды, вернувшись с фабрики, Мариша застала Анатолия в сильной угрюмости. На темной от анапского загара щеке заметна была даже бороздка от слезы. Первой слезы, которую видела у него Мариша.

Объяснения он начал с того, что ругательски обругал соседских ребятишек, которые чуть не порвали письмо, полученное две недели назад, когда они с Маришей еще были в Анапе. Письмо было от старшей сестры Анатолия Раисы. Та вообще-то жила с семьей в Костроме, но писала из деревни, где находилась при заболевшей матери. Марье Емельяновне Лямкиной в середине июля сделали срочную операцию, и со дня на день, как писала Раиса, можно было ждать, что придет конец.

Мариша еще ни разу не виделась со свекровью, не познакомилась. На их с Анатолием свадьбу та не приехала: работала в колхозе бригадиром, в летнее время не отъедешь. Прислала им с оказией двести штук яиц и для молодой отрез на платье.

— Покажи мне письмо,— попросила Мариша.

Но Анатолий почему-то затиснул смятый конверт подальше в карман.

— Дай! — требовательно сказала Мариша.

Она принялась читать и сразу поняла, почему муж прятал это письмо. Сестра Раиса сволочила Анатолия последними словами, не упуская случая обругать и Маришу, хотя ее совсем не знала и, как сама писала, знать не хотела.

— Тебя-то она за что?..— почти жалобно спросил Анатолий.— Дура чертова!

А Мариша читала дальше и убеждалась, что муж не захотел ей показать письмо не только из-за сестриной брани. Раиса писала не очень разборчиво, но Мариша все поняла. Мать просила исполнить ее волю, чтобы дом, все хозяйство, корову, гусей, кур продать и вырученное поделить на три равных пая. Из шестерых детей, о которых Мариша уже слышала от Анатолия, в живых

у Марьи Емельяновны Лямкиной сейчас оставались двое — сын и дочь. Третью долю Марья Емельяновна хотела, чтобы выделили шестилетней соседской девочке, отцом которой был Анатолий...

— Райка потому свару затевает, что ей неохота на троих делиться,— смущенно бормотал Анатолий,— ее бы власть, она бы все себе захапала.

Мариша как будто не расслышала этих слов. Какое ей дело было до дележей, когда вдруг обнаружилось такое... Анатолий никогда ни единым словом не обмолвился, что была у него какая-то Любка, что осталась девочка. Ведь это он таким манером и ее, Маришу, возьмет да и обманет, бросит. С кем же она жила, с кем на одной постели спала?.. Может, и слава богу, что детей у нее пока нет? Марише стало так тошно и обидно, что она вдруг с силой метнула мужу в физиономию смятый конверт.

— Да за что?..—чуть не со слезами спросил он, хотя, конечно, понимал, за что.

Мариша думала и о другом. Они-то валялись на пляже, грели животы, ели черешню, а там, в деревне, в это время мучился человек. Не старая старуха, сама ждущая смерти, а женщина, которой еще нет и шестидесяти. Она вспомнила свою собственную мать, тоже замученную болезнью, и громко, по-деревенски зарыдала в голос.

Ехали ночь в сидячем бесплацкартном вагоне. Мариша сидела, притиснутая в угол какими-то чужими людьми, и смотрела в окно на белые, все в холодном тумане болота, темно-синие лужайки и черный лес. Ей казалось, что утро не наступит никогда.

В шесть часов утра сошли на безлюдной станции, в сорока километрах от Ярославля. Анатолий всю поклажу взвалил себе на плечо, хотел хоть чем-то заслужить расположение жены.

Они шли по прекрасной, мокрой от росы, зеленой дороге, уходящей все дальше в лес. В Маришиной родной Орловке, под Веневом, редкая лозинка качалась на черной меже, а тут кругом шелестели деревья, цеплялись друг за дружку зеленые сарафаны елок. Чуть место повыше — покачивалась розовая от зари сосна, чуть пониже—сквозила ольха; как выбеленная к празднику, гнула вершину березка. Вся опушка у рощи

полна была переспелых ягод, которые ленились собирать редкие путники.

— Не тоскуй, Парфеновна!..— вздохнув, попросил Анатолий.

Сердце у Мариши ныло: что ждало ее за этим зеленым лесом, за поворотом дороги?

— Вот они, ретивые, явились!.. Большое вам пожалуйте!..

Сестра Анатолия Раиса стояла около материнского подворья. Добротный, красивый дом Лямкиных был накрыт ветками мощной, набравшей ягоды рябины. Голубели наличники, подновленные, наверное, этой весной. Возле Раисы крутились двое ее детей, чуть поодаль от них стояла и девочка, в которой Мариша сразу же признала дочь Анатолия.

Раиса Лямкина была шестью годами старше брата. Она тоже была женщина видная, но худая и выглядела не на свои годы. Голос ее показался Марише очень злобным.

— Хоронить не поспели, а как делиться, так вот они вы!..—на всю деревню принялась кричать Раиса. И тут же накинулась на Маришу: — А ты чего приехала? Твоего-то тут уж вовсе нет!

Даже не поймешь откуда, сразу набежал народ: старухи, дети, с десяток пожилых баб. Мариша замерла в ожидании, что сейчас Анатолий разинет рот и посыплется ответная ругань. Но он вдруг отвернулся, отошел в сторону и закрыл лицо рукавом пиджака. Мариша почувствовала, что в эту минуту она обязана его как-то защитить.

— Раиса Трофимовна,— тихо попросила она золовку.— Не кричите. Я все понимаю, мы виноваты перед вами, только вы, пожалуйста, не кричите...

Та сразу замолчала, как будто задохнулась. Потом зарыдала так же громко, как только что кричала. Дети напугались. Все, кого согнало сюда любопытство, стояли кольцом и молча глядели на приезжих. Только крупного белого петуха с роскошным красным гребешком вдруг как расхватила нечистая сила: он взлетел над головой у Мариши, сел на высокий заборный кол и что есть духу прокукарекал похожее на «всех перекричу!..».

— Ладно, пойдемте не то в дом,— вытерев слезы, сказала Раиса.— Чего же на улице-то?..

Она пропустила вперед себя своих детей, а ту девочку, которая была похожа на Анатолия, не позвала и даже загородила ей дорогу: нечего, мол, тут. И девочка испуганно отступила.

Первый гнев у Раисы прошел. Брата своего она не видела почти четыре года. И, словно забыв, что только что она его ругала и поносила при всем честном народе, Раиса прилепилась к щеке Анатолия мокрыми от слез губами, и они оба опять принялись плакать, теперь уже в один голос.

Видимо, золовка уже поняла, что Мариша не посягнет в этом доме ни на одну вещь, оставшуюся от покойницы, ни на один рубль денег, поэтому она быстро успокоилась и даже подступилась к Марише с поцелуем.

Потом Раиса стала проворно собирать на стол. Выставила холодное, пироги, рыбу, выпивку — весь остаток от поминок. Мариша смотрела золовке в лицо, и оно уже не казалось ей таким злым и чужим, тем более что брат и сестра Лямкины между собой были очень схожи, без всякого труда угадывались в них одного отца, одной матери дети.

За едой Раиса самым подробным образом изложила, как похоронили мать. Гордясь за покойницу, рассказала, что гроб везли на машине, обитой красным кумачом с черными лентами. Правление дало полтысячи рублей деньгами, зерна, мяса. На кладбище присутствовало не только местное руководство, но даже из райисполкома. А накануне председатель сельсовета дал свой мотоцикл, чтобы привезти священника.

— Только больно уж халатно отслужил,— сказала Раиса.— Не понравилось всем. За двести пятьдесят рублей побоялся лишний раз рот разинуть.

— Небось пьяный,— хмуро заметил Анатолий.— Меня тут не было, а то бы я его по шее!..

— Ну уж ты скажешь: по шее!.. Кто бы это тебе разрешил — священника бить?

Раисины дети сидели тут же за столом, ели пироги и слушали, о чем толкуют старшие. Мариша взглянула в окошко, там маячила девочка. Наверное, ждала, когда позовут.

— Поди, вскричи ее,— велела Раиса сынишке.— Есть небось хочет.

Девочка тотчас пришла. У нее были зелено-карие, в чуть припухлых веках глаза, такие, как у Анатолия. Льняные волосы без всякой ленточки, одета она была не поймешь во что: то ли длинная кофта, то ли короткое платье. Никто ее не умыл, не причесал, не одел как следует, а ведь только-только схоронили ее бабушку.

Раиса подвинула девочке пирог и блюдце с рыбой. Та стала есть, и Мариша увидела, что рот у нее щербатый — менялись зубы.

— Шурочкой ее звать,— сказала Раиса Марише и повернулась к маленькой гостье: — Ешь да ступай домой, там мать, чай, с работы пришла.

Мариша поймала взгляд Анатолия, который тот бросил на свою дочь. Взгляд был достаточно растерянный. Он как бы говорил: что же, мне удавиться теперь, что ли? Что было, то было... Чувствовалось, что Анатолия здорово измучили непривычные для него слезы и бессонная ночь на багажной полке. Поэтому его решили отпустить спать.

— А нам с тобой сидеть некогда,— сказала Раиса Марише.— Ты погляди, что в огороде-то делается. А ведь мне днями тоже уезжать.

До самого темна они обжинали траву, пололи гряды, забитые лебедой и кислицей. Таскали из ближнего болотца воду, отливали капусту и огурцы. Шурочка тоже копошилась рядом, помогала.

— Мама ее не гнала,— вздохнув, сказала Раиса.— Она знала, что Анатоха к Любке таскался.

— Не надо при ней,— шепнула Мариша, оглянувшись на девочку.

Когда совсем стемнело, Раиса и Мариша позволили себе сесть отдохнуть. Они расположились на шаткой лавочке в палисаднике, или, как здесь называли, садочке. Тут густо росли высокие, измельчавшие мальвы, цветы яркие, но совсем без запаха. Запахов хватало других: ветер нес аромат с розового клеверища и с болотца, заросшего белой таволгой. Оба эти запаха были так знакомы Марише с детства. В то же время было в них что-то чужое. Это пахло севером, его темными лесами, густой травой, кочками, болотцами, невытоптанными ягодками, сохранившимся еще звериным жильем.

— Сильно ведь хорошо!..— вдруг с чувством сказала Раиса.— А нас всех жизнь раскидала.

Мариша тихонько пожала ее руку, такую жесткую, как раньше была у нее самой.

— Любку, конечно, пожалеть тоже надо,— продолжала Раиса.— На ремонте работает, шпалы таскает. Все среди мужиков, пить начала...

К вопросу о разделе имущества Лямкины вернулись на следующее утро.

— Так как мы с вами сделаемся? — спросила Раиса.

— Нам ничего не надо,— поспешно заверила Мариша.

— Так уж и совсем ничего?

Анатолий отоспался, но выглядел по-прежнему хмуро.

— Надо оглядеться,— не очень уверенно сказал он.—Корову, например, сейчас, к осени, не продашь. Надо на мясо сдавать.

Раиса вдруг опять налилась гневом.

— У меня дети, а ты собираешься корову резать!

— Ты что, ее, корову, на третий этаж к себе в Костроме поволокешь?

— Да хоть на четвертый, не твоя забота!

Ничто в таких словах не было для Мариши новостью. Но участие в этом семейном дележе было сейчас совершенно невыносимым. Она сидела бледная и губы у нее дрожали.

Но Анатолия почему-то захлестнуло. И не столько жадность, сколько непонятная Марише злоба.

— Ну ладно, тебе отдать — на это я согласен,— сказал он сестре.— Ты хоть за матерью ходила. А той шалаве за что?

— Замолчи!..— чуть не задохнувшись, вскрикнула Мариша.

Золовка этого крика даже испугалась. К тому же наверняка считала, что на законного мужа кричать не положено.

— Да полно! — примиряюще сказала она Марише.— Чего ты больше всех волнуешься? Нервы-то свои побереги. Разберемся.

«Шалаву», то есть Любку Кузьмину, кстати, никто к этому дележу и не подумал пригласить. Сама она близко к дому Лямкиных не смела подойти. Мариша случайно увидела ее, идущую от железнодорожной линии, с черными, не женскими руками, в пыльном платке.

Издали Любка казалась немолодой, хотя была ровесницей Анатолия, значит, всего на три года старше Мариши. За что он эту Любку, которую бросил, ненавидел теперь? Наверное, стыдился сам себя, поэтому рычал и хорохорился.

Раиса тоже приметила Любку, крикнула, чтобы та зашла. Любка вздрогнула, оглянулась и не спеша повернула к лямкинскому дому.

— Да сиди! — остановила золовка Маришу, когда та хотела уйти.— Не бойся, она баба сильно тихая.

Любка Кузьмина действительно была тихая. На Маришино «здравствуйте» ответила шепотком и больше не промолвила ни слова. Хотя, конечно, понимала, кто перед ней сейчас.

— Ну-ка, выпей и закуси,—вынесла ей тарелку и стопку Раиса.

Шурочка подбежала к матери и ухватилась за ее черную руку, потом потянулась губами к щеке. А Мариша с болью подумала: не потому ли не приехала покойная свекровь на их с Анатолием свадьбу, что совесть ее была на стороне Любки с девочкой.

Любка выпила свою стопку и немножко осмелела.

— Нонче за Мельниковой рощей шпалы меняли, ну и ягод там!.. Ты, Раиса, чай, знаешь где? На праву руку, за мостком. Вся трава красная.

Раиса долила ей остаток в стопку.

— Не до ягод. Выпей еще да иди. Дома-то, чай, тоже делов полно.

Любка, как по приказу, сразу же поднялась и пошла. Мариша попробовала удержать Шурочку, но та вырвала ручонку, побежала за матерью.

— Да, оказия!..— покачала головой Раиса.— Чего тут скажешь?..

Ночью Мариша поднялась и тихо вышла из избы на улицу. Уже начинало светать, все очертания были неясные, туманные, холодные. На лямкинский большой огород, мигнув, упала звезда.

— Сейчас бы идти, идти без оглядки!..—сказала сама себе Мариша.— Схорониться бы во все белое!..

Шорох позади заставил ее вздрогнуть и обернуться. Вышел и Анатолий, тоже белый, как туман.

— Где ты? — спросил он тревожно.— Ты не заболела?

— Душно...

Муж подошел ближе и вдруг опустился перед ней на землю.

— Прости, Парфеновна!.. Прости меня за все!

Маришиной рукой он вытер себе глаза и еще раз попросил:

— Не сердись. Как скажешь, так все и будет.

Из дома покойной матери они не увезли с собой ничего. Мариша взяла только насильно врученные ей Раисой два мотка белой шерсти, себе и Анатолию на варежки. Да еще сняла со стены фотографию. На ней была вся семья Лямкиных еще до войны: отец, мать, два взрослых парня, дочь-девушка и самый младший, стриженный под бокс, белобрысый Анатолий. Он стоял, ласково привалившись плечом к родной матери, а она обнимала его сильной крестьянской рукой. Рябинка, под которой снялись на лавочке, была в ту пору еще совсем тоненькая, десятилеточка.

Обратно на станцию Анатолий и Мариша шли через нескошенный просторный луг из одних белых ромашек. Время этим цветкам отходило, головки глядели вниз, стебли спутались. И кустился по лугу юный березнячок, грозивший через несколько лет превратиться в густую березовую заросль.

— Тут наш покос был,— сказал Анатолий.— А теперь, значит, косить некому... Зарастает.

К вечеру того же дня они уже были в Москве. За три года Мариша успела очень полюбить ее, полюбила и ту улицу, на которой жила, даже большую, набитую народом квартиру, окна которой выходили прямо на пыльный тротуар и где всегда приходилось отгораживаться занавесками от прохожих. Но сейчас Мариша возвращалась домой с очень тяжелым чувством.

Она все вспоминала, как благодарила Любка Кузьмина, когда ей сказали, что дадут часть — деньгами и имуществом. Наверное, раньше она от брата и сестры Лямкиных ничего не ждала.

После смерти матери Анатолий всячески пытался подладиться к жене, войти в доверие, искупить вину. Сам заговорил насчет того, чтобы, если не будет своих детей, взять на воспитание какого-нибудь трехлетку. Де-

вочек он не любил, а на мальчика готов был согласиться. И был просто поражен, когда Мариша сказала коротко:

— Не стоит, Толя.

— Почему?..— тихо спросил он.— Это как мне тебя понять?

Мариша не объяснила почему. Однако Анатолий и сам догадался — жена может сказать: если он родного ребенка бросил, то чужому хорошим отцом не будет. Это Анатолия очень заело, он попробовал еще раз-другой подступиться к Марише с тем же предложением.

— Что же, так и будем жить совсем без потомства?

И ласково, в полушутку намекнул, что ведь от бездетных жен мужья имеют полное право уйти. Даже народный суд не задержит.

— Ну что же, уходи,— спокойно сказала Мариша.

Но Анатолий уходить не собирался. Наоборот, он все больше и больше привязывался к жене, любил, порой даже заискивал. Ревновать у него повода не было, но его очень волновало и обижало, что она теперь все чаще и чаще оставляет его одного сидеть дома, а этого одиночества Анатолий боялся, как малый ребенок.

— Скрываешь ты что-то от меня,— жалобно говорил он.— Ну, погоди, Маришка!..

Скрывать Марише было нечего. Просто теперь она не торопилась с работы домой, и если был повод задержаться, то задерживалась. Ведь ей не нужно было бежать ни в детский садик, ни в ясли, никто там ее не ждал, не плакал. Поэтому она не пропускала ни одного собрания, ни лекции, ни беседы. Семейные женщины под разными предлогами разбегались, а она терпеливо сидела. И почти всегда оказывалась в выигрыше: услыхала и узнала много такого, о чем, сидя дома, глядишь, никогда и не узнала бы — о международном положении, об охране здоровья. После очередной лекции о гриппе пошла в аптеку и купила себе «жидкость Смородинцева», с тех пор ни разу насморком не мучалась.

Как-то была объявлена лекция о трудовом воспитании в семье. Марише воспитывать было некого, но она все равно на лекцию осталась. Народу на этот раз в красном уголке цеха сидело так мало, что ей сделалось неловко перед лектором: и что за люди такие?.. Неуже-

ли все на свете знают, что не хотят послушать квалифицированный совет?

— У нас женский коллектив,— пояснила Мариша лектору.— После работы трудно... Уж вы нас извините.

Тот пожал плечами, словно хотел сказать: для вас же хуже. Большого разочарования на его лице не отразилось, он к малочисленной аудитории, видимо, привык. Маришу он посчитал ответственной за мероприятие, во время лекции обращался главным образом к ней и персонально ей улыбался. Однако не исключено было, что она просто ему понравилась: ведь ей было всего двадцать шесть, у нее были хорошие серые глаза и льняные, какие-то не городские волосы.

По окончании лекции Мариша проводила лектора до трамвайной остановки. Она считала, что если можно кому-то улучшить настроение, то это нужно сделать.

— Вы где-нибудь учитесь, наверное? — спросил он.

— Нет,— сказала Мариша,— работаю. Но, может, еще и соберусь.

Но учиться она не собралась. Освоила только квалификацию швеи-мотористки и простилась с утюгом. Новая работа нравилась ей гораздо больше. В гладилке Мариша работала в основном среди женщин пожилых, а в пошивочном и на раскрое было много девчат, значит, больше смеха и всякой веселой ерунды. В юности ей так мало довелось шутить!..

Зарабатывала Мариша теперь больше Анатолия, и его самолюбие от этого сильно страдало. С тех пор как перестал левачить, он получал свои восемьсот и ни копейки больше.

— Ладно, проживем,— смущенно говорил он, принося домой зарплату,— у нас с тобой не семеро по лавкам.

Мариша молчала: напоминать мужу, что у него есть дочь, ей было как-то невмоготу, это стало для них обоих больным местом.

Мариша и видела-то девочку всего считанные часы, та даже приласкать себя не дала, но все равно уже не было покоя на сердце. Мариша часто себя спрашивала: чем же она-то виновата перед той маленькой девочкой? Она и знать не знала о ее существовании, когда выходила замуж за Анатолия. И чем она могла, если все-таки была виновата, эту вину искупить?

Оба они с Анатолием понимали, что Любка им девочку не отдаст. Из писем Раисы они узнали, что к концу лета Любка с Шурочкой переселились в железнодорожную будку, которая предоставляется путевым обходчикам. Оттуда до школы было больше четырех верст—куда же зимой ребенку идти? Любка поплакала, потом отдала Шурочку в школу-интернат.

— Растащат небось в интернате этом, и не достанется ей ничего,— покачал головой Анатолий, увидев, что Мариша укладывает в посылочный фанерный ящик пряники и пастилу.

Потом взял ящик и сам понес на почту. Помнил, как в деревне туманной, холодной ночью просил у Мариши за все прощения, стоял коленками на сырой земле.

Мариша же думала о том, что у нее, слава богу, не самый плохой на свете муж. Горячей любви к нему ей по-прежнему взять было неоткуда, но человека преданного она в нем все-таки нашла. И ей порой очень хотелось быть с мужем поласковее, потерпимее.

5

Дружбе Мариши с обитательницами квартиры на Большой Полянке не суждено было заглохнуть.

Мариша не была там больше года, не знала даже, здорова ли Екатерина Серапионовна. Если Селиванова несколько обидела ее при последней встрече своей холодностью, то на старуху не за что было обижаться. Наконец Мариша собралась туда.

Екатерина Серапионовна варила на кухне варенье из ранних слив. Василий Степанович сидел тут же на табурете и читал ей вслух повесть из журнала «Пограничник». Можно было только позавидовать способности Екатерины Серапионовны уживаться с людьми.

Не успела Мариша осведомиться о том, как тут им на Полянке живется, как открылась дверь селивановской комнаты, и хозяйка вышла оттуда в сопровождении незнакомого Марише плотного лысеющего мужчины в светлых, отлично отутюженных брюках. Такая складка не вышла б, пожалуй, и из-под Маришиного утюга. Селиванова была в кремовом спортивного покроя костюме и в босоножках на немыслимо высоких каблуках.

— Ты что, специально от солнца пряталась? — спросила она, услыхав, что Мариша была в Анапе.— Где же твой загар?

Ее кавалер любезно поклонился Марише, так что Валентине Михайловне ничего не оставалось делать, как их познакомить.

— Арсений Александрович,— представился он.

Может быть, Селивановой не понравилось, что он при этом слишком уж галантно качнул животом, но она нахмурилась.

Арсений Александрович удалился, а Мариша подумала, что это, наверное, тот самый, который все звонил прошлой зимой по телефону и от которого Валентина Михайловна так решительно отбивалась.

— Очень я рада, что опять вас вижу, Валентина Михайловна, — сказала Мариша. — Скучала я по вас. И по Екатерине Серапионовне.

— Что же ты так долго не появлялась?

— Да мне думалось, что я вам больше не нужна.

— Ну вот, вздор какой!..

Селиванова ушла в свою комнату и вернулась с журналом в голубой обложке.

— Наш-то герой, посмотри!.. Пробился все-таки.

Под статьей, которую она показала Марише, стояла подпись: кандидат филологических наук Б. Алтарев.

— Борис Николаевич? — радостно спросила Мариша.

— Ну, естественно. Что же, дай ему бог!..

И Селиванова рассказала Марише, как она недавно встретила Бориса Николаевича в магазине на Кировской: стоит в очереди, что-то читает. Зазевался, на него орут...

— Я хотела к нему подойти, но ты знаешь, Огонек, не смогла.

— Он всегда за чаем туда ходит,— тихо сказала Мариша.— Неужели орали?.. И что за люди такие!

— Обычное хамство.

— Да уж... Тихого человека обидеть ничего не стоит.

Селиванова посмотрела на нее и улыбнулась.

— Ну, а ты-то как живешь? Не колотит тебя твой Афанасий, или как его... Акиндин?

Улыбнулась и Мариша.

— Еще как тузит. Вся синяя хожу.

Разговор был прерван предложением Василия Степановича посмотреть телевизор. Он недавно приобрел «Луч», а заодно два мягких кресла, которые он сейчас и предоставил дамам. Но когда он вздумал комментировать передачу, Селиванова заметила ему холодно:

— Василий Степанович, дорогой, вы же не экскурсию с Павелецкого на Курский сопровождаете.

Тот уже достаточно изучил нрав своей суровой, но еще очень интересной соседки, поэтому счел возможным не обижаться. Марише даже показалось, что у этого симпатичного дяденьки с розовой лысинкой могут быть виды на Валентину Михайловну. Но та, слава богу, об этом не догадывалась.

По поводу же сегодняшнего гостя в хорошо отутюженных брюках Селиванова никаких разъяснений не дала. Мариша попыталась припомнить его лицо, но так и не смогла: брюки запомнились, а вот лицо нет.

Журнал со статьей Бориса Николаевича она взяла с собой. Она не все поняла в ней, но сознание того, что это написано человеком, которого она любила и которого не забывала, придало чтению особый интерес. Журнал этот Мариша обратно Селивановой так и не отдала, спрятала на память.

6

Был конец февраля. В Кремле заканчивал работу XX съезд партии. На швейной фабрике у Абельмановской заставы ждали встречи с делегатом: одна из швейниц сейчас находилась в зале Кремлевского дворца, своими глазами могла видеть весь Центральный Комитет. В истории фабрики это было впервые: выше, чем в районный Совет, никого отсюда до сих пор не выбирали и не посылали. Марише даже трудно было себе представить, что женщина с простецким именем Мария Егоровна, которая рядом с ней сидела за швейной машиной и те же щи ела в столовой, теперь в Кремле. Женщина, конечно, передовая, с первого года войны в партии. Часто вспоминала, как не халаты и сарафаны кроили и шили, а шинели и армейские бушлаты. Не одну иглу поломали; не из тонкого суконца были эти шинели. Теперь разбогатели, сколько добра порой в отход идет, а тогда ни ниточки, ни обрывочка...

Почти каждый день на фабрике проходили то митинги, то собрания. В перерыв читали работницам газеты, объясняли, рассказывали. Мариша отметила, что никого не нужно было уговаривать, чтобы остались. Самая малограмотная работница слушала затаив дух. Речь ведь шла о самом понятном: о прибавке в зарплате, о пенсиях, о пособиях вдовам, сиротам, о жилье.

— Что же вы плачете? — прервав объяснения, спросил парторг.— Радоваться надо, дорогие товарищи!

У Мариши тоже дрожали губы. Она же видела: процентов тридцать от числа работающих по цехам были уже почти старухами, но с фабрики не уходили,— разве проживешь на пенсию в сто пятьдесят рублей; если от детей помощи нет, так это на один хлебушек. На низкооплачиваемой подсобной работе тоже в основном гнули горб пожилые женщины: молодежь такую работу делать не будет, а мужчины ищут место, где не только заработать можно, но еще и заначить что-нибудь. Ящики, тюки, мешки ворочают шестидесятилетние бабы. Сколько раз Мариша от своей работы отрывалась, чтобы помочь какой-нибудь подсобнице.

...— Ну, так что слышно в народе? — бодро спросила Селиванова, когда Мариша в начале марта появилась на Большой Полянке. — Какова реакция на события? На восстановление ленинских норм партийной жизни?

— Очень хорошая реакция,— улыбнулась Мариша.

И рассказала, что февральский план выполнили досрочно, продукция на восемьдесят пять процентов отличного качества, остальная— хорошего, без всякой завышки.

В этом году в квартире на Полянке начали по-настоящему готовиться к весне. Стараниями энергичного Василия Степановича был найден хороший маляр, который покрасил все двери, косяки, рамы в местах общего пользования, наклеил новые обои в передней взамен тех, что при каждом стуке и шорохе лопались и рвались. Когда запах краски и клея улетучился, в окно повеяло апрелем.

Селивановой в апреле исполнилось сорок пять лет. Следуя примете «бабий век— сорок лет, сорок пять — баба ягодка опять», она и на самом деле как будто

помолодела. Во всяком случае, платье она себе к этой дате сшила просто превосходное.

Ее недавнего галантного кавалера Арсения Александровича что-то не стало видно.

— Что же так?.. — рискнула Мариша спросить у Селивановой. — Вроде неплохой человек...

— А вот так,— ответила Селиванова.— Ты пробовала целоваться с мужиком, у которого съемные протезы?

— Нет, — ошеломленно сказала Мариша.

— Ну и не советую.

Мариша была приятно поражена, когда Селиванова в один прекрасный день пригласила ее пойти в театр. Потом их совместные походы по театрам и концертным залам участились. Возможности у Валентины Михайловны тут были самые широкие: кого только она не лечила. Но репертуар она как нарочно выбирала какой-то смутный, тревожный. Мариша многого не понимала, но все равно волновалась. Селиванова, конечно, понимала все, но держала себя совершенно спокойно. Она по-прежнему следила за модой, выглядела, с Марішиной точки зрения, прекрасно, и было не ясно, почему она теперь избегает мужской компании и водит за собой ее.

Так или иначе, но Мариша была просто счастлива: ей нравилось все. И оживление около театра, и освещенный зал, нарядная публика, колыхание занавеса, и звуки за сценой. Она еще не испытала разочарований и готова была смотреть любую пьесу, будь то драма или комедия.

— Не сердись, Толя,— говорила она мужу, когда он поздним вечером открывал ей дверь.— Очень интересный спектакль.

— Разденут тебя где-нибудь в подворотне,— угрюмо отзывался Анатолий,— вот и будет спектакль.

Это был уже следующий театральный сезон. Зима выдалась очень снежная. По Симоновскому валу еле двигались трамваи, тревожно звонившие перед каждым сугробом. Мариша куталась в свою пензенскую шаль, которая от снега из серой стала совсем белой, равно как и черно-бурая лиса с оскаленной мордочкой, свесившая-

ся с Маришиного плеча. Лис этих было много, они считались очень модными и не были еще безумно дороги, так что каждая московская модница стремилась украсить ею свое сильно приталенное зимнее пальто. Купил такую лисицу и Анатолий для своей Мариши. Но лиса злым своим оскалом как-то сразу стала ей поперек души, и только нежелание обидеть мужа мешало Марише сменить ее на какого-нибудь другого, более доброго зверя.

Мариша торопилась. Ей нужно было до половины восьмого попасть в центр, чтобы около театра имени Ермоловой продать один билет: всего час назад Селиванова ей сообщила, что пойти сегодня в театр не сможет.

Продать театральный билет с рук оказалось довольно сложно, гораздо труднее, чем приобрести его в кассе. Мариша топталась у входа, высокие резиновые боты холодили ей ноги, но сапоги на меху тогда еще только входили в моду и были далеко не у всех и каждого. Часы на Центральном телеграфе показывали уже двадцать минут восьмого, а покупателя все не находилось.

— Возьмите, пожалуйста,— сказала Мариша, протягивая билет парню, похожему на студента,— бесплатно, денег не надо.

— Спасибо, девушка, я сегодня не могу.

Марише сделалось неловко: вдруг да он подумал, что она ищет себе кавалера на сегодняшний вечер. У нее пропала охота предлагать этот билет и тем обречь себя на случайное соседство.

И тут Мариша вдруг увидела Бориса Николаевича. Он не спеша шел от «Националя» по направлению к телеграфу. Холодная фетровая шляпа его была густо присыпана метелью, на шее все тот же, знакомый Марише шарф. Еще две-три секунды, и он прошел бы мимо.

— Борис Николаевич! — негромко окликнула она.

Он остановился.

— Ба! — почти радостно сказал он, приглядевшись к Марише.— Ужель та самая Татьяна?.. Что вы здесь делаете?

— В театр хотела идти, Борис Николаевич.

— А что сегодня?

— «Бешеные деньги».

— Ну что же, это очень интересно... Вы не представляете, Марина, как я рад, что вас встретил.

— И я очень рада, Борис Николаевич.

— Вы знаете, меня все это время не покидает чувство какой-то вины. Несколько раз собирался пойти на Полянку... Скажите, как там?

Мариша сказала, что все в порядке: все живы, здоровы, часто вспоминают его.

— Вы, наверное, опаздываете в театр? — спросил Борис Николаевич.— Уже половина восьмого.

— Ничего,— сказала Мариша,— я лучше вас провожу.

Она сунула билет в сумочку и пошла рядом с Борисом Николаевичем.

— Мы статью вашу читали, так за вас обрадовались.

Он взял ее руку.

— А вы-то как? Замужем, конечно? Похорошели, это ведь от ничего не бывает.

Ей нетрудно было заметить, что и он за эти три года вроде бы пополнел, порозовел. Но это, возможно, от мороза.

— Как мама ваша в Ржеве поживает?

— Моя мама с прошлого года уже в Москве.

— Прописали?

— Не только прописали. Нам дали очень хорошую квартиру. На Комсомольском проспекте, напротив Хамовнических казарм.

— Небось рада мама ваша?

— Ах, Марина!.. Мама моя никак не привыкнет, что в квартире есть вода и ее не нужно носить из колодца. Она этим занималась почти двадцать лет. А теперь видите, как все переменилось.

— Очень я рада за вас, Борис Николаевич!

Он посмотрел ей в глаза:

— Вы тогда на меня не очень обиделись? Поверьте, у меня душа очень болела. Я часто вспоминал, как вы меня провожали...

Он так и не произнес имени Селивановой. Это было несправедливо: она ведь тоже страдала.

— Валентине Михайловне заслуженного врача присвоили,— сообщила Мариша осторожно.— Она меня с

собой в клинику брала, когда ее чествовали. Сколько людей собралось, вы не представляете! Больные пришли, кого она на ноги поставила. Не знали потом, куда цветы девать, по всем углам в квартире стояли.

— Поздравьте ее от меня,— сказал Борис Николаевич.— Какие вы все прекрасные люди!

Расстались они лишь тогда, когда прошли пешком почти всю улицу Горького. Борис Николаевич сел в троллейбус, идущий вниз по Пресненскому валу. Оказывается, в квартире на Красной Пресне, где он недолго прожил, у него тоже остались дружеские связи.

— Там пятилетняя девочка,—объяснил Борис Николаевич.— Вы уж меня извините, что я тороплюсь: а то ее уложат спать.

Маришу что-то толкнуло в сердце. Она была без ребенка, он тоже. Ей было в этом винить некого. А ему? Какая женщина лишила его этой радости?

— До свидания, Борис Николаевич! Маме вашей большой привет!

Она пошла обратно по улице Горького. Торопиться ей сейчас было некуда. Погода была отличная, без ветра. Когда опять поравнялась с телеграфом, было тридцать пять десятого.

— Не досидела я до конца, Толя,— сказала она мужу, когда он открыл ей дверь.— Голова что-то разболелась.

Когда театральный сезон подошел к концу, Мариша стала читать. Екатерина Серапионовна дала ей сразу несколько томиков Чехова. Мариша унесла их домой и поставила на комод.

Анатолий поначалу к новому увлечению жены интереса не проявил. Но однажды, вернувшись с работы, Мариша увидела его самого с книжкой. Он читал и даже не поднял головы, когда она вошла. Он только что одолел чеховскую «Ариадну». Читал с трудом, клал палец под строчку.

— Нет, ты только погляди, про чего тут!..— сказал он жене, показывая на книгу.— Ну и баба! Я и не знал, что про таких паскуд книжки печатают.

Мариша была твердо уверена, что у Екатерины Серапионовны плохих книг быть не может. Поэтому ответила спокойно:

— Прочту — увижу.

Но Анатолия вдруг заело: он не желал, чтобы его жена читала «про похабное».

— Ты глупый, вот что,— сказала Мариша.

Анатолий «глупого» съел, но за чтением Мариши стал наблюдать ревностно и не упускал случая подковырнуть, правда, не зло. Поужинав, он ложился на кровать, а Мариша садилась у окошка, поближе к свету, и иногда так увлекалась, что не слышала ни гудков машин, катившихся по Симоновскому валу, ни шарканья ног прохожих, тени которых маячили за занавесками. В комнате у них был прежний порядок, и все вроде бы сделано вовремя. Но Анатолий все-таки приметил: суп стал чуть солонее, чем надо, пуговица на пиджаке пришита не с первого слова, а со второго. И если в окно проникало яркое солнце, то заметно было, как шевелятся по углам легкие пылинки.

— Ох ты, читатель!— сказал Анатолий, сильно заскучав.— У тебя уже глаза косить начали.

Тем не менее он был рад, что жена теперь вечерами сидит дома, при нем. Протянул руку — и вот она.

Один раз, поехав в рейс, Анатолий в одной из загородных закусочных увидел забытую кем-то книжку. Раньше он не обратил бы на нее никакого внимания, а сейчас решил, что свезет ее своей Маришке, пусть читает. Сунул книжку под пиджак и увез с собой. Пока ждал груза, опять попробовал сам читать. Книга начиналась такими словами: «Это был день свадьбы Ван Луна...» Анатолию понравилось, что речь шла о свадьбе, а не о том, как бабы живут с мужиками без брака. Но, читая дальше, он все больше недоумевал и разочаровывался.

Дома он решил поделиться впечатлениями с Маришей.

— До чего же бедно люди живут, прямо ужасть лошадиная!..

В голову ему против воли лез китаец Ван Лун, его семья, претерпевшая страшный голод, умершая от опухоли в животе жена.

— Неужели и моя мать так маялась? — растревоженно спросил он у Мариши.— Зачем про такое писать?

Больше ничего Анатолий читать не стал. С тем же,

что жена постоянно сидит над книжкой, ему пришлось примириться.

— Про любовь, что ли? — спросил он как-то, заглядывая ей через плечо. И добавил: — Ты бы лучше меня любила.

Мариша подняла голову и рассеянно посмотрела на мужа, словно не поняв, что он такое сказал. Но в глазах у Анатолия плавала такая тоска, что Марише вдруг стало не по себе. В конце концов, муж перед ней ни в чем виноват не был. Это она была виновата перед ним: не любила, не нужно было за него идти. Детей ему родить и то не может.

— Кто же тебе сказал, что я тебя не люблю?— как можно ласковее сказала Мариша.— Ну что ты, Толя?..

ГЛАВА V

1

Летом 1961 года Мариша, Марина Парфеновна Огонькова, могла бы отпраздновать свое трудовое двадцатилетие. Она не без сдержанной гордости подумала о том, что далеко не каждый, кому только что перевалило за тридцать, может похвастаться таким стажем. Улыбнувшись сама себе, вспомнила, как двадцать лет назад ухватилась за носилки, на которых лежал раненый, пахнущий засохшей кровью солдат. Как маршировала с деревянным ружьем и держала в операционной лоточек с ножами, когда военврач третьего ранга Селиванова оперировала того, с газовой гангреной... Что значит маленькая была: нервы были еще крепкие.

Тут же вспомнилось и другое: просторный, ничем не огороженный гон, на котором отец пашет под картошку. Девятилетняя Маришка бежит за сохой, увязая в черноземе, кидает во влажную борозду крупные картошины в белых ростках.

— Не части! — оглядываясь на нее, говорит отец.

Маришка старается не частить, но взмах ее руки слишком короткий, да и поспевать за отцом нужно.

Потом приходит мать, сменяет Маришку и дает ей на руки маленькую Лидку. Та тяжелая и крикливая, а нянька всего пятью годами старше. Маришка ждет не дождется, когда Лидка разморится на солнышке и

уснет. Майское солнце действительно морит, и Лидка, раскрыв рот, засыпает. Старшая сестренка кладет ее на снятую с колес телегу, накрывает от мух и бежит бегом опять на поле, к матери.

Та посылает:

— Пойди-ка лучше, касатка, пособи Романку.

Романок сидит в погребе, набирает картошку. Ватник на нем грязный, сопатый нос тоже в земле. Маришка помогает брату вытянуть из ямы пудовую кошелку, и они вместе тащат ее на огород. После этого Романок садится и отдыхает, а Маришка сменяет мать: той время доить корову, чтобы отец попил молочка — у него в желудке язва, даже хлеба ему есть нельзя, разве что только белого.

— Тятя, хочешь яичка? — спрашивает Мариша, когда отец делает роздых и садится. В кармане у нее вареное, уже облупленное яйцо, которым она собиралась кормить Лидку.

Отец качает головой. Яйцо достается Романку, который целиком отправляет его за щеку. Мать приносит отцу молока, он пьет прямо из глиняной махотки, но пьет осторожно, как будто молоко ледяное, с погреба. Но оно-то теплое, только что процеженное.

— Слава тебе, господи! — говорит Евгенья, глядя из-под ладони на вспаханный и наполовину уже засаженный гон.— Маленечко совсем осталось.

...Боже мой, какое счастье, когда у маленького человека есть отец и мать, есть родной дом! Вон он виднеется за цветущей грушей. А мать-то какая хорошая! Никогда никого черным словом не обзовет, а все «господи» да «господи»... Отец тоже матерком ругается совсем мало, не то что другие мужики. Маришка у него любимая дочка, он жалеет ее даже больше, чем своего первого, Романка. Ох, если бы можно было всегда быть маленькими, совсем не вырастать!..

Мариша часто задумывалась над тем, почему Анатолия не одолевают детские воспоминания. Охотнее он вспоминал, как служил в армии, как учился на шофера, как «калымил» на целине. Из сельской жизни он даже кинофильмов смотреть не любил, за исключением, может быть, только «Свадьбы с приданым». А Мариша три раза ходила на «Простую историю», привелся бы случай, охотно пошла бы и в четвертый. Ей казалось

порой, что, если бы не брат Романок со своей Сильвой, она бы осталась жить в Орловке и, глядишь, могла бы стать такой, как героиня «Простой истории», все бы ее уважали, ценили!..

Но и сейчас Марише грех было жаловаться на судьбу. На девятом году работы на швейной фабрике ее повысили: сделали контролером ОТК. Сама она не видела в себе качеств, необходимых для того, чтобы стать хоть и маленьким, но начальством. По наблюдениям знала, что тут нужен твердый характер и крепкое горло. Однако хороших работников принято поощрять и продвигать, и никто Маришиных доводов слушать не стал.

— Ничего, ничего, Огонькова! Поможем, направим.

А растеряться было от чего: Маришина предшественница, пожилая ворчунья, поблажки никому не давала. Тем более что ни подружек, ни приятельниц среди работниц не имела. Поэтому она беспощадно откидывала юбки, сарафаны, придиралась к каждой плохо закрепленной пуговице, к высыпающейся петле, к необработанному шву. Сама она в годы своей молодости служила белошвейкой в частной мастерской у какой-то мадам, а там делом не шутили.

— Бывало, жалованье получали, так руку целовали.

— Да черт с вами, что вы целовали! — отзывалась какая-нибудь молоденькая работница.— Чушь какую-то порет!

Когда узнали, что старая мастерица уходит на пенсию, в цехе было настоящее ликование. Обычно тугие на пожертвования, тут все сложились по трояку. Ликование усилилось, когда узнали, что контролером ОТК будет Мариша Огонькова.

Мариша не хуже своей предшественницы видела все недоделки, весь брак, всю халтуру, но швырять обратно у нее не хватало духу. Уже в первый день работы на новом посту к концу смены она расплакалась. Утешать ее сбежались всем цехом.

— Девки! — сказала вдруг одна швея-мотористка.— Давайте, правда, совесть поимеем! Вы посмотрите — ведь мы человека до слез довели!

На какое-то время необработанных швов, кривых строчек стало меньше. Но ненадолго. Цеховое начальство дало понять Марише, что чрезмерные строгости при-

ведут к нежелательным результатам. Тем более что заказчики любую продукцию рвут с руками, в магазинах за этими самыми платьями и сарафанами стоят очереди, а оторвавшуюся пуговицу каждая женщина в состоянии сама пришить, если она не безрукая. А безрукая, так ей и никакого платья не надо.

— Тогда зачем же вы мне деньги платите?— спросила Мариша.

Ее опять утешили, направили, подбодрили. К концу квартала она получила большую премию, что возместило ей разницу между ее прежним заработком и зарплатой контролера ОТК. Постепенно Марише пришлось усвоить, что существует брак недопустимый и брак, на который можно закрывать глаза, особенно в конце месяца. Привычка эта далась ей нелегко, потому что раньше сама она всегда старалась работать хорошо, независимо от сроков. Но все же она понимала, что быть слишком придирчивой у нее не всегда есть право: оборудование на фабрике пора бы менять, ведь на таких машинах еще при Иване Грозном шили... И нитки год от года хуже. Еще если ленинградскими отдел снабжения обеспечит, так это слава богу. Этими шить можно.

— Товарищ Огонькова у нас прекрасно справляется,—отметил на производственном совещании начальник ОТК фабрики. — Мы не ошиблись, что именно ее выдвинули.

Мариша же, вместо того чтобы обрадоваться, даже побледнела немного. Ее раньше так часто хвалили за дело, что зряшная похвала ей была совсем не нужна. Она не без тревоги подумала, что не за маленькие ли руки, которые начальник ОТК в свое время заметил, не за добрые ли серые глаза и улыбку он ее сейчас хвалит. С некоторых пор Мариша стала замечать, что такие качества в цене у мужчин, что не только яркость и бойкость привлекают их.

Как бы в подтверждение этого совершенно неожиданно за ней попробовал приударить один из вахтеров на проходной, по развязности не уступавший молодому Анатолию, но тот был красивый, а этот не сказать чтобы уж очень да и в летах.

— На, почитай,— сказал вахтер Марише и подал какую-то записку.

Она, недоумевая, тут же развернула и прочла:

Сижу я за столом
С поднятым пером,
Хочу вам, Марина, привет написать,
Нету сил в глаза сказать.
Хочу повидаться с тобой
В общий день выходной.

— У вас внуков-то нет еще? — почти грубо спросила Мариша.— Вы бы им лучше стишки писали.— Но тут же сбавила пыл и добавила: — Извините, конечно...

Другая обязательно рассказала бы в цехе девчатам и показала бы эту записку, чтобы похохотали. Но Мариша порвала и бросила в ящик для мусора. После она пожалела: все-таки, хоть и смешно, но это было первое письменное признание в любви. На словах она кое-что слышала, но писать — никто не писал.

— Толя, ты стихи читать любишь? — спросила она дома мужа.

— Какие еще стихи? — отозвался он удивленно.— Про тебя, что ли, чего написали?

Ему очень льстило, что жена его теперь не просто Мариша, а кое-кому и Марина Парфеновна. Преисполнившись уважения, он взял на себя домашние дела: сам покупал «жранину», сам варил, пробовал даже стирать. Соседям он рассказывал, что жена у него не простой контролер, а старший, почти что крупное начальство. Дома теперь Маришу ждал накрытый стол. Анатолий стоял и ждал, чтобы жена его похвалила.

— Мясо вроде хорошее, при мне рубили.

— Все хорошо,— говорила Мариша.— Спасибо тебе, Толя!

Анатолий за годы их совместной жизни немного выцвел и полысел, но главное — стал неожиданно очень покладистым. Марише он вопреки всем предположениям оказался верным спутником. Говорил, что за эти годы ни к одной чужой бабе даже близко не подошел. Мариша порой сама удивлялась, как это ей без всяких усилий удалось так смирить этого мужика, у которого сама она могла оказаться под сапогом. Ни водки, ни вина Анатолий почти не употреблял, уже это одно было вот какое счастье! Особенно если учесть, что в их большой коммунальной квартире на Симоновском валу редкий день проходил тихо-мирно. Маришин муж, прежде совершенно равнодушный к чужим семейным делам, те-

перь все чаще стал выступать в роли усмирителя и примирителя. Соседские ребятишки уже не шарахались от него, а, наоборот, бежали за ним, когда надо было кого-нибудь «привести в чувство».

— За свет не платишь, а в неделю второй раз на бровях приполз,— сурово говорил Анатолий.— Ты смотри, я ведь!..

Его выбрали ответственным по квартире, а потом даже членом домового комитета. Анатолий этим вдруг очень возгордился, сменил кепку на шляпу, модную, с маленькими полями. Место работы он тоже сменил: перешел все-таки на персональную «Волгу», стал возить начальника строительного треста, который был очень заинтересован в квалифицированном шофере. Словом, муж у Мариши был хоть куда! Теперь и она, случалось, подкатывала к своему дому в черной «Волге» с безупречно чистыми сиденьями. Иногда муж отвозил ее и на Большую Полянку, но сам он со времени своего первого визита в эту квартиру так больше и не заходил: понимал, что желанным гостем он там не будет.

Однажды Селиванова, открыв Марише дверь, вдруг обняла ее. Обняла в первый раз за все время их знакомства.

— Опять ты нас бросила, Огонек? Нет, это просто безобразие!..

Слезы брызнули из Маришиных глаз, до того тронула ее эта ласка, которой она ждала много лет.

Валентина Михайловна в клинике уже больше не работала. Сказала, что с нее хватит. Стала вести занятия по хирургии в медицинском училище.

— Девки неплохие, только дуры. Вчера одна подходит и спрашивает: «Валентина Михайловна, вам луку не нужно? У меня мама в овощном магазине работает».

Мариша решила похвастаться, рассказала, что заканчивает трехмесячные курсы повышения квалификации мастеров и работает уже старшим контролером ОТК. Сообщая об этом, Мариша как-то застеснялась и невзначай взглянула на себя в зеркало: с возрастом и лицо и фигура ее немножко округлились, щеки стали еще добрее и совершенно не было в ней ничего начальственного. Однако Селиванова ее тут же одобрила:

— Молодец, молодец, Огонек! Так держать!

Екатерина Серапионовна отправилась ставить чайник, и тогда Селиванова сказала Марише:

— Ты знаешь, мне что-то очень не нравится наша старуха.

Через несколько дней Валентина Михайловна поместила свою соседку в бывшую Екатерининскую больницу. Когда Мариша явилась туда ее навестить, палатные няньки сказали ей:

— Интересная бабушка-то какая: все читает да пишет. Родственница, что ли, твоя?

— Да нет,— сказала Мариша.— Просто очень хорошие отношения у нас.

Няньки переглянулись: одна старуха глубокая, другая вроде еще совсем молодая, а вот поди ж ты, отношения хорошие. Не больно сейчас кому старухи-то нужны.

Скончалась Екатерина Серапионовна на восемьдесят четвертом году жизни. Селиванова и Мариша тяжело и молча пережили эту смерть. Валентина Михайловна, может быть, впервые в жизни растерялась, так что хлопоты взял на себя Василий Степанович, проявивший и на этот раз повышенную чуткость. Этому симпатичному старичку, казалось, износа не будет. Собственно, его даже старичком нельзя было назвать.

После похорон он пригласил Валентину Михайловну и Маришу к себе в комнату. На столе стояла хорошая закуска и пирожки, которые Василий Степанович принес из «Праги». Как человек достаточно воспитанный, водки он перед дамами не выставил, а налил им сухого вина. На лице у Селивановой Мариша прочла тревогу: та, видимо, боялась, что сейчас любезный хозяин начнет произносить речи, посыплются ненужные слова... Но Василий Степанович и тут проявил достаточно такта: несколько лет жизни в близком соседстве с Валентиной Михайловной научили его многому.

— Хорошего человека мы все потеряли,— только и сказал он.

— На этот раз, пожалуй, вы правы,— заметила Селиванова.

Ох, какая же она! А когда это Василий Степанович был не прав? Просто у Валентины Михайловны была такая привычка — никого к себе близко не подпускать.

Когда поминальная трапеза подходила к концу, Селиванова вдруг сообщила с неожиданным дружелюбием:

— Знаете, товарищи, мне опять предлагают собаку. Но у нее что-то уж слишком много медалей. Я боюсь, она будет выглядеть гораздо более заслуженной, чем я.

После смерти Екатерины Серапионовны в квартире на Большой Полянке опять повесили сургучную пломбу на одной из дверей. Прямых наследников у Екатерины Серапионовны не было. Единственная внучатая племянница, которой никто раньше в глаза не видал, пожаловала через несколько недель. И проявила полное безразличие к оставшимся после покойной тетки вещам. Мариша с ее согласия взяла несколько книг и поясное зеркало в резной раме, которое всегда ей очень нравилось. Это было льстивое зеркало: оно любого человека делало красивее. И еще ей досталась случайно уцелевшая чайная чашка тонкого фарфора, из которой когда-то Екатерина Серапионовна в первый раз угощала ее чаем. Что касается мебели, то пришла дворничиха с мужем и выволокла грушевый гардероб, потом вернулась за буфетом.

Снова освободилась комната. На этот раз обитателям квартиры на Полянке не повезло: к ним подселили не жильца, а жиличку. По определению Василия Степановича, не очень контактную, а по словам Селивановой — просто сволочь. О том, чтобы опять взять собаку, теперь уже не могло быть и речи.

— Что же она такое делает? — шепотом осведомилась Мариша, думая, что новая соседка в чем-то грубо нарушила внутренний распорядок.

— Да ничего особенного,— сказала Селиванова.— Просто рожа противная. Это нам со Степанычем подарок от исполкома к двадцатилетию со Дня Победы.

Мариша улучила момент и взглянула на «рожу». Действительно, приятного было мало, но Селиванова все-таки преувеличивала опасность. Женщина эта, по-видимому, досыта наговаривалась на службе — работала диспетчером в автопарке,— поэтому молчала дома. Но не было никакой гарантии, что когда-нибудь она все-таки не заговорит.

Как раз в связи с приближением двадцатилетия По-

беды Селивановой предложили отдельную квартиру в новом доме где-то в районе Зюзина.

— Не подумаю,— сказала Селиванова Марише.

— А почему же?

— Потому что не хочу. Хотя бы из-за одного названия. Зюзино! Мне не так много жить осталось, чтобы я половину времени проводила в городском транспорте.

Это, конечно, было сказано для красного словца: до смерти ей было далеко, она по-прежнему нравилась мужчинам, вызывала большую симпатию у своего соседа. Мариша заметила и то, что отношение самой Валентины Михайловны к Василию Степановичу стало более теплым и доверительным. Одно время Марише даже начало казаться: не закончилось бы все это свадьбой. Селивановой шел пятьдесят пятый год... Мужская поддержка ей бы очень не помешала. Но Селиванова как будто догадалась, о чем думает Мариша, и сказала:

— Ты знаешь, Огонек, этот Степаныч совсем неплохой старик, хотя и догматик.— Вздохнула и добавила:— Но, понимаешь, не могу!.. Ведь я кое-что хорошее в жизни повидала. И больше всего мне не хочется быть смешной. Признайся, в этом ведь было бы что-то комическое.

2

Селиванова так и осталась жить на Большой Полянке, на улице, лучше которой, по ее мнению, быть не могло. А Маришу ждало новоселье: людный и лишенный удобств дом-барак на Симоновском валу был назначен к сносу. Мариша и Анатолий в числе других жильцов получили ордер на однокомнатную квартиру в только что отстроенном доме. Это был еще не просохший после маляров огромный панельный дом в мелкую сеточку, с застекленными подъездами и торцевыми лоджиями. В планировке его ощущалась какая-то несправедливость: малосемейные, такие, например, как Мариша с Анатолием, получили квартиру с лоджией, чуланом и большой кухней, а те, у кого было по двое детей, почему-то и без лоджии, и без чулана, и с тесной кухней.

— Считай, повезло раз в жизни,— довольно сказал Анатолий, оглядывая пустую квартиру.

Из окон десятого этажа виден был почти весь район: знаменитый завод имени Ленинского комсомола вдали, поближе — мясокомбинат.

На Симоновском валу, на первом этаже, они прожили полных четырнадцать лет. Были и горькие минуты, но в целом прожили так, как можно пожелать многим: не ссорились, не бранились, не попрекали друг друга прошлым, мирились с неудобствами и ладили с соседями. А главное, став старше, привязались друг к другу.

Если у Мариши остались некоторые сожаления об их первом приюте, о маленькой комнате с белым полом и завешенным от пешеходов окошком, то у Анатолия — никаких. Квартира здесь была действительно отличная: обои в нежный цветочек, голубой пластик на полу, кафель в ванной и в кухне, белая плита... Это вместо той, на гнутых ногах, черной, заставленной баками и ведрами, облитой чьими-то щами. Правда, Мариша в ту старую, общую кухню старалась в час пик не заходить. Вставала пораньше, часов в шесть...

— А это для чего, Толя? — спросила она, показывая какой-то черный металлический предметик.

— Чтобы второе блюдо не подгорало. А это вот под бак.

Все-то он знал, словно век жил по комфортабельным квартирам. А для Мариши все было ново: и цветные краны, и рогатые шпингалеты, и шнурочки, за которые следовало дергать, чтобы зажечь свет. И она сейчас себя чувствовала не только счастливой, но и растерявшейся.

— Ну, ты чего это? — ласково спросил Анатолий.

— Вот бы мама моя поглядела!..— сказала Мариша.— Когда я совсем маленькая была, у нас печь топилась по-черному. Потом уж тятя трубу вывел.

Стояла сухая и теплая июньская погода. Мариша с Анатолием перевезли свои вещи, которых набралось порядочно, но выкинуть что-нибудь было не в Маришиной крестьянской натуре. А подарить что-то из скарба было некому: родня далеко и вроде в старье и не нуждается. Была некоторая горечь и в том, что никто из этой родни не видел сейчас Маришину новую квартиру.

Вскоре после переезда явились с поздравлениями мо-

лодые работницы со швейной фабрики, принесли подарок к новоселью: фужеры и рюмки в красивых коробках.

— Девочки,— растроганно сказала Мариша,— зачем же вы так потратились? Мы ведь и не пьем...

— Просто для красоты в сервант поставите. Это же чешское стекло, что вы, Марина Парфеновна!

Девчонки сами извлекли из коробок фужеры и рюмки, протерли и расставили по столу. Июньское солнце переливалось в голубых и розовых гранях, как будто налили в эти рюмки что-то искристое и сладкое.

— По секрету, Марина Парфеновна, сто двадцать отдали. Фабричный комитет семьдесят пять рублей выделил, остальное собрали.

Было уже поздно, когда снова раздался звонок. Мариша вздрогнула: она еще не привыкла к звонкам, у них на Симоновском валу в дверь просто стучали. Появилась молоденькая и эффектная Катя Полуничева, сразу стала искать глазами, во что бы поставить большой пучок гвоздик.

— Я знала, что к вам девчата собираются, но я хотела персонально.

Анатолий запрятал босые ноги под койку. В первый раз в жизни он как будто сконфузился. Бочком пробрался к двери на кухню поставить чайник со свистком, импортный, который ему тоже подарил кто-то из сослуживцев.

— Спасибо тебе, Катя, садись. У нас тут пока еще...

— Не все сразу, не все сразу, Марина Парфеновна.

Мариша смотрела на Катю и улыбалась. Четыре года назад, во время летних отпусков, Марише дали в помощницы эту самую Катю. Девчонка, как все девчата в девятнадцать лет: не очень организованная, не шибко внимательная, к труду не привыкшая. Рабочего халата Катя носить не пожелала, появлялась в платье из ткани «космос», до того коротком и узком, что ни нагнуться, ни разогнуться. Платье это было, прямо сказать, не для рабочей обстановки.

— Почему вы, Марина Парфеновна, никогда меня насчет моей личной жизни не спросите,— улыбаясь, заметила однажды Катя.— Это вы такая недушевная?

Мариша видела, что девчонке просто очень хочется поболтать. А время было горячее, конец месяца, да еще

квартального. На контрольном столе лежит груда неклейменых бирок, громоздятся стопы штапельных халатов, и если на каждый хоть по полминуты, и то до конца смены не переглядишь. Тем не менее Мариша спросила:

— А что же у тебя, Катя, случилось в твоей личной жизни?

Как Мариша и ждала, ничего особенного не случилось. К Катиной болтовне она постепенно стала привыкать, делу это как будто бы и не очень мешало. Они проработали вместе больше двух месяцев. Катя побаивалась, что придется расстаться, что ее опять пошлют в цех, на упаковку.

— Марина Парфеновна, может, вы за меня замолвите словечко? Мне очень хочется в ОТК остаться. Я бы старалась, честное слово!

Мариша уже догадывалась, что Катиному самолюбию льстит, что она «контролер». И когда у нее спросили насчет Кати, сказала, что надо ее обязательно придержать в ОТК, что из нее контролер может получиться хороший, потому что глаз у этой девчонки острый.

Мариша явно перехваливала, но решила, что если оставят ей Катю в помощницы, уж она ее до ума доведет. Однако их обеих ждало разочарование: на место контролера ОТК метил кто-то другой, у кого была заручка в отделе кадров. Все-таки зарплата гарантированная, большая прогрессивка, а чтобы, например, за машиной или на раскрое столько заработать, хорошие руки нужны.

— За что же вы человека обидеть хотите? — спросила Мариша у своего начальства.— Девчонка старалась...

Был слух, что Катя с фабрики уходит, что те два года, которые она на фабрике «оттрубила», ей были нужны для поступления в вуз. Но после очередного трехнедельного отпуска она вернулась в цех.

— Здрасьте, Марина Парфеновна! А я на Селигере была. Хотите, фотографии покажу? Это я в купальнике...

Почему она с этими фотографиями пришла к Марише, а не к кому-нибудь из девчат, это Марише было неясно. Но она обрадовалась, что Катя опять здесь.

— Треп идет, что я в текстильный провалилась,—

сказала она как-то Марише.— Представьте, я даже заявление не подавала. А к вам у меня просьба... Я перехожу на пошив, поучите меня немножко, вы же такой мастер!

Мариша заверила, что поможет. Да не только она, любой поможет. Швея — хорошая специальность на все времена: сколько ни шьют, а все не хватает.

Сейчас, когда Катя пришла с пучком гвоздик, она уже перевалила на второй курс вечернего механико-технологического техникума. Работала не хуже других, но главный авторитет снискала своей деятельностью по линии спорта и туризма. Прошлым летом возила группу девчат-швейниц на Белое озеро.

— Я вам белозерские фотографии принесла, — сказала Катя Марише. — Почему-то на фотографии я всегда хуже, чем в жизни.

Она оставила Марише на память одну из фотографий, чаю пить не стала и умчалась. Принесенные ею гвоздики пахли так крепко, что Анатолий чихнул.

После сегодняшних визитов Мариша долго не могла уснуть. Подняла голову и оглядела комнату, к которой еще совсем не привыкла. В открытую дверь с лоджии врывался прохладный полночный ветер, надувалась и колыхалась занавеска.

«Надо, пожалуй, закрыть,— подумала Мариша,— страшновато что-то». Она, конечно, не того боялась, что кто-то влезет: какие воры на десятом этаже? Но она никогда еще не спала так высоко над землей, почти под самым небом, рядом со звездами, и уже очень давно не ощущала на щеках, на плечах такой тревожной прохлады. Вдруг вспомнилось, как бывало в детстве, когда стемнеет, мать выносила из избы грудную Лидку, чтобы не мешала плачем спать отцу. Маришка выходила тогда вместе с ними. «Господи боженька, да в кого ж она у нас такая оралистая? — покачивая у груди Лидку, тихонько и ласково сетовала Евгенья. — Али кто сглазил нашу девочку?» На воле Лидка постепенно затихала, и мать с маленькой Маришкой сидели тихо возле избы и смотрели на густо-синее небо, искали на нем звезд.

— Это ты все не спишь? — поднявшись на локте, спросил Анатолий.— Спи, Парфеновна!

3

Еще тогда, когда она опоздала на похороны своей свекрови, Мариша подумала о том, что следует все-таки узнавать о жизни своих близких прежде, чем с ними стрясется какая-нибудь беда. После этого Мариша регулярно стала писать младшей сестренке Лидке, отчаянной голове, которая укатила из деревни прямо на Сахалин. Лидка в ответных письмах сообщала главным образом про то, что и почем можно купить на приморской толкучке. Понять, довольна ли сестра своей жизнью, из писем этих было трудно. Но, зная Лидкин характер, можно было предположить, что та не пропадет, даже если и натворит чудес.

Простив прежние обиды, написала Мариша несколько писем и брату Романку с его Сильвой Ивановной. Но ответы невестки были не толковее Лидкиных, тепла же в них не было никакого. По глубокому убеждению Сильвы, они там в деревне мучались, тогда как она, Мариша, тут в Москве как сыр в масле каталась.

Гораздо сердечнее оказались письма Маришиной золовки Раисы из Костромы. Та, по крайней мере, писала от души и каждый раз благодарила за корову. Правда, сообщала, что с сеном больно уж трудно: живет без мужа, кто накосит?

— Что ж нам теперь, косить ей ехать? — заметил Анатолий.

— А хорошо бы! — задумчиво сказала Мариша.

Иногда ночью во сне она видела, как косит. Коса у нее была на маленьком ясеневом косовище, как раз по ее маленьким рукам. Травяной вал получался негустой, прокосы узенькие, и Марише все хотелось размахнуться пошире, но не получалось. Зато даже во сне она чувствовала, как пахнет травой, и ей казалось, что она видит ее зеленой. Такой явственно зеленый цвет, не то что тускло-грязно-голубой, из которого порой бывали сшиты некоторые платья и костюмы, проходившие через Маришины руки.

На письма золовки Раисы Мариша отвечала всегда особенно охотно, без труда находила на это время. Спрашивала про ее детей, заодно и про Шурочку, которая уже закончила семилетку и училась в профтехучилище, тоже в Костроме. Жили они опять вдвоем с ма-

терью, Любка работала на льнокомбинате, зарабатывала неплохо, на вино больше не тратила, собирала дочке на приданое.

Почерк у Мариши округлился и устоялся, а покойная Екатерина Серапионовна в свое время научила ее расставлять самые необходимые знаки препинания. Правда, точки и запятые Мариша иногда экономила, а восклицательным знаком злоупотребляла.

Позднее надобность в переписке с сестрой Лидкой отпала. Жизнь Мариши очень осложнилась в связи с появлением сестры в Москве. Та за эти годы прожила лихую жизнь: уже два раза побывала замужем, имела двух детей от разных мужей. После Сахалина работала поваром на целине, ездила проводницей в поездах дальнего следования. С тех пор как научилась ловчить, подолгу ни на одном месте не задерживалась: урвет кусок, и дальше. Но кусок к куску не прикладывался, настоящей семьи и настоящего дома у Лидки так и не было.

Мариша проявила простительную для родной сестры снисходительность и с помощью Валентины Михайловны Селивановой пристроила Лидку в горничные в один из подмосковных пансионатов.

— Ты что делаешь? — испуганно спросил Анатолий, узнав о Маришиных хлопотах.— Ведь ее же все равно выгонят: хамка она!

Он как в воду смотрел: через полгода Лидку из пансионата попросили. Она не растерялась, сразу устроилась торговать овощами с лотка от большого магазина «Овощи-фрукты» около метро Семеновская. И так как зима и весна в том году были холодные, то Лидка попробовала «греться», брать четвертиночку.

— Гони ты ее к чертовой матери!..— заорал Анатолий, когда свояченица в один прекрасный день явилась на Симоновский вал явно навеселе.

Мариша растерялась, а Лидка сказала как ни в чем не бывало:

— Какой у тебя мужик-то псих! Попробовал бы он у меня рот разинуть!

Тут уж и Мариша не выдержала:

— Да у меня мужик золотой, если хочешь знать! Тебе бы такого. Уж больно ты характер свой распустила.

— А ты пойди-ка постой сама за прилавком, полай-

ся день-деньской с покупателями! — отозвалась Лидка в полной убежденности, что жизнь не задалась по чужой вине.— Люди ведь как собаки стали!

От своих «каторжных» трудов Лидка довольно быстро собрала на спальный румынский гарнитур. Пришла посоветоваться с сестрой и зятем, какой брать: с двустворчатым гардеробом или подождать, когда будет трехстворчатый.

— Что, или много наворовала, в трехстворчатый-то класть? — съязвил Анатолий, который чем дальше, тем больше Лидку не выносил. А ведь женщина она была броская, да и не дура; если бы в руках себя держала, человеком могла бы стать.

Анатолий с Маришей себе пока никакого гарнитура не купили. Спали по-прежнему на кровати с трехпудовым пружинным матрасом, гляделись в зеркало, доставшееся Марише в память о Екатерине Серапионовне. Правда, коврик по открытке Анатолий схлопотал. Однако Лидка была полна иронии:

— На такой койке сейчас и в деревне не спят. Вы бы еще лоскутным одеялом накрылись!

— Ишь ты, буржуйка какая! — разозлился Анатолий.— Тебе не гарнитур, а в тундру бы тебя какую-нибудь загнать, в тайгу!..

Он искренне был обижен за Маришу, которой Лидка, по его мнению, в подметки не годилась.

Но Мариша жалела сестру, надеялась, что произойдет чудо и Лидка образумится. Та по воскресеньям приводила к ней своих детей, которые всю неделю были в садике. Дети были как дети, могли быть и хуже. Мальчику шел шестой год, девочке восьмой. Вся беда состояла в том, что Лидка до сих пор не освободила комнату при пансионате, и администрация пансионата передала дело о выселении в суд.

— Ведь у тебя детей могут отобрать,— сказала Мариша Лидке.— Ты хоть об этом-то подумай.

— Отберут, обратно отдадут. Кому они нужны, мои дети?

Мариша пережила самые гнетущие сомнения, пока не решилась спросить у Анатолия, не согласится ли он взять хотя бы девочку.

Он не закричал, не стал браниться. Но сказал с непримиримой серьезностью:

— Нет, Парфеновна. Я на все согласен: если бы ты даже нагуляла, я бы принял. А тут не могу. Ведь сестричка твоя может такую штуку сыграть: ты привыкнешь, а она обратно потребует. Зачем тебе зря душу рвать?

Возразить Марише было нечего. Она уже ясно поняла, что покоя ей теперь не видать никогда, на все времена. На первых порах она купила две пары валенок для Лидкиных детей и свезла ей их сама. Лидка поблагодарила и убрала эти валенки в трехстворчатый румынский гардероб.

К весне райисполком дал Лидке другую комнату, гораздо лучше той, из которой ее выселили. Торжествующая, она принесла и показала Марише ордер.

— Вот, а ты кудахтала, что на улицу меня выгонят! — сказала она.— В Америке, что ли, живем?

Лидка опять была навеселе. Но сегодня хоть повод был — радость. И Мариша знаком попросила мужа, чтобы не ругался и не выгонял сестру. Та сидела счастливая. Тут же попросила денег на переезд, но Анатолий не дал.

Лидка была сегодня в бодром настроении, поэтому отказом не очень огорчилась.

— Я еще посмотрю, нельзя ли за казенный счет переехать, — сказала она. — Пансионат сам заинтересованный, чтобы я побыстрее смоталась, вот пусть и везут.

На новоселье она приглашала и сестру и зятя. Но Анатолий идти не захотел, а Мариша скрепя сердце отправилась. Все-таки Анатолий был Лидке никто, а она родная сестра.

Пирушка была на широкую ногу, но бестолковая. От хозяйства Лидка отвыкла, ни жарить, ни печь не умела, накупила колбасы и каких-то черствых пирожков. А вина и водки набрать — это уж было совсем не хитро.

— Это сестрица моя,— сказала сильно подвыпившая Лидка, рекомендуя Маришу своим гостям.— Человек она — вот! На большой палец. Но за то я ее не уважаю, что в интеллигентные лезет.

Можно было бросить что-нибудь обидное в ответ, но Мариша промолчала. Она думала о том, что хорошо бы детей хоть на этот вечер увезти к себе. Но не знала, как к этому отнесется Анатолий. В конце концов Мариша

потихоньку выбралась из-за стола, в коридоре отыскала детские пальтишки и стала одевать ребят.

— Пихай скорее сюда ручку,— шепотом сказала она маленькому племяннику.— Чего же ты, как пенек, стоишь?

— Он и в садике так,— бойко заметила семилетняя девочка, очень похожая на мать.— Все оденутся, а он стоит.

Молчаливый и неповоротливый мальчик вдруг чем-то напомнил Марише одного из покойных ее братьев, умершего маленьким еще до войны. Только того Федей звали, а этого Эдиком, Эдуардом.

— Ты его не обижай,— посоветовала она девочке,— он у нас еще маленький.

Лидка расслышала возню в коридоре и вышла из комнаты.

— Это ты куда их? — вдруг, словно отрезвев, тревожно спросила она.

— Целы будут,— коротко ответила Мариша.— А тебе уж хватит пить-то, Лида.

Та долго молчала.

— Хороши у меня родственнички,— наконец сказала она.— Ничего себе, обласкали!..

И вдруг в ней что-то надломилось, Лидка прислонилась к дверному косяку и закрыла глаза ладонью.

— Нянька, не сердись! Не бросай меня. Эти все,— она показала на комнату, где веселились гости,— пришли и ушли, а ты же мне родная сестра, можно сказать, единственная!..

Когда Мариша ввела детей, Анатолий сидел и читал газету. Словно только сейчас Мариша заметила, как сильно облысела у мужа макушка.

— Это мы, Толя...— сказала она.

— Вижу...

Детям постелили на кровати, а сами легли на полу. Долго шептались и решили, что надо срочно Лидку из торговли вытаскивать и устраивать на производство, в крепкий женский коллектив.

— Только к себе на фабрику не бери,— советовал Анатолий,— она тебя кругом оконфузит.

Но Мариша его предостережениям не вняла, конфуза не побоялась и вскоре же повела Лидку на свое производство около Абельмановской заставы. Сама она так

к этой фабрике привыкла, что ей казалось — это самое верное место. Все здесь Маришу знали, все ей сочувствовали и обещали помочь.

На первых порах Лидку взяли упаковщицей, на оклад. Дальнейшая ее судьба целиком зависела от того, как она сама себя покажет. Мариша в первую же смену, как сестра вышла в цех, спустилась в подвальное помещение, где шла упаковка. Лидка молча заколачивала большой фанерный ящик.

— Ты обедать-то пойдешь, Лида?

Лидка хмуро посмотрела на нее и вдруг грубо бросила:

— А ты мне денег дала?

Мариша ничего не сказала, повернулась и пошла. Поднялась к себе, попробовала приняться за дела, но все валилось у нее из рук.

Она не знала, сколько времени прошло. Скрипнула дверца, тихо вошла Лидка.

— Няня, ты уж меня прости!.. Прости, няня!

Сейчас можно было бы наговорить много душеспасительных слов. Но Мариша была не говорунья. Тем более не умела она кричать и ругаться. Она сидела против своей непутевой сестрицы и молчала.

— Как ты на маму-то похожа!..— вдруг промолвила Лидка.— А я, дура, только сейчас разглядела...

Обеденный перерыв еще не кончился, и Мариша повела Лидку в столовую. Та принялась за борщ, ложка подрагивала в ее руке. Она хотя и была обладательницей дорогого румынского гарнитура, но по неделям не ела горячего, закусывая где-то под прилавком чем попало. Здесь же, на швейной фабрике, столовая была очень хорошая, на дотации от фабкома, варили здесь как для себя. И в алый мясной борщ Лидка уронила несколько горьких слезинок.

4

Наивно было надеяться, что в такой день можно будет раздобыть какие-нибудь цветы. Москвичи еще накануне опустошили все цветочные магазины и киоски. На рыночных прилавках не осталось ничего, кроме веточек с молодыми листочками, которые предприимчивые продавцы тоже пытались сбыть по случаю праздника. Но

у Мариши был шустрый муж, и в день тридцатилетия Победы сумел ухватить для нее пучок красных тюльпанов. Тюльпаны эти несколько привяли, потому что Анатолий не очень-то умел обращаться с букетом: пока нес домой, затискал в горячем кулаке, ухватив цветы под самые головки.

Мариша была очень тронута.

— Спасибо, Толя! Ты только не обижайся, я их Валентине Михайловне снесу. Не с пустыми же руками идти в такой день.

Анатолий не рассердился, хотя отдал за эти тюльпаны целых три рубля. Пара цветочков да куст травки — дороговизна! Он так и не мог до конца постичь, что так привязывает его Маришку к этой суровой гордячке-бабе. Неужели только память тех далеких, военных лет? И все же, провожая Маришу, сказал:

— От меня тоже поздравь. Человек всю войну прошел...

— Ну вот, а говорят, что в Москве цветов достать нельзя! — встретила Селиванова Маришу.

— С праздником, Валентина Михайловна.

— И тебя, Огонек хороший мой!..

Решили пойти побродить по Москве. Закашлял в своей комнате Василий Степанович. Приволакивая ногу и постукивая палкой выполз из двери. Маришино сердце дрогнуло: на старике был китель с майорскими погонами. Толстые, тяжелые пальцы никак не могли застегнуть верхнюю пуговицу.

— Нет, нет, сидите дома, голубчик,— сказала Селиванова, когда он попросил, чтобы они взяли его с собой.— На сегодня с вас хватит. Смотрите телевизор, будет прекрасный концерт.

С возрастом характер Селивановой все же смягчился, она уже забыла, что рядом с ней «догматик» и прочее. Видела только, что старый и нуждающийся в опеке человек.

Они с Маришей прошли Полянкой, вышли к Каменному мосту, по набережной повернули к Крымскому. Вместе с ними и навстречу им шло множество народа. Волнение схватило Маришу и не отпускало: все чаще попадались заплаканные лица и сжатые губы удерживавших слезы. У нее самой вроде бы никто не погиб на

фронте. Но разве жизнь ее матери и крошечной сестренки — это ничто в общем горе? А из мужиков у них в деревне почти никто с войны не вернулся.

Марише порой казалось, что все меньше становится тех, кто дорожит памятью войны, многие стали какими-то перекормленными, холодными, враждебно смотрели друг на друга потому, что на всех не хватало всего, чего бы хотелось.

А сегодня она видела людей совсем другими. Город вышел на улицы праздновать и оплакивать. Шли с детьми, молодые прямо из загса. Шли и те, кому по возрасту только сидеть дома.

Какая-то старушка в черном шарфе на белой голове обращалась то к одному, то к другому, спрашивала, не знал ли кто ее сына, Вишняка Колю, двадцать второго года рождения, москвича с Оленьей улицы. Говорила она негромко, наверное, берегла голос: ей ведь предстояло повторять это бесконечно.

— Коле с Оленьей улицы было бы пятьдесят три,— сказала Селиванова.— Ну-ка погоди, вон того человека, кажется, я помню.

Но она ошиблась. Седой полковник догадался, что его принимают за кого-то другого, улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Обознались? — спросила Мариша.

— Обозналась, Огонек, обозналась. Тот вряд ли жив: это ведь было в сорок первом.

Мариша вспомнила палату, заставленную койками, жесткие одеяла, желтые от крови простыни. Стук тарелок, солдатские голоса, просящие добавки к ужину или курева. Смятение лежачих раненых перед отправкой: «Девчоночка, куколка, скажи, куда нас таких?..» Ужас перед сыпавшимися вокруг госпиталя зажигалками и осколками фугасок: «Да что же ты делаешь, гад, б... немецкая?.. Ну погоди, встанем!..» Вспомнился и голос Селивановой, только что закончившей на глазах у Мариши страшную операцию: «Ну, крошечка-хаврошечка, хватила страху?»

Да, страху Мариша в жизни хватила немало, но он ей душу не обморозил. Обижали ее, но она никому напасти никогда не пожелала. Встречались и такие, что учили тянуть к себе, хитрить — она не поддалась. Были бы дети, она стала бы хорошей матерью, но не судьба,

Зато эта же судьба свела ее с хорошими людьми, вот с Валентиной Михайловной. Что-то ведь было у них с Маришей общее, а то бы и не держались друг за друга столько лет. И ведь могла бы Селиванова присоветовать ей другой путь, полегче, а она как раз одобрила тот, который выбрала Мариша,— рабочий.

...В этот праздничный вечер они так никого и не встретили, кто бы их узнал и кого они сами могли бы узнать. Врачу военных времен трудно помнить в лицо своих пациентов. Ей не до лиц тогда было, она смотрела на покалеченные руки-ноги, на раны и ожоги. Но вот те, кому она помогла, кого спасла от смерти, эти-то люди очень хорошо ее лицо должны помнить. Жаль, что никто ее не встретил, не окликнул.

— Пожалуй, можно и домой, Огонек,— устало сказала Селиванова.— Для меня многовато. Старая я стала.

Анатолий в этот вечер долго и тревожно ждал свою Маришу. Впервые он испытал досаду, что не родили его лет на пять пораньше: сейчас бы тоже звенел медалями, и жена не оставила бы его в такой вечер сидеть одного.

Бродя по пустой квартире, Анатолий невольно вспоминал отца и двух братьев. Про отца и старшего брата они с матерью так ничего и не узнали, а второй брат, двадцать пятого года рождения, похоронен был в Пинской области. Мать с сестрой Раисой ездили на его могилу, а он, Анатолий, как раз в этот год призывался. Мать потом ему рассказывала, как они верст тридцать шли по болотам и, если бы не белорус-проводник, наверное, и не дошли бы: только зимой туда была дорога, а их понесло осенью.

Анатолий подошел к окну. Отсюда, с десятого этажа, отлично видны были праздничные ракеты, взвивающиеся над Москвой-рекой.

Там где-то ходила сейчас в людской толпе его Маришка, его Парфеновна. Хорошо было бы пойти и встретить ее, но велика стала Москва, разве что невзначай встретишь знакомое или родное лицо. Это не деревня, где всегда знаешь, по какой тропке ходит твоя любезная. Анатолий вздохнул...

— Это ты что же в потемках сидишь? — вдруг спросил у него за спиной женский голос.

Анатолий вздрогнул и обернулся. Это была не жена, а свояченица. С некоторых пор Лидке был доверен ключ от квартиры. Вот она сейчас и явилась.

— Фронтовичка-то твоя загуляла где-то? — миролюбиво спросила Лидка.— Может, и нам с тобой по рюмочке?.. Да ты не таращь глаза-то: у меня только портвейн.

— Эх ты, кукушка! — ворчливо сказал Анатолий, намекая на то, что Лидка в такой вечер ушла от детей. Правда, дети-то теперь были уже и не дети: младший переходил в шестой класс.

— Давай хоть чаю попьем,— предложила Лидка.

— Чего же мы будем с тобой чай пить,— сказал Анатолий.— Погоди, сейчас о н а придет...

5

Тем же летом сестры Огоньковы наконец вновь ступили на веневскую землю. Сошли с поезда, пошли обновляющимся районным центром, который своей типовой застройкой напомнил Марише черемушкинские и зюзинские одноцветные пятиэтажки. У рынка, где опять, как в годы Маришкиного детства, шла оживленная яблочная торговля, сели на автобус. Вдоль шоссе, насаженные уже после Мариши, качались и сквозили высокие молодые ветлы. Водитель то и дело останавливался и подсаживал желающих — выполнял план, да и ходить пешком теперь уже никто не хотел.

У поворота на Орловку Мариша с Лидкой вышли. Стояла вторая половина августа, хлеб был скошен, солома заскирдована, а картошка цвела могучим фиолетовым цветом, грузные плети ее клонились к черной, как уголь, земле.

У края деревни они остановились... Страшно было подумать, как далеко позади осталось детство. Марише шел сорок седьмой, Лидке стукнуло сорок — уже никак не скажешь, что молодые. Но ведь еще и не старухи: у Лидки еще ой какие планы были! Марише же сейчас хотелось одного — скорее увидеть их дом.

Он стоял над глубоким зеленым яром, под двумя сильно разросшимися ветлами. Брата и его семьи здесь уже не было: Романок работал снабженцем на новом химкомбинате, Сильва пробилась в директора школы и

получила казенную квартиру. В бывшем доме Огоньковых жили сейчас совсем чужие люди, жили много лучше, чем когда-то сиротская Евгеньина семья. Огород и сад обнесены были оградой на бетонных столбах, крыша покрыта шифером, к южному боку дома пристроена была застекленная терраса.

Террас и шиферных крыш вообще в Орловке сейчас было очень много. Там, где когда-то с великими трудами отстраивали перед войной свои домишки погорельцы, теперь наставили кирпичных домов с высокими, недеревенскими чердаками, которые именовались здесь мансардами. Туда пускали дачников и наезжавших на лето родственников. Мариша удивилась, как много торчит над крышами свежих ольховых шестов — антенн: и здесь у всех телевизоры.

Орловка давно перестала быть голой. С тех пор как отменили налог на сад, опять по черным огородам насадили яблонь, вишен и дуль-тонковеток. Сейчас вишни были уже обобраны, только в густой их зелени перепархивали воробьи, доклевывали остатки. А яблоки и груши висели, ждали своего череда. Сладко-сладко пахло белым наливом, казалось, что самые крупные яблоки вот-вот лопнут и брызнут соком. В одном из садов стояла под яблоней оранжевая детская коляска, как солнечный зайчик. Верх у коляски был поднят, и Мариша услышала, как гулко упало на него и скатилось на землю крупное яблоко.

Сестры пошли Орловкой. Лидка приехала страшно нарядная, но сразу же была разочарована: тут были одеты не хуже нее. Навстречу им попалась по-московски стриженная девушка в модном костюмчике, потом выбежала бывшая подружка, теперь зоотехник, в шелковом платье бледно-сиреневого цвета. Правда, в туфлях никто сегодня не рисковал выйти: накануне был сильный дождь, тропинки развезло, и трава до сих пор была сыра. Но ходили не в тех тяжелых, цвета бурого подмосковного угля, литых резиновых сапогах, в которых проходила свою юность Мариша, а в легких, разноцветных: голубых, красных.

Может быть, за всем этим и таились какие-нибудь печали и недостатки, но Марише родная деревня показалась просто прекрасной.

Лидка была настроена более прозаически.

— Зайдем? — спросила она, остановившись против магазина.

Но Мариша в магазин не пошла, повернула к кладбищу.

...Могилка Евгеньи Огоньковой заросла густой травой, оградка погнила, готова была упасть, крест еще кое-как держался — чья-то добрая чужая рука подперла его жердочкой. Мариша невольно вспомнила, как, бывало, пела над ней и над младшими ребятишками мать, укладывая их на ночь:

А где девки? Замуж вышли.
А где их мужья? Померли.
А где их гроба? По́гнили.
А кто по им плакал?
Два волка мохнатых
Да две курицы хохлатых...

Но не Мариша упала на могилу и заплакала. Безутешно разрыдалась вдруг Лидка, потому что на кладбище чаще оплакивают собственные ошибки и беды, чем память тех, кто спит тут мертвым сном.

— Ох, Лида!..— сказала Мариша.— Погляди, как облака торопятся. А небушко за ними синее... Как детьми мы глядели, такое и сейчас. Привези сюда своих ребят, пусть тоже поглядят.

Лидка вытерла глаза, вздохнула. Ее дети были городские, воспитанные по яслям и детским садикам. Сытые, обутые, одетые, они все-таки не видали такого неба.

Обратно сестры отправились не деревней, а полем, где тоже, как и в детские Маришины годы, наливалась густо-зеленым соком картофельная ботва и выспевали в земле крупные клубни в черной коже. Мариша вспомнила, что вот за этим пригорком раньше была зеленая рощица из лозинок и орешника, в которой попадались желтые съедобные грибки — ребячья радость. Сейчас рощицы что-то не видно было, везде кустилась картошка. Но над местом этим и сейчас перепархивали птицы, как будто недоумевая: где же это они тут раньше свивали свои гнезда?

ТАЙНА ВКЛАДА

Рассказ

1

Скорым поездом Москва — Нижний Тагил ехал Гена Иванов, двадцатипятилетний слесарь-инструментальщик одного из московских машиностроительных заводов. Из экономии средств Гена взял место в общем жестком вагоне. Полка ему досталась боковая верхняя — самое противное дело.

Если бы он направлялся в служебную командировку или же в отпуск, неудобства пути, возможно, и раздражали бы. Но у Гены причина была совсем другая: он ехал на похороны, поэтому вовсе не обязательно было ему располагаться в этом вагоне как барину.

Этими соображениями он поделился с пассажиром, который сидел под ним на нижней полке.

— Хороший человек был,— сказал Гена.— Вернее сказать, женщина хорошая.— И тут же грустно сострил: — Но ведь женщина тоже человек, верно?

— Возможно,— согласился нижний.

— Не возможно, а точно,— наставительно сказал Гена.— Я вас не побеспокою?

Он спрыгнул вниз и отправился в буфет. Денег у него с собой было ровно тридцать рублей. Жена Шура вообще хотела дать только двадцатку, но теща вмешалась и сказала:

— Как же ты так, Шура!.. А если на нашу помощь рассчитывают?

Теща у Гены была душевная. Что есть, то есть.

Из буфета Гена принес две бутылки минеральной

воды и пару бутербродов. Поел. Потом рассказал нижнему соседу, как он однажды отравился купленным у лоточницы пирожком. И что самое удивительное, его трехлетний сын Аскольд тоже съел, но с ним ничего не случилось, а ему, Гене, даже дали больничный лист.

— У вас уже сын имеется? — удивился сосед.

— Конечно,—сказал Гена.— Почему бы ему не быть?

Нижний улегся спать, а через проход сидели такие угрюмые соседи, что, казалось, они вообще русского языка не понимают. У Гены были с собой игральные карты, но найти, с кем играть, предстояло завтра. Нижний сосед для игры явно не подходил.

— Читали «Главы из блокадной книги»? — спросил у него Гена.— Жуткое дело, правда?

— Про что там?

— Как про что? Блокада... Голод, холод...

— Нет,— сказал нижний,— не читал.

Гене не понравилась такая черствость, однако он пожелал этому черствому спокойной ночи и полез на свою верхнюю боковую полку. При мысли о том, что ехать ему двадцать с лишним часов, он громко вздохнул. Потом вздохнул вторично, когда вспомнил, что пропустит три, а то и четыре серии телевизионного фильма.

Пришла проводница собирать деньги за постельное белье. Гена дал рубль, как от сердца оторвал: надо было разбивать первую десятку. Но проводница ему понравилась. Поэтому, когда она, обойдя весь вагон, вернулась в свое купе, Гена опять спустил пятки с верхней полки.

— Я вас не побеспокою? — спросил он нижнего.

Тот не ответил, и Гена с максимальной осторожностью подался вниз. Заглянул в служебное купе.

— Девушка, я хотел стаканчик...

— Начинается! — сказала проводница.

— Вы не так поняли. У меня минеральная.

Гена почувствовал, что его не выгонят, сел и стал объяснять, куда и зачем едет.

— Ну что же,— сказала проводница,— главная задача — на поминки не опоздать.

— Поминки меня не волнуют,— покачал головой Гена.— Просто хорошая женщина была... Я уважаю женщин, они труженицы. Вот вы, например...

Он просидел у проводницы за полночь, получил крепкого чаю. Взять деньги за сахар она отказалась.

— У вас горе, не хватало еще, чтобы я с вас копейки какие-то получала.

Гена вернулся в вагон и попытался настроить себя на настоящую грусть, представить, что у него действительно горе,— нечего бродить по вагону и мешать спать людям, которые и так находятся здесь без особых удобств.

Проводнице Гена сообщил, что у него умерла тетка. А на самом деле это было совсем не так: даже и не дальняя родственница. Для Гены гораздо выгоднее было бы сказать правду, поскольку человек выглядит благороднее, если едет за тысячу с лишним верст отдать последний долг чужому человеку. А хоронить теток и вообще родственников обязан каждый.

В боковом кармане курточки у Гены лежала срочная телеграмма, которую доставили ему вчера поздно вечером. Дверь открыла теща, она, бедная, впопыхах халат надела наизнанку.

— Иди, Геннадий, а то я ничего не пойму,—сказала она упавшим голосом.

Понять, что в телеграмме, было действительно нелегко. Отправитель на срочность денег не пожалел, а на количестве слов явно сэкономил: *«Связи кончиной прибыть безотлагательно Наймушин».*

Гена все-таки понял, чья кончина. Умерла Матрена Яковлевна Наймушина, у которой он прожил на квартире что-то около двух лет.

В 1972 году Гена окончил профтехучилище и на работу попал в поселок Бабурино, на завод минеральной ваты. Детство его прошло в школе-интернате, отрочество и первые годы юности в общежитии профтехучилища, поэтому казенные койки вызывали в нем что-то вроде аллергии. Он и пристроился к Матрене Яковлевне за пятерку в месяц. Это, конечно, были не деньги, но даже и при этих условиях Гена порой ухитрялся своей хозяйке задолжать. Что касается Матрены Яковлевны, то она его пустила явно не из-за пятерки. Дом у нее был большой, с надстройкой, ветшающий с каждым годом и давший косину на северный, холодный бок. Жила она в этом доме совсем одна. Завод минеральной ваты, на котором Матрена Яковлевна проработала почти сорок лет,

предлагал ей комнату в новом типовом доме, но она всячески открещивалась.

В зимние месяцы верхние комнаты запирали и жили в так называемой «избушке» внизу, где окна защищала высокая завалинка. Каждое утро Гена вносил со двора и сваливал у печи тяжелое беремя шершавых березовых дров. Насчет порядка и чистоты у Матрены Яковлевны строгостей не соблюдалось, но зато всегда было тепло. В «избушке» пахло сухим луком, пареными овощами, а в сенях сеном и кадушками из-под солений. Но Гену эти запахи не угнетали, скорее, наоборот — в них была та домашность, которой ему в детстве так не хватало. Сама хозяйка спала высоко на печи, а Гена этажом ниже — на боковой лежанке. По здешним морозам это было отлично. Одно было требование к постояльцу, чтобы не курил. Матрена Яковлевна боялась пожара. Дом ее был до того сух, что оброни окурок — и пошло! Но Гена как тогда не баловался, так и по сию пору не курил.

Короче говоря, все это было шесть лет назад. Конечно, Гена Матрену Яковлевну хорошо помнил и когда перебрался в Москву после службы в армии, то два раза посылал ей говяжьей тушенки и стирального порошка «Дарья» — это уже по ее просьбе. В памяти его она осталась женщиной хорошей, но без особой отметки, такая, каких много. Она очень была опечалена, когда его взяли в армию. Но ясно было, что жалела больше себя: с Геной ей все-таки было веселее.

После армии он, возможно, и вернулся бы в Бабурино, но в конце срока службы познакомился со своей будущей женой Шурой и благодаря этому попал в Москву. Шура была на два года старше, ярких примет не имела, но взяла лаской. Гену прописали, купили ему костюм, сыграли свадьбу. Он приглашал в письме Матрену Яковлевну, но она не приехала, сослалась на нездоровье, попросила только выслать свадебную фотографию жениха и невесты. Гена не пожалел и послал две: на одной молодые целуются, на другой расписываются в книге актов.

И вот умерла Матрена Яковлевна...

Честно говоря, Гена не совсем понимал, почему уж он так обязан прибыть безотлагательно. В этом чудилось что-то вроде приказа, а приказов Гена

не любил. Но все-таки он сейчас лежал на верхней боковой полке, в ноги ему дуло из двери, в спину поддувало из-под дерматиновой шторки, которой было загорожено замерзшее окно. Очень не хватало Шуры, Аскольда. Разве что только по теще Гена не успел соскучиться.

Он опять стал думать о Матрене Яковлевне. Вспомнил еще, что у нее была большая черная собака, которая ходила за ней повсюду. Когда Матрена Яковлевна сторожила лесопилку, от нее пахло опилками и стружками. Так же пахло и от собаки. Летом Матрена Яковлевна носила из лесу траву и от нее и от собаки пахло травой. Матрена Яковлевна была кулинарка, ее приглашали стряпать на свадьбах, на именинах и прочих праздниках, тогда обе они, и хозяйка и собака, приносили с собой запах сдобного теста. Была у Матрены Яковлевны и большая белая коза с очень длинной мордой и бородой. Один раз Гена расшалился и нарядил эту козу в хозяйскую юбку и кофту. Он думал, что Матрена Яковлевна рассердится, но она усмехнулась и сказала:

— Я думала, ты девку какую под ручку ведешь, а гляжу — это моя Муська.

И вот умерла Матрена Яковлевна...

Утром Гена в вагоне-ресторане перекусил на рубль восемьдесят копеек. Путь предстоял не короткий, стало быть, расходы были неизбежны.

Потом он нашел охотников перекинуться в картишки. Пока ехали до Кирова, Гена выиграл пять раз. Партнеры узнали, что он москвич, и явно его зауважали. Один из них пригласил Гену к себе в гости в Краснокамск, обещал пироги с рыбой, хорошую охоту и баню. Гена отроду не держал ружья в руках, однако прикинулся бывалым охотником и записал адрес. Воодушевленный, он рассказал партнерам о столице, размахе жилищного строительства, о предстоящей Олимпиаде и дал адрес своей квартиры на улице Олеко Дундича, вернее, тещиной квартиры.

В пятом часу вечера Гена вышел наконец из вагона на сильный мороз. Солнце догорало, его алый, неукротимо-огненный щит с каждой минутой как будто сжимался. Северный рабочий поселок дышал белым

снегом и синим холодным воздухом. Пристанционный пейзаж за эти шесть лет почти не изменился, под большим обледенелым мостом все так же синела обширная полынья: сюда стекали теплые воды от завода минеральной ваты, который тонко дымил трубами на высоком заречном берегу. Мохнатая белая лошадь, запряженная в водовозные сани, ждала, пока водовоз начерпает полную бочку. Часть поселка, видимо, продолжала снабжаться водой, кто как сумеет.

Гена огляделся и ступил на гулкий от мороза мост. Прошел шагов с полсотни, когда увидел, что навстречу ему торопится какой-то крупный человек в черной телогрейке и косматых пимах-катанках. Одно ухо его шапки стояло торчком, другое повисло, болталась замусоленная тесемочка.

— Вы не Иванов из Москвы будете? — спросил крупный.

— Я.

Тот подал руку, она была почти горячая: спешил сюда, наверное, на большой скорости.

— Наймушин я. Второй день вас встречаю.

Гена пожал плечами.

— Я извиняюсь, конечно... Только ведь я на ракете прилететь не мог. Как получил телеграмму, так и...

— Понятно, понятно. Вот автобус наш, едем побыстрее!

Раньше, насколько Гена помнил, автобусы здесь, в Бабурине, не ходили. Но удивляться новшествам времени не было. Он протиснулся вслед за Наймушиным в тесную коробку автобуса. Разговаривать здесь было неудобно, так что Гена только исподволь разглядывал наймушинский профиль. Этого человека он почти не помнил. Тот в бытность Гены при Матрене Яковлевне заходил к матери всего раза два-три. На вид этому Наймушину было лет сорок. Впрочем, в определении возраста Гена почти всегда ошибался. Но зато точно определил, что здоровила этот с грязной тесемочкой на ушанке выпивает не помалу. Голубые глаза у Наймушина мигали, в лице прочитывалась та заторможенность мысли, которую Гена сам нередко испытывал. В то же время сын был похож на свою покойную мать и голубыми глазами, и губами, и припухлыми надбровьями. И Гена пожалел его.

— А я вас по-другому представлял,— вдруг сказал Наймушин, повернувшись к Гене.— Я думал, выросли, а вы совсем пацан.

Это Гене не понравилось. Может быть, в сравнении со здоровилой Наймушиным он и выглядел пацаном, но сам он на свое телосложение и рост не жаловался. Просто Гена сильно замерз в своей легкой курточке, оттого, возможно, выглядел по-ребячьи.

У Долгой слободки, которая была переименована, но упорно сохраняла свое название, Наймушин и Гена вышли из автобуса. Здесь и находился дом Матрены Яковлевны. Гена помнил огромный капустный огород, в котором концы гряд тонули в речной воде. Сейчас же все было под глубоким снегом.

Гене осталось только удивиться, как этот ползущий набок дом до сих пор не повалился. Верхнее слуховое окошко выбил ветер, и из него торчал большой ржаной сноп — защита от метели.

Время было еще не позднее, и Гена ожидал, что у дома толпится народ, ждал, что увидит крышку от гроба, еловые ветки на снегу. Но ничего этого не было. Снег у крыльца был чистый, не припечатанный ни одним следом.

Наймушин отомкнул замок на двери. Не только в сенях, но и в самом доме была стужа. Сперва Гена подумал, что не топлено потому, что в доме покойник. И поспешно снял с головы шапку.

Но Наймушин своей затасканной треушки не снял. В кухне и в комнате гроба видно не было.

— Извиняюсь, — шепотом сказал Гена, — Матрена Яковлевна в больнице, что ли?

— Нет,— сказал Наймушин,— уже на кладбище. Восьмой день...

Гене показалось, что этот человек как будто стряхнул со щеки слезу. А может, слезы и не было. Во всяком случае, чаще заморгал.

— Ничего не понимаю...— сказал Гена.— Объясните...

— Сейчас все объясню. Затем и пригласил. Вы садитесь.

Но Гена продолжал стоять. Надо было прикрыть зябнущую голову, но он все держал шапку в руке. «Какой восьмой день, когда телеграмма позавчера посла-

на?» — думал он. И пришел к заключению, что его вызвали сюда лишь для того, чтобы он взял на себя часть похоронных расходов. Ничего себе, придумали! А он, Гена, всего сто сорок в месяц зарабатывает, у Шуры восемьдесят, у тещи пенсия сорок один... Шуре скоро опять в декрет, потом год без сохранения. За Аскольда в детский садик за два месяца не плачено...

— Холодрыга какая в доме! — вдруг грубо сказал Гена.— Дров, что ли, жалко?

Озябшими пальцами он вынул из кармана курточки две красные десятки, положил на стол и пристукнул по ним, как бы говоря, что больше нет и не ждите.

Наймушин торопливо подвинул эти десятки Гене обратно.

— Не надо, не надо!.. А что вызвал, извините.— Он как бы примерялся, с чего же начать. И почему-то перешел на «ты»: — Я тебе сейчас все коротко...

Он рассказал, что сам не застал мать в живых. Был в командировке от охотхозяйства. Приехал, мать уже схоронили.

— Кто же схоронил? — спросил Гена.

— Завод. «Беларусь» с ковшом послали, тот за пятнадцать минут могилу отрыл. А померла она вот в этой самой комнате, хватились только на третий день.

— Она замерзла? — в ужасе спросил Гена.

— Нет, натоплено было. Это за неделю так выстыло. Она, наверное, чаю перепила крепкого. Вспотела...

Гена вспомнил, что Матрена Яковлевна была действительно большая чаевница. Любила пить индийский чай «со слоном»...

— Ну, от чаю не умирают,— недоверчиво сказал он.

— Не от чаю, конечно... Старая уж была.

Наймушин снова заморгал. А Гена думал досадливо: «Хватит уж тебе! Говорил бы, не тянул резину. Тут сам, того гляди, в айсберг превратишься».

— Вот в чем дело-то,— заговорил наконец Наймушин.— От матери сберкнижка осталась, вот тут, на полочке, нашел. На восемьсот пятьдесят рублей. Ну еще проценты, наверное, бежали... Я пошел получить, а мне не дают. И разговаривать не стали: тайна вклада...

— Тайна? — ошарашенно спросил Гена.

— Ага. Но потом я узнал, что там завещание написано. Знаешь, на кого?

— Откуда я могу знать?

— На вас персонально.

— На меня? Почему?

— Вот и я-то думаю, почему? Вы, может быть, деньги ей какие-нибудь посылали?

— Нет, не посылал.

— Вот то-то и есть. А я как-никак помогал. Иначе откуда бы ей столько накопить? Пенсии получала сорок восемь рублей. Это ведь не деньги.

— Не деньги...— машинально отозвался Гена.

Ему вдруг стало немножко страшно, словно его вина могла быть в том, что Матрена Яковлевна умерла и взялись какие-то деньги...

— Не знаю, за что уж мать на меня так взъелась,— продолжал Наймушин.— Я ведь у нее один сын. Жили, правда, врозь, так она сама с женой моей не заладила. Всю жизнь я промеж двух огней... Бабу свою не защищаю, но и мать к старости дуреть начала. Одним словом, женщины!.. Всегда найдут, что не поделить.

Наймушин говорил и туповато-жалобно посматривал на Гену. Тот опять вспомнил покойную Матрену Яковлевну: это надо же, как похож!

— Я думаю, друг, ты как честный человек поступишь. Дорожные расходы я тебе, безусловно, оплачу, даже могу сверх того накинуть.

— Я что-то не пойму,— неприязненно сказал Гена,— что я делать-то должен?

— Получить и...

— Вам, что ли, отдать?

— Ну а как иначе?

Гена надел шапку на замерзшую голову.

— Храбрый ты, однако, человек! Почему ты уверен, что отдам? Все-таки восемьсот пятьдесят!

Гена брал Наймушина «на пушку». Он был абсолютно не в курсе того, будет ли закон полностью на его стороне. Наследство он получал впервые. Если бы Гена сам вдруг отчего-нибудь помер, то оставил бы разве что хоккейную клюшку и шлем, которые «заиграл» в спортивной секции своего предприятия. Еще подаренную цехом к дню рождения электробритву, ну еще носильное, конечно... Только кому оно нужно?..

Наверное, Наймушин посчитал, что Гена дурачится. И попросил:

— Пойдем, а то в шесть сберкассу закроют.

Гена только усмехнулся: сейчас, побежит он! Вообще, что за дела?.. Хоть бы стакан горячего чаю предложил.

— Замерз я,— сказал он,— пойду на вокзал. Завтра будем разбираться.

На улице уже посинело, чуть-чуть посырело и полетел снежок. Гена зашел в гастроном, купил четвертинку, тушку варено-копченой трески с веревочкой. Эта веревочка напомнила ему грязную завязку на наймушинской ушанке, и Гена, чтобы не портить аппетита, сразу эту веревочку выбросил. В вокзальном буфете он добавил к покупкам еще пару вареных яиц и булочку. У него уже рождалась уверенность, что он богатый: ведь подкинет же что-то ему этот хмырь.

— А если он меня разыграл? — спросил сам себя Гена.— Ну я ему тогда!..

Часов до десяти он, подремывая, читал журнал «Вокруг света», за который уплатил еще полтинник. Первая разменная десятка подошла к концу.

Потом Гена решил уснуть. Но ничего не получалось. Он лежал на жесткой лавке и думал о том, что все как-то странно и не похоже на правду. Однако может случиться, что и правда. Гена даже попытался внушить себе, что раз формальное право на его стороне, то почему он должен подарить чужому дяде восемьсот пятьдесят рублей да еще и проценты? Интересно, сколько же этих процентов?.. Гена упрекнул себя в том, что он темный человек: не знает, сколько государство выплачивает вкладчикам процентов.

В то же время он мучительно старался доискаться, за что же ему-то вдруг привалило такое богатство? Ведь это же целый гарнитур «Жилая комната» или импортная стенка «Коперник»!.. Гена зажмурился и даже закрыл глаза шапкой. Создавшаяся ситуация смутно напоминала какой-то зарубежный детектив. Не хватало только, чтобы этот Наймушин пугач какой-нибудь раздобыл. Да кто мог ждать такого сюрприза? Правда, ведь мог же он,Гена, выиграть эти деньги по денежно-вещевой лотерее или по спортлото. Да нет, это тебе не шариковая ручка и даже не кастрюля-скороварка.

Уснул Гена поздно и проснулся рано: часы в зале ожидания показывали без четверти пять. Зал был хоро-

шо обогрет, но Гена, приходя в себя и стараясь вспомнить подробности вчерашнего вечера, почувствовал внутренний морозец.

За большими белыми окнами тяжко прогромыхал длинный товарняк. Гудок электровоза напомнил Гене, что он не на Савеловском вокзале в Москве и что, если он хочет побыстрее вернуться домой, следует запастись обратным билетом. Но единственное окошечко кассы было еще закрыто.

«А тот-то, козел, наверное, всю ночь не спал,— подумал Гена.— Боится небось...»

Сказать, что сам Гена не волновался, было бы неправдой. Но он все-таки даже самому себе казался парнем неплохим и понимал, что в моральном плане права его шатки: подумаешь, тушенки послал два раза!.. И за это наследство? Пусть уж этот Наймушин в грязной шапке получает, черт с ним!..

2

В девять часов утра Гена и Наймушин подошли к районной гострудсберкассе.

— Я тебя тут обожду,— сказал Наймушин.— А ты иди оформляй.

Гена ступил на гулкое от мороза крыльцо и открыл дверь.

— Привет, девушки! — сказал он.— Мне тут получить...

Одна из сотрудниц сберкассы, самая молодая, повернулась к Гене и сказала радостно:

— Ой, Гена!.. Вы уже приехали?

Он таращил на нее глаза.

— Геночка, вы что, забыли меня? А ведь это нехорошо!

— Вспомнил,— сказал Гена.— Вы Маргарита, кажется?

В нем вдруг гулко заговорила совесть: ведь за этой самой девицей он очень здорово приударял, когда жил в соседстве, на квартире у покойной Матрены Яковлевны. Маргарита ему и в воинскую часть писала, но вот почему он бросил ей отвечать, убей на месте, Гена сейчас не помнил. Правда, она-то тогда была еще школьница, десятиклассница...

Сейчас просто необходимо было сказать этой Маргарите хоть парочку хороших слов. Но Гена находился в каком-то обалдении. Однако по всему было видно, что Маргарита на него большого зла не держала.

— Я знаю, зачем вы приехали,— быстро сказала она.— Погодите минуточку!

Она проскользнула за перегородку и появилась оттуда в сопровождении заведующей сберкассой.

— Да, на ваше имя имеется завещание,— сказала та.

Часто те должностные лица, которые выплачивают деньги, делают это почему-то не очень охотно, словно от себя отрывают. Но эта заведующая как будто была полна готовности тотчас выложить деньги на бочку.

Тем более Гена был озадачен, когда она сказала:

— Вам придется прийти в понедельник. У нас сейчас такой суммы нет. Только что почтальоны понесли пенсии. А в субботу и в воскресенье мы не работаем.

— Вот так здрасьте! — сказал Гена.— А я до понедельника не могу.

За спиной его вдруг возник Наймушин, который до этого покорно маячил за окошком.

— Человек ведь из самой Москвы приехал, — сказал он.

— А ты тут при чем? — спросила заведующая.

— Деньги-то ведь мои.

— Интересно! — пробормотал Гена. Поведение Наймушина ему что-то совсем перестало нравиться.

Окружающие не поняли, что Гена имел в виду: не может ли он ждать или возмущается притязаниями Наймушина.

— Хотите, мы вам откроем счет? — предложила заведующая.

— Какой счет, если это мои деньги! — перебил Наймушин, бледный до пота на лбу.— Мы же договорились...

— Это когда же? — вдруг злобно спросил Гена.

Он твердо решил, что денег Наймушину не отдаст.

— Товарищи,— сказала заведующая,— вы уж идите, выясняйте ваши дела, где хотите.

Гена перехватил растерянный взгляд Маргариты, повернулся и вышел из сберкассы. Наймушин тут же последовал за ним.

— Так чего делать-то будем?

Гена раздраженно повел плечами.

— Ты неправильную политику повел. Надо было сегодня требовать. Что мы тут будем три дня торчать?

— Ну не торчи.

— Может, ты не хочешь деньги отдавать?

Гена наглел на глазах.

— Ясное дело!

— Как же так?

— А вот так! — И Гена вдруг завопил: — Какое ты имел право телеграммы давать? На обман пошел!.. Ты думаешь, мне делать нечего? А может, у меня жена больна! И потом я студент-заочник, у меня сессия скоро!

Про сессию Гена врал: он пока только все собирался поступить на заочное отделение в какой-нибудь институт. Но сейчас надо было, чтобы Наймушин понял, с кем он имеет дело.

Сунув озябшие кулаки в карманы курточки, Гена быстро пошагал прочь. Оглянулся, не идет ли за ним Наймушин. Но тот почему-то не пошел, остался торчать около сберкассы, словно мог там себе что-то вымолить. Ухо его ушанки обвисло совсем.

В доме для приезжих Гена получил койку. Там он просидел до темноты, решив на улицу не выходить, чтобы не повстречаться опять с Наймушиным. Не пошел даже в столовую, а попил чаю у дежурной. На добрых женщин Гене явно везло.

На казенной койке у него было достаточно времени поразмышлять о том, как он сегодня утром выглядел сам в глазах Маргариты и других сотрудниц сберкассы. Они-то, конечно, знали, что деньги покойной Матрены Яковлевны достанутся ему так, за здорово живешь. А он-то хорош: «Здравствуйте, девушки. Мне тут получить...» Особенно неудобно было Гене перед Маргаритой: других он первый раз в жизни видел, а той когда-то стихи читал, и даже больше... Господи боже, надо же было так получиться, чтобы свалились на него эти деньги!.. Ведь жил же он без них, не помирал.

Гене хотелось выпить, чтобы не было так паршиво. Но опасение, что если Наймушин ему ничего не подки-

нет, то просто не на что будет ехать домой, останавливало Гену. За койку в доме приезжих тоже пришлось уплатить за трое суток по рублю пятьдесят.

Он задремал, когда в дверь постучали. Подумал, что это Наймушин, и собрался не отвечать. Но стук был какой-то культурный, и Гена решил открыть. За дверью стояла Маргарита.

— Я решила зайти,— сказала она,— узнать, как вы устроились. У нас здесь с койками трудно бывает.

— Спасибо,— сказал Гена.— Только что ты мне, Моря, «вы» говоришь? Я вот сейчас лежал тут и вспоминал, как мы с тобой в лодке перекувырнулись.

Гена врал: ничего он не вспоминал. Но Маргарита поверила.

— Помню! Хорошо, что у самого берега. Знаешь, Гена, а я этим летом финансово-счетный техникум окончила. Хотелось в областной центр попасть, но ничего не вышло. А как твои дела?

На Маргарите было голубое суконное пальто с рыжей лисичкой, шерстяная вязаная шапочка-колпачок. Живые глаза и розовые щеки наводили Гену на мысль, что Маргарита еще не повязала себя по рукам и ногам, выйдя замуж.

— Я тоже... работаю,— сказал Гена.— Слушай, Моря, это точно, что мне деньги причитаются?

— Конечно. Ну а что ты тут сейчас сидишь? Пошел бы куда-нибудь. У нас Дом культуры новый.

Гена признался, что не хочет встречаться с Наймушиным.

— Да он же в охотхозяйстве живет, за сорок километров. Я видела, как он в автобус садился. Раньше понедельника он, вот увидишь, и не вернется.

Тогда Гена осмелел и напросился проводить Маргариту домой. Не мешало бы подгладить брюки, которые он сильно помял, валяясь почти весь день на койке. Но сейчас было уже не до того.

— Отвык я от морозов,— признался Гена, когда шел рядом с Маргаритой по белой улице.— Теща советовала дубленку надеть, а я так... не рассчитал.

— Что ты, сейчас тепло. Вот перед Новым годом у нас было тридцать шесть.

— Да?.. Моря, а ты, случайно, не знаешь, сколько там еще процентов?

— Не помню. А что?

— Да так, знаешь... Интересно все-таки.

Маргарита оглядела его скользящим взглядом.

— Ты так мне и не сказал, как живешь.

— Да ничего... Живу, как все. Машину собираюсь купить.

Маргарита улыбнулась: явно не поверила.

— В гости зайдешь?

Жила она уже не в Долгой слободке, а в новом доме на улице партизана Абакумова. Когда поднимались на четвертый этаж, Гене померещилось, что он уже у себя дома в Москве, на улице легендарного Олеко Дундича.

— Родители отправились в Пермь,— сообщила Маргарита.— Папе нужен новый протез, он ведь инвалид. Да ты, наверное, его помнишь?

— Извини, как-то стерлось,— сказал Гена.— А у вас тут теперь очень хорошо!

Это был комплимент: обстановка в новой квартире пока была самая умеренная. Единственное, чему Гена мог бы позавидовать, это восьми томам Конан Дойля, которые, как он слышал, в Москве «толкают» по двадцать рублей за том. Наверное, Маргарита этого не знала, потому что Конан Дойль лежал у нее без особого призрения на окошке.

— Знаешь, Гена, по чьей вине ты здесь? — вдруг спросила Маргарита.— По моей. Это я Наймушину адрес дала. Конечно, тебя бы все равно разыскали, но когда бы это еще было!

— Спасибо! — сказал Гена.— Ты, значит, знала мой адрес?

— Конечно. Мне его Матрена Яковлевна еще три года назад дала. Я знала, что ты вступил в брак. И все-таки мне захотелось тебе написать. А потом я что-то раздумала...

— Ну и зря,— растерянно сказал Гена.— Написала бы...

— Ты считаешь, стоило?

Наступила пауза.

— Угостить тебя чаем?

— Спасибо...

Лучше бы, конечно, не чаем, а чем-нибудь другим. Гена сегодня чаю выпил уже порядком. Маргарите и в голову не приходило, что у него с финансами беднова-

то. Тем более что он трепался про машину и про дубленку.

Когда Маргарита ушла на кухню, к Гене приблизился большой трехцветной масти кот.

— Мышей давишь? — спросил Гена.— Как тебя, Барсик, Мурзик?

Он перебрал еще несколько кошачьих кличек, но кот поглядел на него, как на выжившего из ума, и удалился от греха. А Гена с деланным равнодушием открыл том Конан Дойля.

Потом, когда Гена получил не только чаю, но и разогретых пельменей, он расчувствовался и сказал:

— Знаешь, Моря, у меня в последнее время предчувствие какое-то было...— Он опять соврал и не покраснел.— Я и раньше Матрену Яковлевну часто вспоминал, а тут... Я, Моря, на кладбище еще не сходил, но все из-за этого черта. Еще, думаю, увяжется, опять приставать начнет.

— На чем же вы с ним порешили?

— Да ни на чем...

Маргарита пожала плечами. И после короткого молчания спросила:

— Не расскажешь мне о Москве? Я еще ни разу там не была, но почему-то мне часто кажется, будто я иду по одной из московских улиц. Наверное, это телевизор виноват. Как ты думаешь, не могла бы я попасть в Институт имени Плеханова? Я не хочу останавливаться на техникуме.

Насчет этого Гена ничего не мог сказать. А почему бы и нет? Девка такая, что... Не то, что его Шура, которая из-за неуверенности в себе сидит на восьмидесяти рублях.

— Да, в Москве, конечно, ничего,— согласился Гена.— Только народу до черта, ГУМ, ЦУМ... Я-то лично не хожу, но теща моя иногда там бьется по полсуток. Скажи, Моря, как ты думаешь, почему именно мне Матрена Яковлевна эти деньги завещала?

— Бог ее знает, она под старость какая-то странная стала. В прошлом году пришла к нам в сберкассу и говорит заведующей: «Мария Никоновна, положьте вот мои деньги. Только чтобы они Сережке моему не достались, когда я умру. Он моего Шарика застрелил».

— Шарика? — переспросил Гена.— Ну и паразит!.. Отборный!

Вспомнилась большая черная собака, от которой пахло то опилками, то травой, то сдобным тестом. Сам Гена собачником не был и особой нежности к данному Шарику не испытывал, но тут подумал, что хорошо бы этому живодеру Наймушину не отдать ни шиша.

— Значит, ей просто надо было любому завещать,— вдруг пришел к грустному выводу Гена.— А я-то думал...

— Нет, почему,— возразила Маргарита.— Она к тебе хорошо относилась, вспоминала часто. Когда мы еще в Долгой слободке жили, придет к нам и говорит: «Что-то не пишет мой Гена. Наверное, некогда».

— Правда,— признался Гена,— я редко писал.

— Конечно, дело не только в собаке...— И вдруг Маргарита спросила: — Скажи, Гена, а почему ты на мои письма не отвечал?

Гена растерялся, однако что-то говорить надо было.

— Зачем я тебе, Моря? — вместо ответа сказал он.— Ничего я в жизни пока не добился. Про дубленку тебе соврал. Нету у меня никакой дубленки. И не мечтаю. Разве что вот сейчас эти деньги получу.

— Почему же, конечно, получишь. Только я тебе откровенно скажу. Гена, я лично была удивлена, когда Матрена Яковлевна решила на тебя завещание сделать.

— Почему же? — ревниво спросил Гена. Ему показалось, что Маргарита мстит ему за измену.

— Да потому, что у нее внучка есть. Ребенок ведь не виноват.

Гена в растерянности пожал плечами.

— А разве этой внучке деньги попадут? Все равно Наймушин себе возьмет.

— Можно сделать вклад до совершеннолетия. Сейчас ей только два годика.

— Здрасьте! — вырвалось у Гены.— Будет совершеннолетняя, пусть сама и заработает.

— Ты так считаешь?

— Конечно. Да за это время всемирное землетрясение может произойти. Или деньги совсем отменят.

Но Гена очень скоро пришел в себя.

— Моря, ты меня извини... Думаешь, я такой жадный? Я в жизни чужой копейки не взял. Правда, теща

меня на первых порах поддерживала... Но сейчас все так. Мне просто обидно стало: тысячу верст отмахал, напсиховался...

— Да я все понимаю,— сказала Маргарита.— Не надо тебе оправдываться.

Гена немного успокоился, доел пельмени. Маргарита сказала, что если он завтра собирается пойти на кладбище, то лучше на лыжах: очень много снега.

— А ты со мной не пойдешь? — робко спросил он.

— Нет, Гена,— сказала она,— не пойду.

3

На следующий день с утра Гена отправился на кладбище, или, как тут говорили, на могильник. Он был километрах в двух от поселка, возле самого леса. Лыжи действительно пришлись бы кстати, но Гена решил никого просьбами не затруднять.

Была суббота. Завод минеральной ваты не дымил и молчал, зато на улицах поселка было много народу. Гене попались попутчики: молодая супружеская пара с двумя детьми тоже шла «навестить» бабушку. Дети ее, наверное, не помнили, поэтому воспринимали субботнее мероприятие как праздник. На лице молодой женщины не видно было такой уж глубокой скорби: скорее всего на кладбище лежала не родная мать, а свекровь. Женщина несла веночек из голубых бумажных цветов, муж ее — большую деревянную лопату.

— Холодновато тут у вас! — сказал Гена, словно сам вырос где-нибудь в Ялте или в Сочи.— Зато за елкой в очереди стоять не надо.

Перед Новым годом Гена больше часа протолкался около Дорогомиловского рынка, пока купил палку с тремя сучками за рубль пятьдесят копеек. Перед этим теща с неделю встречала его одними и теми же словами: «Значит, опять мы без елки?»

Здесь же этих елок было не пересчитать, и все они были одна красивее другой. Чувствовали они себя совсем вольно, не как в питомнике, где каждый прут сживает со свету своего соседа. Семена их принес на опушку ветер, дождь полил, прикрыл снег. Никому здесь эти елки не мешали и росли как бог на душу положит. Хорошо!

Попутчики помогли Гене отыскать могилу Матрены Яковлевны. Отыскать, впрочем, было совсем нетрудно: она была с самого края, следы от трактора еще не совсем сровнял снег. Собственно, это пока была и не могила, а так, грудка песчаника и гальки под этим же снегом. Если бы сырой, выкинутый из глубины песок сразу бы не смерзся, сейчас у Гениных озябших ног была, возможно, просто яма, в которую провалились бы два еловых венка с лентами.

Гена снял шапку. Как ни странно, это была первая в его жизни могила. Он сюда не принес ни слез, ни даже бумажных цветочков. Но в его захолодавшей груди народилось грустное, по-настоящему тягостное чувство, без которого стоять над могилой вообще подлое дело. Да, он не обязан был так уж часто вспоминать Матрену Яковлевну, не обязан, но мог бы порой и попомнить. А вдруг она его все-таки любила и хотела, чтобы именно ему достались ее трудовые денежки? Гена как будто услышал ее голос:«У самого-то есть? А то подожду». Это когда он Матрене Яковлевне приносил пятерку за квартиру.

Восемьсот пятьдесят рублей он, конечно, Наймушину отдаст. Было бы своих побольше, он бы ему еще от себя прибавил. Гад, сколько он ему, Гене, переживаний устроил!.. А с другой стороны, может, так ему и надо?

Гена посмотрел туда, где копошилась молодая пара с детьми. Мужчина разгребал снег вокруг могилы, женщина разметала его веничком, дети прыгали с сугроба. Никто на Гену внимания не обращал. И обратно он пошел один.

Путь Гены был полон невеселых размышлений. Не потому, что он задумался о собственной бренности. Кто о смерти думает в двадцать пять лет? Но Гена был не лишен воображения и видел перед собой большой и совсем пустой дом Матрены Яковлевны: на чердаке, или, как тут говорят, на вышке, мечется ветрище, крыльцо замело по верхнюю ступеньку, окна заморозило. Но старуха мужественно сидит одна, поближе к печи, пьет из самовара чай. И вдруг — смерть!.. В какую она щель влезла, как открыла тяжелую дверь? Встала за спиной, погрела костлявые руки над самоваром, а потом хвать!.. Господи! Нет, это Гена «Дон Карлоса» насмотрелся в исполнении артистов миланского театра «Ла Скала»,

Шура просила выключить телевизор, чтобы Аскольда не напугать, но он, Гена, все-таки досмотрел до самого конца. Страшное дело!.. Переехала бы Матрена Яковлевна в блочный дом, кругом народ, все абсолютно слышно, глядишь — и не случилось бы ничего.

Когда Гена вернулся в дом приезжих, он махнул на все рукой, пошел и взял бутылку «Русской». После этого денег у него осталось четырнадцать рублей и сорок копеек.

После выпивки он до самого вечера тяжело проспал. Очнулся около семи, поглядел в зеркало и увидел свое нехорошее лицо. Попросил у дежурной утюг и немножко привел в порядок брюки. И чтобы не быть один на один с самим собой, отправился в бабуринский Дом культуры, как это вчера посоветовала ему Маргарита.

На людях Гена немножко оживился. Но ненадолго. В кинозале показывали «Белого Бима». Уже в конце первой серии Гена не выдержал и ушел. Нервы его были напряжены до предела. Вспомнился застреленный Наймушиным Шарик.

— Эх, домой бы скорее! — с тоской сказал сам себе Гена.

Дома, в Москве, его любили и ждали. А здесь он был никому не нужен и этим напоминал Белого Бима. Но уехать Гена не мог: денег на обратный билет было уже мало. Даже если ехать общим, бесплацкартным, нужно было раздобыть где-то рубля два-три.

Этих двух-трех рублей Гене почему-то всегда не хватало. Скидывались ли в цехе кому-нибудь на подарок или в завкоме были дефицитные театральные билеты, у него не оказывалось этих двух-трех рублей. Или он вдруг видел в магазине интересную игрушку для своего Аскольда... Но Шура игрушек покупать не разрешала, ссылаясь на то, что их много в детском саду, поэтому дома иметь не обязательно. Первые годы женатой жизни Гену особенно не ужимали, но потом потребности прибавились... Правда, теще к пенсии прибавили пять целковых. Она тогда купила Гене четвертинку, а на остальные быстросохнущей краски для пола. Тут уж Гене неудобно было отвертеться, и в первое же воскресенье он выкрасил пол в коридоре и в комнате.

Сейчас Гена стоял у большой афиши, где был нарисован все тот же горемычный Бим. Стоял и пережи-

вал... Мороз покусывал его через синтетическую курточку. Нижнее белье на нем было, по определению тещи, «американское». Это обозначало, что белья как такового на теле почти что и нет. Ее бы воля, она нарядила бы Гену в голубые плотные кальсоны. Но уж в этом вопросе он позволял себе быть независимым.

Другое дело — жена Шура. Нижнее ее не так волновало, как верхнее. И это можно было понять: Шура у Гены была не красавица, хотя и очень хорошая. И одевать ее нужно было покрасивее, иначе на кого же она была бы похожа? Это особенно остро понимала Генина теща, и в этом было затаенное недоверие к Гене: вдруг уйдет? Но это было просто обидно, потому что уходить он вовсе не собирался. Немножко не нравилось ему, что Шура все полнеет. Но тут уж распорядилась судьба: Шура выросла и выспела при маме, а он по интернатам. Сколько-то масла ему так и недодали.

Говорят, человека тянет в те места, где он был «дитем», мальчишкой. Но Гена должен был признаться себе, что тяги такой совсем не испытывает. Километрах в ста от поселка, где он сейчас мерз, находился детский дом-интернат — его первый жизненный приют. И вот Гене ни капли не хотелось на него посмотреть, словно кто-то мог там его поймать за рукав и сказать: «Глядите, да это наш! Куда же ты, друг, сбежал?»

Гене страстно хотелось как можно скорее попасть в Москву, на улицу Олеко Дундича, к Шуре, к Аскольду, к теще Прасковье Семеновне. В Москву и только в Москву, так он ее полюбил за эти шесть с небольшим лет. Чтобы бегать по эскалаторам метро, впрыгивать в троллейбусы и автобусы, а иногда остановить барским жестом такси, посадить тещу, жену, а самому с сыном на руках устроиться рядом с водителем и поделиться своим веселым, праздничным настроением, рассказать, сколько и чего в гостях выпито. И разве можно было сравнить тот московский завод, на котором он работал чуть ли не в белом халате, с заводом, что здесь, в Бабурине, чадил, как смолокурка, и сливал в речку черт знает что?..

Гена шел по темной улице и думал про все это. Самое ужасное заключалось в том, что впереди был еще весь завтрашний день, воскресенье. Зайти опять к Маргарите он как-то не решался. И никого, ровно никого он

здесь в поселке не знал и не помнил. Не так уж много лет прошло, а все куда-то подевались.

Гена вздрогнул: по скрипу снега ему показалось, что кто-то его догоняет. Ему почудился этот зануда Наймушин. Но шел какой-то совсем незнакомый человек, и Гена успокоился.

— Не скажете, который час? — спросил он у прохожего, хотя на руке были свои собственные часы: так хотелось Гене слышать сейчас человеческий голос.

4

История подходила к развязке. Как промаялся Гена в воскресенье, пусть знает только его душа. Час, когда нужно было идти получать свои, но в то же время не свои деньги, приближался.

От дежурной Гена узнал, что на билете можно сэкономить три с полтинником, если ехать рабочим поездом до Краснокамска, а оттуда уже брать на Москву. Так, оказывается, большинство отсюда и едет, не считая командированных, тем ни к чему. Сердце у Гены взыграло, он помчался на станцию, узнал, когда рабочий поезд, оставил на билет, остальное тут же в вокзальном буфете проел.

В понедельник он проснулся рано, но лежал тихо, не высовывая голову из-под одеяла. Курточка, которую он набросил сверху, ночью сползла на пол, и нужно было высунуть руку, чтобы ее поднять. Но Гена лежал неподвижно.

В дверь кто-то постучал. Или это дежурная, пришедшая оповестить, чтобы он поскорее освобождал койку, или это могла быть Маргарита. Возможно, она хотела его о чем-то предупредить. Гена спрыгнул с койки и открыл дверь. В коридоре стоял Наймушин.

— Ну чего тебе? — сурово спросил Гена.

— Здравствуйте!

— Здорово.

— Так это... Может быть, пойдем?

— Вот так и идти? — Гена показал на свои босые ноги.

— Зачем же?.. Я подожду.

Наймушин сел на табуретку и шапчонку свою зажал между коленями. «Сиротой прикидывается!» — подумал

Гена. Но вид у Наймушина был очень замаянный. Опять он моргал.

Надевать на себя Гене особенно было нечего. Но он решил этот процесс елико возможно растянуть. Достал из дорожной сумки «Аэрофлот» подаренную коллективом электробритву.

— Я ведь еще и в столовую пойду,— предупредил он Наймушина.

Тот всем своим видом выразил, что согласен ждать.

Гена брился и искоса поглядывал на Наймушина.

— Говорят, собак отстреливаешь? — спросил он, наслаждаясь своей властью над этим человеком.

Тот вздохнул.

— Собака-то больная была. Я мать предупреждал, что к ветеринару надо, а она сама лечила. Тут я как-то пришел, а со мной лайка была чужая, натаскивать взял. Этот черный шелудяк и кинулся на нее. Чего мне делать-то оставалось?

Гена всем своим видом показал, что такое объяснение его не удовлетворяет.

— Послушай, друг,— заискивая, сказал Наймушин,— ты поставь себя на мое место. Была бы у тебя мать...

— У меня матери нет,— вырвав вилку из штепселя, резко сказал Гена.

— А у меня вот была. Какой-никакой, я ей сын. Ты бы чужому уступил?

— Честно?

— Честно!

— Не уступил бы. Если бы мог. А ты не можешь.

Наймушин побледнел и поднялся с табуретки.

— Неужели у вас в Москве все такие?

— Москва ни при чем.

— Значит, не отдашь?

— Излишний вопрос.

Вдруг Гена решил, что эту игру пора и кончать.

— Ладно, посиди еще. А я в туалет сбегаю.

Оставив оторопелого Наймушина в одиночестве, Гена прикрыл дверь. Для виду еще немножко походил по коридору.

— Не соскучился? — спросил он, вернувшись в комнату.— А то вон радиоприемник. Выступает вокальный ансамбль «Аккорд».

— Ты деньги отдашь? — тихо спросил Наймушин.

— Я же сказал, что отдам.

— Ты не сказал...

— Разве?

Наймушин глядел на Гену потерянно.

— Иди, иди! — сказал Гена.— Займи очередь.

Наймушин вскочил и пошел. В дверях оглянулся. Взгляд у него был умоляющий.

Свое расставание с домом приезжих Гена тоже оттянул насколько мог. Все равно рабочий поезд отходил только в три часа дня, и времени оставалось — девать некуда. Он сдал койку, сам снял и свернул постельное белье, снес его дежурной. Забрал у нее свой паспорт, посидел, поговорил и даже показал фотографию сына.

— И что за населенный пункт у вас! — сказал он.— Даже сувенира ребенку купить негде.

Дежурная вместо сувенира всыпала Гене в карман два стакана кедровых орехов. Это уже было что-то! Оставалось проститься.

Ходу до райтрудсберкассы было всего минут десять, но Гена отправился окружным путем. Он рассчитывал, что этими затяжками взвинчивает Наймушина, но и себя взвинтил порядком. Правда, утренняя прогулка — это совсем не то, что ночная: щемящей тоски Гена уже не испытывал. Сегодня он ехал домой, знал, что уже завтра вечером ступит на перрон Ярославского вокзала и еще минут через сорок нажмет звонок тещиной квартиры на улице Олеко Дундича. Выбежит Аскольдик, за ним Шура, за нею теща!.. Гена почувствовал, что слезы опять немножко сжали ему горло, но это так...

«Черт с ним! — подумал Гена о Наймушине.— Отдать и...»

Он зашагал к сберкассе. Наймушин топтался у крыльца.

— Замерз? — спросил его Гена.

— Нет. Хотя... Знаешь, поскорее бы уж... Замучился я. Уже и сам не рад.

Гена усмехнулся и взошел на крыльцо.

— Здравствуйте, девушки! — бодро произнес он.— Как видите, это обратно я.

Все поглядели на него с живым любопытством. В том числе и Маргарита.

— Подождите минуточу,— сказала Гене заведующая.

— Жду.

В помещении сберкассы жарко топилась печь-голландка. Гена подошел и стал греть руки.

— Дайте, пожалуйста, ваш паспорт,— попросила заведующая.

Гена подал. Та ушла за перегородку. Гена посмотрел в окошко: бедняга Наймушин топтался на снегу. Поднял воротник, засунул руки в карманы — в первый раз на глазах Гены он действительно замерзал.

— Почему же у вас имя другое? — вдруг спросила заведующая, выйдя из-за перегородки.

— Как другое? — удивился Гена. Но это произошло от неожиданности, а вообще удивляться ему было нечего.

— Вклад завещан Иванову Геннадию Ивановичу, а вы Иванов Гавриил Иванович.

— Точно! — сказал Гена.

Его действительно звали Гавриил. И сын у него был Аскольд Гавриилович. А Геной его стали называть лет с шести, когда ему самому показалось, что Гаврик или Гаврюшка — это не звучит. Его и теперь многие товарищи по работе считали Геннадием. Покойная Матрена Яковлевна настоящего его имени или не знала, или просто забыла.

— А что, это имеет значение? — осторожно спросил Гена.

— Конечно.

Маргарита сказала тихо:

— Мария Никоновна, но ведь это действительно он.

Заведующая сберкассой растерянно пожала плечами: она бы и рада, да не имеет права.

— Тем более фамилия у вас такая распространенная...

— За что же я у вас тут три дня мерз? — улыбаясь, спросил Гена.

— Надо же что-то сделать,— уже тревожно сказала Маргарита. Заведующая опять ушла за перегородку и стала звонить по телефону в райфинотдел. Ее долго не соединяли.

— Гена, вы не волнуйтесь,— стараясь не глядеть ему в глаза, сказала Маргарита.— Все будет в порядке.

— Да я и не волнуюсь ни грамма. Что вы, Моричка!

Генина жена Шура, у которой как-никак было законченное среднее, сколько раз учила его, что говорить «не волнуюсь ни грамма» нельзя. Но Гене казалось, что это впечатляющее выражение.

Он стоял у печи, грелся и поглядывал на стенные часы. В два сорок восемь отойдет его поезд, завтра в восемь он уже будет в Москве, ловко минуя турникет в метро, сумеет бесплатно доехать до станции «Багратионовская»...

— Наделал я вам тут хлопот! — сказал он, очнувшись от своих подсчетов.

— Ну что вы! — в один голос сказали сотрудницы.

Наймушин то ли действительно совсем замерз, то ли нервы его больше не выдерживали. Он вошел в помещение сберкассы и остановился в дверях.

— Похоже, горим,— сказал ему Гена.

Более растерянного лица он в жизни своей не видел. Того почти трясло.

— Да брось ты! — сердито сказал Гена.— Нельзя же так.

Наконец заведующая вернулась. Из райфинотдела ей дали указание денег по завещанию не выплачивать. Гене объяснили, что он должен обратиться в народный суд для установления свидетельскими показаниями своей тождественности с наследователем. Но это не раньше, чем через полгода, в течение которых может обнаружиться еще какой-нибудь Геннадий Иванович Иванов.

— Заморочили вы мне голову,— сказал Гена.— Суд еще какой-то!.. Не надо мне ничего. Вон ему отдайте.— И он указал на Наймушина.

Заведующая терпеливо повторила Гене: он должен в судебном порядке доказать, что он — Геннадий Иванович Иванов, а потом официально через нотариуса отказаться от вклада в пользу Наймушина. Иначе тот ничего не получит.

При этих словах Наймушин вцепился в Гену, как мать в новобранца.

— Друг! Ты уж не бросай меня, доведи дело до кон-

ца. Я ведь для девочки... Хорошая девчонка-то, говорить уж начала. Помоги, друг!

Голубые глаза Наймушина жалобно мигали, на лбу опять проступил пот, как у приговоренного. Гена отвернулся.

«Для девчонки! Небось пропьешь половину,— с горечью подумал он.— Ведь это что за беда на мою голову!» Но в душе уже чувствовал, что и в суд пойдет, и свидетелей туда поведет, и потащится к нотариусу, о котором он раньше знать не знал. Кино, да и только! И все ради чужого дяди в ушанке с грязной тесемочкой.

— Ладно,— сказал Гена.— Большое до свидания всем! До встречи в космосе.— И он вышел из теплого помещения на мороз.

Решил сразу же взять рысь на вокзал. Но еще до угла не добежал, когда услышал за собой:

— Гена! Подождите!

Гена повернулся и побежал обратно, навстречу Маргарите. Только сейчас он понял, что это с его стороны все-таки хамство: мог бы и персонально с ней проститься.

— Гена, у вас есть деньги на дорогу? — запыхавшись, спросила Маргарита.

Он видел, что у нее что-то зажато в кулаке. Купюры, конечно... А может быть, просто носовой платок. Холод-то какой — прямо слезы выжимает.

Гена взял Маргаритину свободную руку.

— Спасибо, Моричка! Билет в кармане — это основное. На прочие расходы, возможно, рубля два и не хватит... Так их у меня всегда не хватает.

ЖЕНЩИНЫ

Рассказ

1

Над дверью висела табличка: «Председатель заводского комитета Е. Т. Беднова». И тут же часы приема: с 12 до 7 часов вечера.

Шел уже девятый... Завком помещался рядом с клубом. Там кончилась кинокартина, убирали стулья, чтобы танцевать. Гудела радиола, хлопали дверьми, шумели, как в школе на перемене. Поэтому Екатерина Тимофеевна не сразу расслышала осторожный стук.

— Можно к вам войти?

В дверь сунулось круглое, молоденькое лицо с розовыми щеками. И тут же спряталось.

— Чего тебе, дочка? Заходи, раз пришла.

— Мне поговорить...

Девушка подошла поближе, немножко угловатая, но крепкая, верткая, как молодой чиж. Пальтишко было ей узко и не по зиме легковато. На светловолосой голове капроновый платочек. Ноги в легких туфлях. «Щеголиха! — подумала Екатерина Тимофеевна.— Небось все голяшки синие».

— Садись. Что скажешь?

Девушка присела и стала водить по крышке стола пальцем со следами лака и политуры у круглых, коротких ногтей.

— Я, знаете, из отделочного... Насчет разряда. Когда же на разряд выводить будут? Брали — говорили: три месяца учиться. А уж пять прошло...

В голосе у нее была обида и просьба.

— Пять, говоришь? Что-то долговато... К какому мастеру тебя поставили?

— К Дуське Кузиной.

Екатерина Тимофеевна нахмурилась.

— Что же это ты мастера Дуськой называешь? Кому, может, она и Дуська, а тебе — Евдокия Николаевна. Нехорошо!

Упрекнула девчонку, хотя и знала, что Евдокия Кузина почти для всех на заводе — Дуська, несмотря на ее тридцать с лишним.

— Извините,— сказала девушка и опустила круглые, живые глаза.

— Вот то-то! А твоя фамилия как?

— Ягодкина. Алевтина Павловна. Аля просто...

— Здешняя ты?

— Нет, из деревни...

«Мордашка-то очень славная, а в голове небось ветер,— подумала Екатерина Тимофеевна, разглядывая Алю.— Вот возьми ее: из деревни сбежала... И у нас, наверное, недолго задержится. Учим их, мастерам платим, а не больно много их на заводе остается. Ищут, где полегче...»

— Будешь ли работать-то, Ягодкина Алевтина Павловна? — спросила она с усмешкой.— Я, конечно, с Евдокией Николаевной поговорю. Понимаю, что на двадцать семь рублей ученических жить трудно...

— Я не только из-за денег! — оживилась Аля.— Вы не думайте... Просто даже неудобно мне: раз другие за три месяца выучиваются... Мне тоже хочется побыстрее.— И попросила: — Только вы не говорите Евдокии Николаевне, что я у вас здесь была.

— Это почему же? — испытующе посмотрела на Алю Екатерина Тимофеевна.— Ну ладно, завтра я к вам в цех приду, на месте разберемся.

Тут на столе у Екатерины Тимофеевны зазвонил телефон.

— Мам, хватит уж тебе гореть на работе! Кушать так хочется!.. Искал, искал за окном,— гудел бас в сильно резонирующей трубке.

— Да кто же в такой мороз за окно ставит? Ну, я бегу, Женечка, бегу! — Она мягко опустила трубку на рычаг.

Вышли вместе, Екатерина Тимофеевна объяснила,

что это сын ее звонил. На четвертом курсе учится в энергостроительном. Самостоятельный парень, способный. Без стипендии месяца не был, теперь повышенную получает. И все мама да мама, даром что двадцать четвертый год.

— А ты-то как здесь одна? — спросила Екатерина Тимофеевна у Али.— Крайность, что ли, была от своих уезжать?

Та неопределенно пожала плечами, застеснялась.

— Да нет... Просто люди посоветовали.

...Три с лишним года назад Аля закончила восьмилетку в своей деревне, в Гуськах. Две зимы после этого просидела секретарем в сельсовете. Писала своим кудрявым, но разборчивым почерком разные справки, бегала по соседним деревням с повестками, с извещениями и приставала к матери, чтобы та купила ей велосипед. Но тетя Груша, Алина мать, считала, что велосипед — это озорство, что вслед за велосипедом Алька потребует и брюки в обтяжку, вроде тех, в которых ходят по Гуськам дачники. В душе она гордилась дочкой, потому что та делала «культурную работу»: вежливо принимала не только в Совете, но и на дому не в положенное время, садилась за накрытый голубой клеенкой стол, макала ручку в чернильницу-непроливашку, выписывала справку буковками-цветочками и солидно прикладывала доверенную ей председателем печать.

— Алевтина-то у тебя все хорошеет! — говорили тете Груше посетители, желая и польстить и извиниться за приход не вовремя.— Замуж-то скоро ее проводишь?

— Какой там замуж! — серьезничала тетя Груша.— Спеху нет. Я, может, еще учиться ее куда соберу. Она у меня уж больно девчонка-то востренькая, бедовая! Не все же ей на справках да на повестках... Пущай бы дальше училась. Уж я сама в три горбушки согнусь, а возможность ей обеспечу.

Очень удивилась и даже огорчилась мать, когда Аля заявила, что справки эти ей ужасно надоели и что она хочет выйти в колхоз на свеклу.

— Возьмем, мам, с тобой участочек... Комплексный. Наши девчата вон как здорово приладились! Даже в газету попали.

— Газета тебе снится! — вздохнула тетя Груша.— Ну что ж, попробуй. За лето у тебя семь шкур с носу

сойдет. Ты еще за моей-то спиной толком и руками не шевелила.

Но участок они с весны взяли. Вспахала, заборонила им машина. Остальное — сами: раздергать, выполоть, сложить в бурты. В первую же осень сложили шесть буртов: восемнадцать тонн сахарной свеклы. Платили по десятке за тонну и еще сахарным песком.

— Куда деньги будете класть? — шутили над тетей Грушей соседки, оглядывая высокие, прикрытые соломой бурты. — Альке в приданое гарнитур спальный купи!

— А что нам? И купим. Ай мы толку не понимаем: гарнитур так гарнитур.

Тетя Груша и тут радовалась, глядя на Альку. В той жизнь крутилась, как вода у камней. Работала проворно, ловко, мурлыча модные песенки вроде «Чикко, Чикко из Порто-Рико...». Но мать все же старалась держать ее «в строгости»:

— Чика-то Чикой, а почище, почище выпалывай! Сурепицы не оставляй. Не жалей заднюшку-то свою, выгинайся!

Аля хмурила выгоревшие бровки:

— Мама, а нельзя ли без выражений? Ведь некультурно же!..

Но они перебрасывались такими словами больше для того, чтобы и языку дать работу, в душе же были всегда довольны друг другом. Восемнадцать лет проспали они на одной постели: в сорок втором Алин отец ушел на фронт, а семидневная Аля перекочевала из люльки к матери под бок, и полились ей на маленькое, уже тогда хорошенькое личико горькие материны ночные слезы. Пока не пошла в школу, Аля не отходила от материного подола. И сейчас нельзя было тете Груше обижаться на дочку, что та ее не любит или не слушается.

«Ужли она мне не скажет, когда парень какой ей в голову влетит? — думала она, приглядываясь к дочке, у которой и плечи и грудка — все просилось вон из платья и требовало обновы.— Кабы мне не проглядеть такое дело!..»

Старшие дети у тети Груши были сыновья, и с ними такой заботы она не имела, следом бегать не приходилось. Выросли, разъехались. А за Алькой стала приглядывать, ходить украдкой за ней и в клуб и на вечерин-

ки. И очень была удивлена, в первый раз увидев свою дочку на танцах: дома Алька — это звонок, кубарь, а тут сидит как прибитая гвоздем, сжала коленки, мыски туфель развела, глаза мечтательно смотрят куда-то поверх, и кажется, не дышит, только блестят щеки.

«Дитенок мой! — умиленно подумала тетя Груша.— Кажись, обидь какой дурак, на клочки порву!» Одно не нравилось матери в Альке: челка на лбу. Дома прикрикивала:

— Что ты гляделки-то завесила? Ведь ты ешь — ложки не видишь. И что за мода такая пошла идивотская, прости ты меня бог!

Как-то тетя Груша увидела около дочери незнакомого шикарного парня. Танцевала Алька с ним в клубе под радиолу какой-то танец: одно топтание на месте, без проходки. Дома спросила Альку, что это за кавалер появился. У той чуть-чуть побежали глаза.

— А это председателя нашего племянник. Он в Павельце в депо работает. В отпуск приехал...

— Звать-то его как? — выведывала тетя Груша.

— Виктором... Да он, мам, уедет скоро...— И вдруг осторожно Алька спросила: — Мам, а ты не была в Павельце? Хорошо там?

Тетя Груша сообразила, что сейчас пришла самая пора быть настороже, но Алька неожиданно надулась:

— Мама, честное слово, мне прямо за тебя неудобно: у нас компания молодая, а ты следом ходишь! Уж и потанцевать с парнем нельзя!

Танцевала она две недели. Потом призналась матери, что Виктор уезжает, предлагает ей замуж и чтобы она ехала с ним...

Сердце у тети Груши упало и покатилось куда-то.

— У, крапива жигучая! Обвела ты меня все-таки!.. А говорила, танцуешь!..

Но тут же, обтерев слезы, мать поставила вопрос по-деловому: зовет замуж — пусть ведет расписываться. Напрасно Аля объясняла, что если здесь, в Гуськах, заявление подать, две недели ждать надо, а у Виктора отпуск кончился, там, в Павельце, и распишутся, — тетя Груша проявила неженскую выдержку.

— Ну, и скатертью ему дорожка, твоему Виктору, если он ждать не может! А ты тут посидишь, погодишь. Нужна ты ему — воротится, заберет!

В эту ночь в первый раз легли врозь и не разговаривали больше. Тетя Груша только перед утром заснула, а когда очнулась, Альки уже не было. Мать решила, что она пораньше пошла на свеклу. Но оказалось, что и тяпка стоит в сенях и сапоги.

Тетя Груша вышла в огород, позвала тихонько два раза: «Алька, Алька!» Но никто не отозвался, только ветер гулял в высокой картофельной ботве и гнул молодые яблони. Тетя Груша побежала обратно в избу, сунулась в комод: рубашонок нет, трусиков пестрых нет. Комбинашка лежала сверху голубая — и ее нет...

Не помня себя, тетя Груша бежала две версты полем до станции. На платформе увидела парня в модном плаще, в шляпе и рядом с ним Альку с небольшим, сиротским узелком. А вдали уже тянулся пассажирский состав.

— Стой, стой! — закричала тетя Груша что было голоса. — Погодите! Это еще как придется тебе девку без расписки увезти! Я еще не в гробу лежу, да и сыну в Тулу напишу, он тебе жизни даст!..

Аля стояла, до смерти испуганная, широко раскрыв глаза. А жених ее только чуть смутился и спросил спокойно:

— Что вы, мамаша, против меня имеете?

— Ничего не имею,— переведя дух, сказала тетя Груша.— Только ты зарегистрируйся. Увезти успеешь.

— Странная вы, мамаша,— пожал плечами Виктор.— Ведь вам объяснили ситуацию...

Тетя Груша тоскливо вздохнула.

— Милок, какая тут ситуация, когда девка может погибнуть ни за что! Уважь, запишись сперва!..

Со станции все трое шли молча и, чтобы никто их не видел, огородами. Как только открылся сельсовет, молодые отнесли заявление. А на другой день Виктор один поехал в свой Павелец.

— Ну, чего же ты? — виновато спросила мать расстроенную Альку.— Ведь через неделю, сказал, воротится. Пока хоть барахлишко кое-какое подсоберем. А то ведь стыдища: хотела с двумя рубашонками убечь!

Но «барахлишко» не понадобилось: в назначенный день жених не вернулся. Обе они, и Аля и мать, пришли к поезду, но напрасно шарили настороженными глазами по дверям вагонов. Встречали они и на другой день и на

третий, по утрам дожидались на своротe с дороги почтальона, а на четвертый день уже не пошли встречать. Сидели дома, растерянные и одинокие.

— Алюшечка, может, это я ему что грубо сказала?

— Нет, мама, ничего не грубо...

Алька словно забыла, что совсем недавно хотела убежать от матери, бросить ее одну. Теперь она жалась к ней, как цыпленок к квочке перед дождем, не отходила ни на шаг. О женихе же не говорила ни слова.

Прошло больше месяца, и вдруг он неожиданно явился под успенье. Народ весь был на свекле, шла уборка. В поле жених не пошел, ждал, когда стемнеет и Алька вернется домой. Они с матерью не успели сапоги от грязи оскрести, соседский мальчишка принес от Виктора записку.

— Не ходи,— посоветовала тетя Груша.— Нуждается — пусть сюда придет.

— И здесь не нужен! — вдруг отрубила Аля.

В сумерках жених долго стучался, пока ему открыли. Тетя Груша, чтобы не помешать разговору, юркнула в сенцы и там припала ухом к обмазанной глиной стенке.

— Где же это ты пропал? — после долгого молчания тихо спросила Алька.

— Дела были...— неопределенно ответил Виктор, посматривая в темное окно. Куда только девались его прежняя разговорчивость и улыбочки во весь рот!

— Письмо все-таки мог бы написать.

— Чего писать!.. Приехал ведь. Едешь, что ли, со мной?

— Еще подумаю...

— Думай побыстрей... Пока я сам не передумал. Предлагаю по-честному, а упрашивать не буду. Тем более что дома мне такой спектакль устроили... Не знал, в какую дверь бежать.

— Из-за меня? — вздрогнув, спросила Аля.

— Ясно. «Если, говорят, каждый раз, куда поедешь, жен привозить будешь...»

Тетя Груша по ту сторону стены замерла, не дышала. И в избе тоже долго было тихо.

— Ну, так как? — спросил наконец Виктор.

— Никак. Не поеду я с тобой, пусть не пугается твоя родня.

— Понятно...— Виктор поднялся.— Знал бы, и на дорогу не тратился. Хочешь честно поступить, так дураком и остаешься.

Алька быстро подошла к комоду, вынула из коробочки новенькую красную десятку.

— На тебе, честный, за оба конца. Сдачи не надо.

Он отшвырнул деньги и уже злобно сказал:

— Надумаешь, сама теперь в Павелец приезжай. Там и я с тобой по-другому поговорю!..

В Павелец Аля не поехала. Она долго держалась, но как-то холодным октябрьским вечером в первый раз заплакала, испугав мать. И ничего не хотела объяснить.

— Какого же ты беса, прости меня бог, квелишься? — не выдержала тетя Груша.— Любишь его — шла бы. А нет — из ума вон!

Но только месяца через два поняла мать, «какого беса»... Ахнула жалобно:

— Ой, сменяла ты ясный день на нéпогодь!.. Куда мне теперь с тобой?..— И заплакала горько-горько.

В душе-то мать строго Альку не судила: сама была не без греха. Осталась вдовой с тремя ребятами, и замуж с такой оравой никто уже не позвал. Пока была помоложе, видели деревенские Грушу Ягодкину и с учителем-инвалидом и с бригадиром. И из города какой-то приезжал под видом, что охотник. Осудить, конечно, все можно... Теперь уж стали забывать: скоро пенсия выйдет, глаза выцвели, кожа на щеках запеклась, голос осип от частой простуды в поле. От плотной когда-то косы остался мышиный хвостик — на одной шпильке держится. А ведь красивая была женщина, шустрая, не хуже дочери! Жизнь только была не та...

Но от соседок тете Груше нужно было теперь как-то отговариваться, оправдывать дочь:

— А твоя принесет, на межу, что ли, кинешь? Тоже растить станешь. Кровь-то своя!.. Куда денешься?

Альку мать очень жалела, хотя та вместе с первыми и последними слезами легко вылила всю горечь и теперь держалась очень бодро, словно никакого греха за собой не знала. И мать досадовала невольно на такую беспечность.

— Отсыпай последние спокойные-то ноченьки: уж он тебе звону даст, он тебе в кости ломоты добавит!

Аля загадочно улыбалась. Носила она легко, даже

не подурнела, и ни одного пятна не кинулось ей в лицо. И работала как ни в чем не бывало, и не пыталась спрятать, скрыть от чужих глаз затвердевший, будто вскормленный на одной картошке, живот. Одно беспокоило Алю: она боялась рожать, потому что за свои девятнадцать лет не претерпела ни одной крепкой боли и ни разу ее мать не водила к врачам. Один только раз, помнится, она прыгнула босой ногой на разбитую бутылку, но тут же сама вытащила осколок из пятки, замыла кровь в луже, замотала лоскутом и пошла дальше играть с девчонками.

— Мам! — проснувшись как-то ночью на последнем месяце, жалобно спросила Аля.— А резать меня там не будут?

— Только им и делов — таких дурочек резать! Ножиков не хватит.

Когда тетя Груша проводила Алю в район, в родильный дом,— посидела там в приемной, поплакала в мятый, мокрый платок. Услышала, что родился внук, спохватившись, побежала до магазина, развязала тугой узелок на том же платке, достала деньжонок, купила бязи на шесть пеленок, голубое одеяльце и погремушку — зеленого попугая. И уж конечно не удержалась, стала объяснять продавщице:

— Регистрировать понесем, убрать во что-то надо. Ты погляди, каких теперь ребят нарядных приносят! А мы что ж, ай не работаем обе? Отрежь мне, Нюша, батистику на пододеяльничек. Дорогой он? Ну, все равно режь!

Потом долго сидела у дочери. Показали ей и внука.

— Это хорошо, что парень,— сказала тетя Груша раздумчиво.— Парень уж тебе такого гостинца не поднесет... Ешь передачку-то. Завтра творожку откину, привезу тебе. Петушка, может, зарубить?

Аля чуть повела головой: ничего, мол, не надо.

— Малышочка-то как назовем? — ласковее спросила мать.— Имечко еще не обдумала?

— Славиком хочу,— счастливо щурясь от сознания, что все страсти уже позади, сказала Аля.— Станиславом. Правда, хорошо?

...Так обернулась она, девчонка из деревни Гуськи, матерью-одиночкой, и появился в этой деревне мальчик Станислав Ягодкин, которому отчество записали не по

отцу, а по дедушке — Павлович. В день, когда записывали ему это имя, тетя Груша выпила в кругу близких, вышла, веселая, на выгон вместе с внуком, показывала всем его безволосую головку, целовала ее и приговаривала:

— А мы вот они какие! Родите вы таких!

По первому снегу Аля посадила своего сына в коробок и повезла катать по деревне. Она считала, что ей нечего прятаться: кому он может помешать, ее маленький сынок, такой спокойный, милый и чистый, розовый, как вымытый водой камешек? Наоборот, ей казалось, что, увидев ее мальчика, все непременно должны улыбаться, щелкать ему языком, брать на руки, подкидывать. Да оно почти так и было: ребятишки рождались в Гуськах нечасто и уж стали забывать те времена, когда их в каждой избе была дюжина, неумытых и бесштанных.

— А все же ты зря людям глаза не мозоль,— осторожно советовала мать.— Кто с тобой порадуется, а есть такие, что и осудят. А ты таскаешь его повсюду, словно ты не мамка, а нянька...

Случалось и так, как говорила тетя Груша. Были и такие, которые зло подшучивали:

— А кто это у нас в Павелец собирался?

Тетя Груша, когда такие намеки слышала, кидалась наседкой:

— Да что ж нам теперь — в омут головой сигать? Какие люди — собаки, прости ты меня бог! Из чужого горя смех делают!

И думала тоскливо, глядя на беззаботную до поры до времени Альку, играющую со своим мальчонкой: «Не понимает, дурочка, что над своей головой сотворила! Я жива, а меня не будет, кому они нужны?.. Встретит человека, а он первое дело спросит: где, мол, ты малого-то купила? Вот тогда уж не смех ей будет!»

Но Аля материных тревог не разделяла. Ей казалось, что еще очень много хорошего может быть у нее впереди и люди не будут ей мешать.

...В этот день с утра был дождь, грозовой, сильный. Поле набухло, как ржаная опара. Накануне на свекле работала машина, нарезала букеты по черной, жирной земле. Сегодня нужно было бы идти на прорывку, но тучи не расходились.

— Дождевик надень да ступай,— посылала мать Алю, когда чуть перемежилось.— Не размокнешь, ай ты сахарная? После дождя и редить-то любо. Неравно завтра опять прольет. Тогда и вовсе в эту пучину не влезешь.

Але не очень хотелось слезать с теплой лежанки, где она играла со своим Славиком, которому уже пошел второй год. Но если мать сказала — лучше идти, а то раскричится и вечером из дома не пустит. Она спрыгнула, стала одеваться, а мальчишка сразу же перекочевал на бабкины руки.

— Ох ты связа наша! — сказала тетя Груша, а сама тянулась поцеловать его в светлое темечко.— Без тебя мы сейчас в четыре-то руки так бы наддали!..

Когда Аля вышла на улицу, дождя уже не было и стало очень тихо... Казалось, слышно, как сбегают капли с осота, как распрямляется примятый молодой овес и стремится кверху теплый парок от чернозема. Дорога, на которой еще вчера перинкой лежала серая пыль, стала черная и вязкая, как смола, заплыла лужами, и в них купались прыткие воробьи.

На участке свекла стояла бодро, несмотря на дождь, подняв, как заяц, зеленые уши. Над бороздами расплывался белый пар. А с полудня начало так греть, что свекольные листья, казалось, под руками растут, набухают.

— Алька, это ты там?!

Аля оглянулась: мимо участка со станции шла Дуська Кузина. Каждое лето приезжала она в Гуськи навестить родню. Заходила всегда и к Ягодкиным: Дуськина старшая сестра доводилась тете Груше невесткой.

— Помоги чемодан донести. Ей-богу, без рук осталась!..

...Тем же вечером Дуська со своей сестрой, тети Грушиной невесткой, сидела у Ягодкиных в избе. Вид у нее, как и всегда, был шикарный. В прошлый приезд, Аля помнила, голова у Дуськи была цвета соломы, а теперь отливала темной бронзой. Платье узкое, в обтяжку, с двумя «молниями» по бокам. На маленькой короткой шее — круглые, чуть ли не по яйцу, бусы в два ряда. Рот сильно подведен. Но краску она тут же съела со студнем.

Дуська рассказывала за столом, что живет очень хорошо. Дали ей от мебельного завода однокомнатную квартиру: газ, вода горячая — все под рукой. Обстановку купила новую, старья за собой не потащила.

Аля сидела с сынишкой на руках. Тот тянулся схватиться за бусы на Дуськиной шее.

— Завела ты себе заботу! — снисходительно сказала Дуська и протянула руку с острыми коготками, чтобы погладить Славика по голове.— Была бы ты вольный казак, я бы тебя сейчас с собой увезла, на завод к нам устроила. Чего ты тут, в деревне-то, увидишь? Так и засохнешь на своей свекле!

Аля от неожиданности не знала, что и сказать. А мать, хотя втайне и держала в голове, что рано или поздно Альке надо куда-то отправляться за счастьем, тут тоже растерялась: вдруг уж как-то сразу...

— Да нет, у нас вроде бы сейчас ничего... Хлеб бесперебойно, картошек хватает, и деньгами дают... Опять же и товар всякий привозят, модное даже. Зачем ей от своих отбиваться? Тут мать, родня...

Дуська усмехнулась:

— «Картошек»!.. Господи, да что же она, с матерью да с родней век сидеть будет? Странно ты, тетя Груша, рассуждаешь! Она же молодая, ей жизнь устраивать надо.

— Это — верное твое слово,— тихо сказала тетя Груша и сунула к лицу старый фартук.

Все глядели на Алю, ждали, что она скажет. И она долго молчала.

— Вот если бы всем вместе...— робко сказала она наконец.

Тут уж вмешалась и невестка, Дуськина сестра:

— Да куда ж вы всем табором-то, как цыгане? Кто вас там ждет? — И стала горячо доказывать: такой случай упускать глупо. Свой человек поможет, устроит.— На штапельное платье ты и тут, конечно, заработаешь, да кому ты тут нужна и в штапельном-то? А в городе просторней, никто там про тебя не знает, глядишь — и найдется человек. Тогда и Славку заберешь. Мы их тут не обидим.

Тетя Груша первая сообразила: невестка потому так старается, что тут свой интерес: Алю проводят, свекровь к себе заберет, чтобы за ее ребятами смотрела, а моло-

дая хозяйка на ферму выйдет, не то грозят участок обрезать. Дворы рядом, огорожу небось мечтают снять, чтобы полгектара чернозему себе прибрать: одной картошки возов тридцать накопают.

И тетя Груша сказала самым решительным образом:

— Алевтина пущай едет, а мы со Славиком из своего дому не пойдем. Так что и не рассчитывайте. Я не из трех щепок складена, чтобы в сиделках вам сидеть. Еще и в колхозе поработаю. Пенсию вот дадут. Алька деньжонок нам когда пошлет. Проживем. А вы свои дела, как хотите, управляйте. Не за-ради вашего интереса мне Альку с глаз отпускать. За-ради ее самой — другое дело. Может, правда, бог даст, жизнь свою оборудует.

Уезжала Дуська через две недели. За это время Аля с матерью много передумали, переговорили.

— Может быть, мама, правда поехать? Устроюсь, тогда вас возьму. Славик вырастет, в институт поступит...

— Загадала! До тех пор сто снегов сойдет! Ты о себе думай.

И, не дожидаясь Алькиного решения, сама пошла за справкой к председателю колхоза. Тот сначала заартачился: время ли летом из колхоза отпускать?

Но тетя Груша нашла ход:

— Через твоего же племянника, Иван Андрияныч, Альки моей жизнь сломанная. Претензии к тебе нет, а справочку дай. У тебя у самого вон две дочки в городе. Сам понимаешь, какая Альке моей теперь здесь жизнь! А свеклу всю на меня переложь. Обработаю.

Собрали Алю быстро и потихоньку от лишних разговоров, будто погостить к родне: зачем подводить председателя? Мать все уговаривала, совала Але валяные сапоги с калошами. Хорошие ведь валенки, только этой зимой скатанные. Не оглянешься, как опять зима подступит.

— Да на кой ей валенки? — нетерпеливо сказала Дуська.— Что она там будет, как колхозница, ходить? Ботинки на меху купит.

Они выехали рано, зарей. Было розово и холодно. Аля, пока шли полем до станции, то и дело оглядывалась на Гуськи, на свой дом в кружеве молодых яблонь, ее трясла тоскливая дрожь, а навязанный матерью узел казался непомерно тяжелым. Мать семенила рядом и

что-то говорила, старалась шепнуть в ухо, чтобы слышала только Аля.

В вагоне народу было мало, и те, кто ехал, дремали, потому что час был ранний. Аля глядела в окошко, за которым все еще виделось ей мокрое лицо матери, ее выцветшие, набухшие слезой глаза и жалконькая мордашка сына, которого подняли еще затемно, теплого и ничего не понимающего.

Аля прикусила губу — так жалко было Славку! Правда, он больше бабушкины руки знал, чем ее. Бабушка и ночью поднималась пошикать, потрясти: жалела Алькин сон. И кашку всю скармливала мальчишке без остатка, а у Али на это терпения не хватало. Зато уж если откуда-нибудь возвращалась, то тащила конфеты и пряники полным карманом. У других ребятишек в Гуськах лет до двух вся обувь — это связанные бабушками носки из толстой пряжи. А своего Славика, чуть тот пошел, Аля обула в красные башмачки на шнурочках. Кто бы ни ехал в город, просила то шапочку для Славика, то носочки...

— И чего расстраиваешься? — заметила Дуська, почувствовав, что Алька близка к слезам.— Тебе плакать не приходится, едешь на готовое. А я вот десять лет назад отсюда уезжала к голому месту. Не знала, с чего и начну...

Дуська говорила тихо, и лицо ее, чужое, сильно подмалеванное, стало как-то добрее, проще.

— Две зимы на торфу отработала по вербовке. Потом в няньки к ребенку устроилась. Ой, про это и вспоминать неохота! Тычешь ему, бывало, кашку манную, а он не ест, балуется, норовит тебе ложку в рот запихать. Забавляй его по-всякому, погремушкой тряси... Нас вон у матери семеро было, так не до уговоров: хочешь — ешь, не хочешь — с рук долой. Я Сеньку, Витьку нянчила, так иной раз за баловство так по затылку съездишь!.. Что ж делать, приходится.

— А мы нашего никогда не бьем,— тихо сказала Аля.

— Зачем вам его бить: он у вас один. Было бы у тебя их пяток!.. Да, сейчас в деревне все стало по-другому: девчонки только и знают в школу бегать да в игры играться. А я, маленькая была, на всю семью картошки

по три чугуна начищала. Ты мать свою спроси: меня ведь от земли не было видно...

И Дуська добро усмехнулась. «Она все-таки хорошая,— подумала Аля.— Когда она не гордится, совсем она другая...»

2

Да, была Евдокия Кузина и другая: маленькая, рыжеватая девчонка с жидкими косичками, в которые были вплетены ботиночные шнурки. Ходила в полушалочке и коротеньком пиджачке из чертовой кожи. Попав в город, первое время равнодушно не могла пройти мимо мороженого и тратила на него все свои первые деньжонки. Потом остепенилась. По совету дворничихи, с которой подружилась, гуляя с хозяйским ребенком, стала воздерживаться от «глупостей» и собирать деньги на пальто. И довольно быстро научилась придерживать копейку.

А мать Дуськина между тем писала ей из Гуськов:

«Дорогая доченька Дуня! Приехала бы погостить, своих забывать грех! Налоги этот год с нас все чисто сняли, дай бог здоровья! Два стада гусей продали, взяли телку, к пасхе будет молочко. Топки дали в колхозе два воза. Картох своих нарыли восемь возов, одна к одной. Жизней своей удовлетворенные. Сенька на тракториста закончил. Витька сторожит коней в колхозе. Очень просим, дочечка Дуня, купи Витькý сапоги литые, а то в лугах сыро, приходит с мокрой ногой. А Сеньке бы брючки недорогие, а то парень стал симпатичный, а выйти не в чем абсолютно, от людей неудобно. Ребятишки раздетые, но это ничего: они еще малы, проходят и так, а мне самой и вовсе ничего не надо: хто мене видить?..»

При этих словах Дуська горько всхлипнула: матери-то всего сорок. И читала дальше:

«Еще просьба, дочечка Дуня, купи гвоздей килограмм десять, хошь сотки, хошь на пятнадцать... Думаем ту весну избу перебрать, колхоз обещал подмогнуть, поскольку отец погибший на фронте. Мы тебя все целуем несчетно раз и просим не забывать мать, братьев и сестер. За маму писал твой брат Владислав».

— Ой, да слушай ты их! — махнула рукой дворничиха, когда Дуська с непросохшими глазами и с письмом

пришла к ней.— Сроду у них, у деревенских, такая привычка — клянчить! Нынче ты им сапоги да брючки, а завтра щиблеты запросят да коверкоту на костюм. Их вон там какой косяк, разве тебе их всех обуть-одеть? А гвоздей, погоди, я ребятам из домоуправления скажу, будут сараи разбирать, они тебе старых надергают. В деревне-то зимой делать нечего, постукают, распрямят.

У Дуськи внутри еще поболело, но дворничиху, казавшуюся ей непререкаемым авторитетом, она послушалась. И может быть, мать и братья не дождались бы ни литых сапог, ни гвоздей, если бы в жизни Дуськи не наступила неожиданная перемена.

Однажды в свой выходной день она ехала в трамвае и села рядом с молодой, приятного вида женщиной. Когда Дуська вошла, мест не было, а мальчик лет десяти, очень похожий на мать, сразу вскочил, уступил Дуське место.

— Какой сынок у вас хороший! — сказала Дуська соседке. А потом спросила: — Я извиняюсь, не скажете, где это вы бусики такие интересные купили?

— Да разве помню? Вроде бы у главного рынка в палатке. А вы здешняя?

Оказалось, землячки, от деревни до деревни не больше полусотни верст. Женщина дала Дуське свой адрес: «Городок мебельщиков, корпус третий, квартира восьмая. Е. Т. Беднова».

— Да прямо спрашивай Катю из отделочного цеха. Я тебя и в отдел кадров провожу. Нечего молодой девчонке в няньках сидеть!

Поговорили и о деревне. Екатерина Тимофеевна призналась, что как перед войной уехала, так деревни своей и не видела больше. Отец, брат с фронта не вернулись, мать при немцах умерла, сестры тоже в разные стороны подались: одна в Мценске, другая в Курске. Двора, слышала, уже нет: колхоз взял под амбар.

Дуська в порыве чувств рассказала про письмо матери и прилгнула, что вот ездила сейчас брату сапоги искать. И ждала, что землячка скажет.

— Хорошо делаешь, что своим помогаешь. Мы вот поразбежались оттуда, а ведь там тоже живые люди. Забывать нельзя. Когда еще деревня по-людски-то заживет!

Разговор этот был осенью, в пятьдесят третьем. А к ноябрьским праздникам Дуська уже стояла за верстаком в полировочном, рядом со своей новой наставницей и подругой. Екатерина Тимофеевна была вдова, постарше лет на двенадцать, но дружба у них с Дуськой пошла запросто.

Она как-то сразу присохла сердцем к безотказной работяге Дуське, очень увлеклась своей землячкой. Обе были разговорчивые, веселые, даже хохотухи.

Руки у Дуськи были сноровистые. Грунтовку изделия усвоила она почти в неделю. Но схватывала все глазами, из-под рук, а разъяснения доходили до нее туговато.

— Чего ты мне словами сыплешь: порозаполнитель какой-то, пленки, филенки... Ты показывай, а я погляжу.

Глядела и тут же делала сама, как надо. Екатерина Тимофеевна, бывало, только усмехнется: ну бес! Всего два месяца подержала она Дуську в ученицах, потом представила ее на разряд.

— Раз освоила все, действуй самостоятельно. Задаром денег за тебя получать не хочу. Как вот только ты техминимум сдашь? Теория-то у тебя...

— Катюнь! — жалобно сказала Дуська.— На кой она, теория-то? Пусть вон на радиолы мои поглядят. Ведь собственный нос увидят, и зеркала не нужно. Вот им и теория!

Работать же продолжали они на пару. Пока Екатерина Тимофеевна кровать или гардероб по второму, по третьему разу проходит, Дуська новые изделия грунтует, подготавливает: морит, воскует. У Екатерины Тимофеевны было уже мастерство, опыт, а Дуська брала ухваткой, скоростью. И больше их в цехе почти никто не зарабатывал. В общежитии у себя на койке Дуська почти и не ночевала, все околачивалась у Екатерины Тимофеевны, ели-пили из одной чашки.

Такая любовь шла у них с год. Сама Екатерина Тимофеевна с сорок четвертого была в партии, хотелось ей и Дуську вовлечь хотя бы в комсомол.

— Ой, ну чего, Катя, выдумываешь! — испугалась та.— Я двух классов не закончила.

— В комсомоле-то как раз тебя учиться и заставят. Ты чего, Дусь, ей-богу, срамишься? Как ты жить-то думаешь?

Дуська помолчала, вздохнула и сказала:

— Как хошь, Катюнь, не могу! Учиться — это мне ножик вострый! Может, дура я такая уродилась... Но думаю и так прожить. Живут же люди.

— Дело твое,— в первый раз сухо ответила ей Екатерина Тимофеевна.— Не хочешь настоящим человеком стать, силком, конечно, не заставишь.

Через полгода у них наметился разлад. Дуське шел уже двадцать третий. Хоть и оставалась она как будто недоросточком, но вся как-то налилась и окрепла. И франтихой стала отменной. Чаще оставляла теперь Екатерину Тимофеевну одну вечерами. В начале лета повезла Екатерина Тимофеевна своего Женьку в пионерлагерь, дала Дуське ключ от комнаты. Та не рассчитала, что хозяйка вернется в тот же день, и привела парня.

При парне этом Екатерина Тимофеевна сделала вид, что ничего не случилось. Дала ему уйти, а потом сказала растерявшейся Дуське:

— Ты не думай, будто я обижаюсь потому, что ты его на мою постель привела обниматься. Обидно, что скрываешь, с кем связалась. Ты этого Юрку брось. Кого-кого, а у нас на заводе его хорошо знают!

— Да почему, Катя? — расстроилась Дуська.— Того бросишь, этого, а потом останешься одна... Вот ты одна, так хорошо тебе?

— Плохо,— вздохнув, ответила Екатерина Тимофеевна.— А все лучше, чем с таким... Ты думаешь, он женится?

Она уговаривала еще, но видела по отсутствующему, туманному Дуськиному взгляду, что все равно не уговорит. Видно, с Юркой этим шла уже «любовь» на полный ход.

— Опять же, говорю, дело твое. Но ко мне не води. У меня мальчик растет. Он грязи пока что не видал.

Так пошла дружба на убыль. Екатерину Тимофеевну как раз назначили в это время мастером-производственником, и их пара с Дуськой распалась. Но Дуська как была, так и осталась первой на доске показателей. Больше даже: пока работала вместе с Екатериной Тимофеевной, обе по гудку шли домой, никаких сверхурочных халтур не прихватывали. Осталась Дуська одна, и теперь никакие уборщицы, никакие дежурные пожарной

охраны не могли ее до полной темноты вытурить из цеха. Она неутомимо терла и терла филенки кроватей, дверцы шкафов, ножки, спинки кресел. И мурлыкала себе что-то под нос, словно ее быстрые, легкие ноги не стояли у верстака уже двенадцатый час. Заказов завод получал тогда много: кругом дома-новостройки, мебели нужно пропасть, заказчики рвут из рук недоделанное. И кое-кто из отделочников подрабатывал знатно, но Дуська — первая.

— Вот жадна, блоха! — говорили про нее.— Можно подумать, детей куча.

— А Юрку-то кто же будет поить? Ему немало надо: пол-литром не обойдешься.

Дуська не могла не слышать такие разговоры. От них иногда плакала злыми слезами, но Юрку не бросала. За год сделала через одну ловкую женщину три аборта. В последний раз обошлось ей это что-то очень тяжко, и, как ни старалась держаться в цехе молодцом, пришлось вызвать машину с красным крестом.

Екатерина Тимофеевна пришла к ней тогда в больницу.

— Ой, Дуся, ну что же мне тебе сказать?.. Не надо так... Если любишь ты этого Юрку, так родила бы. Завод тебе поможет, комнату дадут. Ясли у нас хорошие. Разве ж так можно?

Дуська прикрыла веками потемневшие глаза.

— Юрка, Катюнь, не велит... Сказал, брошу.

— А может, не бросит. Увидит ребенка, наоборот...

Дуська снова закрыла глаза.

— Не тот человек, Катюня... Он уж одной алименты платит, а жить с ней не хочет. Да теперь что говорить? Врач сказал, не будет у меня больше... Нет мне судьбы, Катя.

— Ума нет, а не судьбы,— подавив жалость, сказала Екатерина Тимофеевна.— Ладно, Дусенька, поправишься, тогда поговорим обо всем.

Дуська еще лежала в больнице, а Юрку судили товарищеским судом. Екатерина Тимофеевна как-то сказала ему при встрече: «Ну, Коняев, я не я буду, а с завода ты полетишь, и моли бога, чтобы тебя на казенные харчи не посадили». Так и добилась своего.

Дуська вышла из больницы, Юрки уже в городе не было: срочно завербовался и уехал куда-то.

В цех Дуська шла с тяжелым сердцем: ждала косых взглядов, осуждений. Но ничего этого не было. Дуська поняла, что это Екатерина Тимофеевна постаралась, решила не давать в обиду.

Верстачок Дуськин как стоял на лучшем месте, у самого окна, так и ждал ее, свободный, прибранный. Столяр принес сразу три большие ореховые шкатулки, поставил перед Дуськой.

— Здорово, Евдокия Николаевна! Мы тут тебя со спецзаказом ждали. Ну-ка, выдай качество: в Чехословакию пойдет.

Дуська молча кивнула. Руки ее привычно скользнули под верстак, в знакомый ящичек, где хранила она сухую вату, пемзу, шкурку... Поставила шкатулку на мягкие прокладки, плеснула немножко густого лака на ватный тампон и привычным движением прошлась по ореховой глади. И всю смену молчала.

3

— Ну, вот, кума, располагайся,— сказала Дуська, вводя Алю к себе в «однокомнатную».— Чемодан тут поставишь, в коридоре. А баретки свои скинь: у меня коверчик на полу.

Аля стоя разглядывала комнату: гардероб с зеркалом во весь рост, над ним картина, которая, Аля знала, называется «Дождь в Сокольниках». Дуська раскрыла окно, ветер донес запах свежих опилок и заколыхал пестрые гардины.

Сели пить чай. Аля никак не могла напиться: уж очень здесь была вкусная вода. Дома у них вода отдавала гнилым колодезным срубом. Там этого не замечали, а оказывается, совсем другой чай, когда из водопровода. Она сказала об этом Дуське, и та заметила:

— Знаю. Бывало, девчонкой зачерпнешь ведром, а там лягушка...

— Нет, что вы! — опровергла Аля.— Лягух у нас нет. Просто сруб менять пора.

Было уже поздно, Але хотелось спать. Отяжелев от чаю и от подступающей грусти, она неподвижно сидела на стуле, старалась не зевнуть нечаянно и глядела, как Дуська переодевается в пестрый, такой же, как гардины, халат.

— Ложиться погодим,— сказала та.— Ко мне еще, может, человек один зайдет...

Но «человек» не появлялся. Дуська вся как-то сникла, посуровела. Когда на часах было одиннадцать, молча закрыла входную дверь на задвижку. Аля легла на полу. Совсем не потому, что было жестко или неудобно, но на нее напала едкая тоска, и сон сразу убежал. Первую ночь она спала в чужом доме, рядом не было теплого Славки, не слышно было, как похрапывает мать. Аля лежала, закусив губу и уставившись в темную ножку стола.

— Не спишь? —негромко спросила с кровати Дуська.— Как же это ты с ребенком промаху дала? Ведь сейчас не пятьдесят пятый год. Любая неграмотная баба дорогу знает.

Аля ответила ей молчанием. Но Дуська чувствовала, что она не спит.

— Слушай, Алька,— сказала она с расстановкой.— Ко мне один парень ходит... Муж он мне, не муж — считай как хочешь. Парень красивый и... моложе меня. Так что ты, Алевтина, пока у меня здесь... Если я замечу!..

Аля вдруг выкрикнула со слезами, поднявшись на своей постилке:

— Вы чего говорите-то, тетя Дуся!.. Чего вы такую чушь говорите! Вы меня за... какую считаете? Зачем тогда и везли сюда!.. Я только переночую и уйду, нипочем не останусь!..

Дуська помолчала.

— Чего ты взвилась-то? — уже мягче спросила она.— Подумаешь, обидели тебя! Спи давай.

...Наутро Дуська отправилась узнать насчет Али в отдел кадров. Велела ей запереться и никому не отворять. Але хотелось побежать посмотреть город, но перечить Дуське она не решилась. Села на окошко и стала рассматривать завод за высоким забором. Видела, как через главные ворота выезжают автомашины, высоко нагруженные столами, шкафами, диванами в красной и синей обивке. Видела, как с вагонов, загнанных в тупик, сгружают желтый тес, фанеру пачками. Слышно было, как в закрытом помещении визжит механическая пила, а подсобники выгребают из цеха пышные, как мука-крупчатка, опилки, кудрявые кольца стружек.

Правее завода начинался город. Накрытые синим небом, отливали серебром крыши новых домов. В скверике, под самыми Дуськиными окнами, цвели огненные сальвии, и Але вспомнилась махровая герань, которая цвела у них дома на окошках, загораживая все стекло своими пахучими листьями и бархатными цветками. Оттуда, из окна их дома, был виден только зеленый выгон с маленьким прудком посередине, около которого всегда топтались белые крикливые гуси.

Здесь, из окна третьего этажа, виделось далеко: вышка телевизионной станции, как паутинка в голубой выси, чуть затуманенные летней жарой, но хорошо видные вздыбленные краны, которые несли в разные стороны свою тяжелую кладь, синяя полоса реки и белый речной трамвай на ней. Но вот деревья здесь стриженые, не раскидистые, и нет ни рябины, ни черемухи, ни бузины, которая хоть и яд-ягода, но так красиво горит все лето по заборам.

Вчера вечером Аля спросила у Дуськи, далеко ли здесь парк культуры. Та ответила неохотно:

— Ты работать приехала или по паркам ходить?! Будет тебе и парк и цирк, все будет. Сперва на ноги стань.

Но Але подумалось, что можно одновременно и «вставать на ноги» и пойти в парк, в кино. Если, конечно, здесь недорого. Дома, в деревне, она ни одного фильма не пропускала, даже когда Славка родился, брала его с собой: очень он был спокойный, никому не мешал.

Внизу ходили люди. Женщина провела мальчика лет трех, и Аля сразу решила, что должна здесь найти и купить такую же фуражечку с большим козырьком от солнца и послать сыну в деревню. Потом она увидела молодого негра с каракулевой головой, очень красивого, даже синие губы его не портили. И Аля обрадовалась, что видит в первый раз в жизни живого негра. Подумала, что интересно бы с ним сейчас поздороваться: как бы он ответил? В деревне-то все друг с другом здоровались, знакомые и незнакомые.

...Дуська пришла наконец оживленная, с какими-то покупками. После уличной жары сразу заперлась в ванной, зашумела водой. Когда вышла оттуда с сырыми, потемневшими до черноты волосами, объявила Але, что

работа ей будет: в отделочный цех ученицей — к ней, к Дуське. Учиться три месяца, потом присвоят разряд.

— А где жить? — осторожно спросила Аля.

— С жильем заминка. Учащихся общежитием не обеспечивают. Ну, да у меня три-то месяца проживешь. Дорого не возьму. У нас тут за койку рублей по пятнадцать, по двадцать берут. А я двенадцать. Свет, газ, вода — это все в эти же деньги.— И, увидев Алину растерянность, спросила: — Что, не согласна?

— Согласна,— не глядя на нее, тихо ответила Аля.

Она вдруг почувствовала, что не так-то легко ей будет вырваться из этой «однокомнатной» и, значит, долго не повидать своего сыночка и светлоглазую ворчуху мать. Как они там? Сидят небось у хатки, смотрят на гусят, и бабушка говорит: «И где там, Славик, наша маманька? И где она там плясы танцует, песни поет?.. Позабыла небось нас с тобой...»

Аля отошла к окну, чтобы Дуська не заметила, как запрыгали у нее губы и налились слезинками глаза.

...Этим же вечером Аля увидела Дуськиного «человека». Он пришел часу в девятом. Действительно, красивый, только угрюмый, немногословный парень, с большими, но пустыми глазами. Он почему-то не снимал кепки, даже когда сел на диван, словно забежал на одну минуту и вовсе не собирался гостить долго.

Дуська на кухне жарила котлеты, чистила селедку.

— Жора, бычки в томате открыть? — крикнула она.

— Открывай,— равнодушно ответил тот.

Пока они ели, пили «Московскую», а потом чай, этот Жора ни слова почти не сказал. И ел так, как будто делал одолжение. Один только раз в нем мелькнуло оживление, и он вдруг спросил Алю:

— А вы с нами не выпьете?

— Я вино не пью,— коротко сказала Аля. И поймала тревожный Дуськин взгляд, который она перекинула на нее со своего любезного.

«Чего это она? — удивилась Аля.— Нужен он мне, идол такой немой!» Она любила ребят веселых, с интересным разговором. Может быть, потому и поддалась тогда своему несостоявшемуся жениху, который знал подход, умел голову закрутить.

— Я улицу пойду погляжу,— поняв, что нужно уйти, сказала она Дуське.

— Далеко не уходи, а то с милицией разыскивать придется,— отозвалась Дуська, сразу успокоившись.

Аля сбежала по лестнице и долго ходила по скверику возле завода. Ходила, пока совсем не стемнело и не осталось ребятишек, только кое-где сидели на лавочках парочки. Уйти далеко Аля не решалась. И когда ей уж очень захотелось спать, она рискнула тихонько стукнуть в дверь. Открыла ей Дуська не сразу. Аля увидела, что ее матрасик постелен теперь в кухне, между столиком и газовой плитой. Жоркина кепка висела в коридоре на вешалке.

— Слушай-ка,— шепотом сказала Дуська.— Ты меня при нем тетей Дусей не зови. Какая я тебе тетя? Всего-то лет на десять постарше... Я сказала, мы подруги. Поняла?

4

Был конец ноября, а снегу уже насыпало много. На заводской территории все пиломатериалы занесло. Груды отходов как снежные горки для ребят. У входа в отделочный стоят друг на дружке прикутанные брезентами, рогожами готовые, отполированные гардеробы, письменные столы. Нижние прямо в снегу.

«Руки отшибить надо!» — подумала Екатерина Тимофеевна, хотя и знала, что со складскими помещениями плохо, а заказчики не спешат брать: импортная мебель перебивает.

Вошла в полировку, где было очень тепло, даже жарковато: на большой плите грелось несколько клеянок с густым казеином. И хотя крутился вентилятор, в цехе жил густой спиртовой запах. Но для Екатерины Тимофеевны это было привычно.

— Что ж ты бутылку-то не заткнешь! Ведь выдыхается политура,— остановилась она возле крайней работницы. — Если думаешь, Клава, ребенка в санаторий летом посылать, с заявлением не тяни, теперь подавай.

Тут же заметила, что у другой, пожилой работницы руки в бинтах, только коричневые пальцы свободные.

— Что это ты, Лиза?

— Да вот лак...

Оказалось, лак выдали едкий. Екатерина Тимофеевна удивилась: почему же не слили и обратно в лабора-

торию не отправили? Сменный мастер стал оправдываться: хотел слить, а они, чертовы куклы, не дают. Говорят, что очень спорый этот лак. Раз-другой им покроешь — шик и блеск!

— А руки травить?

— Что руки! — усмехнулись полировщицы.— Кожа слезет, новая нарастет, а к празднику деньги нужны.

Екатерина Тимофеевна сама собрала с верстаков банки с темным густым лаком. Сказала мастеру:

— Вот я на тебя охрану труда напущу. У вас в голове-то что есть или нет?

И пошла к верстаку, где работала Дуська Кузина.

— Здравствуй, Дусенька!

— Привет, Катюня!

Через Дуськино плечо Екатерина Тимофеевна заглянула, как работает ее ученица. Аля, пригнувшись и чудно́ закусив губу, усердно терла ватным тампоном по кроватной филенке. «Правильно действует,— отметила про себя Екатерина Тимофеевна,— на края налегает, а середка, она сама заполируется». И спросила громко:

— Как ученица твоя, Дусенька? Давно она у тебя?

— Да месяца три, наверное...

— А не больше? Помнится, летом их набирали. Когда ж на разряд выводить ее думаешь?

Дуська быстрым, по-птичьи зорким взглядом оглянулась сперва на Екатерину Тимофеевну, потом на Алю. Быстрые пальцы еще ловчее завертели деревянный карнизик от шкафа.

— Далеко ей еще до разряда. Загрунтовать кое-как загрунтует, а изделие ей самой кончить слабовато. Пробовала давать: она масла наворотит да и размазывает год... Чего она заработает, одну-то ее поставить?

Екатерина Тимофеевна заметила, как щеки у Али вспыхнули, она почему-то зажмурилась и низко наклонилась над верстаком. Екатерина Тимофеевна оценила обстановку.

— Одно из двух, Евдокия Николаевна: или она дурочка круглая, или ты плохо учишь,— спокойно сказала она.— За полгода медведя выучить можно.

— Так возьми да научи,— сухо отозвалась Дуська.— Думаешь, она мне нужна больно? Копейка ее, что ли, на меня идет? Слава богу, сама больше других зарабатываю.

— И хорошо. Никто тебя ни в чем не подозревает,— еще спокойнее пояснила Екатерина Тимофеевна и сделала знак Дуське, что шума не надо. Тем более что другие бросили работать, стали прислушиваться.

Кто-кто, а Екатерина Тимофеевна, сама отработавшая в цехе чуть ли не пенсионный срок, знала, есть ли выгода мастеру иметь ученицу. Если уж действительно неспособная какая-нибудь попадается, то с такой только горя хватишь и время зря проведешь. А если мало-мальски сообразительная девчонка, то она плохо-бедно в месяц на пятнадцать — двадцать рублей наработает для мастера. И за обучение та получит еще десять рублей. Вот некоторые и тянут, не торопятся на разряд выводить. Все секреты отделки на конец приберегают, держат учениц на самых простых операциях.

Ссориться с Евдокией Кузиной, тем более при всем честном народе, Екатерине Тимофеевне не хотелось. Все-таки когда-то подругами были.

— Ну вот, девочка,— сказала она, обращаясь к Але, но так, чтобы и Дуська поняла.— Недели через две аттестуем тебя. Чему не доучилась, будь добра, сама в практике доходи. На сдельщину станешь, прыти у тебя сразу прибавится. Предприятие тоже не бездонный карман, чтобы вас по году учить. Соображать надо, доченька!

Сказала это так, что Дуське и в голову не пришло, будто Аля ходила в завком жаловаться. Наоборот, будто сама Аля виновата, что до сих пор нельзя ее поставить работать самостоятельно. Но она-то поняла короткий, ободряющий взгляд, который за Дуськиной спиной кинула ей Екатерина Тимофеевна.

Та вышла из цеха внешне спокойная. А у самой кипело: «Нашла себе Евдокия батрачку!» Решила твердо: надо девчонке помочь, из Дуськиных рук вырвать. Неплохая как будто бы девчонка. Все мы молоденькие-то были...

Записала себе в памятку. И через две недели снова пришла в отделочный. Увидела Алю. Той поставили верстачок у самого входа, и она, сопя от усердия, отделывала телевизорный столик. Умазалась вся, вспотела — так старалась.

— Шуруешь, доченька? — спросила Екатерина Тимофеевна, приглядываясь, как буреет под Алиными ру-

ками матово-серая фанера, принимает чуть заметный блеск.

Аля провела коричневой рукой по лбу и под носом. Стеснительно поглядела на Екатерину Тимофеевну.

— Вот столик один отделала, а сдать никак не могу... ОТК не принимает, говорит — не готово... Я сушу, сушу, а все ласы остаются. Наверное, я не знаю как...

Екатерина Тимофеевна бросила осуждающий взгляд туда, где работала Дуська. Но та не повернула головы. Екатерина Тимофеевна сняла пальто, засучила рукава.

— Смотри сюда!

Прошлась несколько раз сухим тампоном по блестящей крышке столика, заглянула как-то из-под низа, подсушила тампон об горячую ладонь, еще раз прошлась каким-то скользящим, летучим движением.

— Сейчас, дочка, будет порядок. Вон контролер пошел, зови его. Сдадим твой столик. А после я тебе все объясню. Дела-то тут на копейку.

И тут Екатерина Тимофеевна поймала из противоположного угла, из-под дверцы массивного желтого гардероба, холодный, злой Дуськин взгляд: «Что, мол, рада? Досадила человеку?»

Домой Аля шла вместе с Екатериной Тимофеевной. Шла розовая от радости и от мороза.

— До чего ж у вас здорово получается! Если бы я так могла, я бы...

— Ладно, ладно, все впереди. А вот на перчаточки резиновые раскошелься. Барышне неудобно с коричневыми лапами ходить. Ребята тебя засмеют.— И спросила: — А по деревне-то скучаешь?

— Скучаю,— сказала Аля вдруг по-детски печально и поглядела на Екатерину Тимофеевну круглыми, светлыми глазами.— А когда мне, Екатерина Тимофеевна, отпуск будет?

Пока шли до заводских домов, Екатерина Тимофеевна выведала, что Аля не в общежитии живет, а на частной квартире койку снимает. И будто сказали ей в коммунальном отделе, что раньше весны на общежитие нельзя рассчитывать.

— Ну, это мы еще поглядим! — пообещала Екатерина Тимофеевна.— Надо, так найдут место. Что, у тебя

деньги бешеные? Небось десятку отдаешь? — И, услышав, что двенадцать, покачала головой: — Что ж ты молчала? Гордые вы очень, молодежь: боитесь свою нужду показать...

...Очень удивилась Екатерина Тимофеевна, когда тем же вечером пришла к ней домой Дуська Кузина. Повесила на вешалку шубку из искусственного каракуля.

— Ты уж извини, Катя, я насчет путевки. В цехе-то неудобно было подойти, я уж к тебе сюда, по старой дружбе... В отпуск хочу зимой пойти, устала что-то.

— А в деревню-то уж не поедешь летом?

Дуська присела, сложив под грудью маленькие, аккуратные руки.

— В деревню ехать, Катя, сама знаешь, карман денег надо. Родни — табун, каждому привези. Этим летом съездила, только неприятностей нажила: одной сестре для девчонки ситцу на платье набрала, так она в обиду: «Ты вон Дашкиной небось штапельного привезла, а моя чем хуже?» Да пропадите вы, думаю, пропадом! Еще сама не жила как следует... Пока везешь им, хороша, а не привези...

— Ну, уж не преувеличивай,— остановила Екатерина Тимофеевна.— Своей семьи нет, не грех и сестриным детям привезти. Не прибедняйся, Евдокия Николаевна. А насчет путевки я твою просьбу учту. Думаю, что будет тебе путевка.

Дуська не спешила уйти. Екатерине Тимофеевне казалось, что она хочет в чем-то оправдаться перед нею. Но не решается. Поэтому начала разговор сама.

— Как же так, Дусенька, с ученицей твоей нехорошо получилось? По-моему, она девчонка способная, схватчивая.

Дуська чуть прикусила подкрашенную губу.

— Девчонка! Этой девчонке государство пять рублей пособия платит. Нашла девчонку! Пусть спасибо скажет, что я ее из деревни, из грязи вытащила. Мать в три ручья плакала, просила: возьми, устрой. Здесь честных девчат деть некуда, а мою дуру кто с ребенком возьмет? С незаконным? Я и пожалела... А она мне вон какую свинью подложила: на весь завод теперь слава пойдет, что я на ней нажилась.

У Дуськи от искренней обиды даже слезы показались. Она утирала их голубым платочком и торопливо

рассказывала, каких трудов ей стоило уломать участкового, чтобы прописал эту Альку. Как уголок ей оборудовала, свою койку с матрасом отдала. Из ее, Дуськиной, посуды ест-пьет, своего стакана не купила...

— Значит, у тебя она живет? — спросила медленно Екатерина Тимофеевна.— Стакана, говоришь, не купила? А на что ей купить-то было? Тебе двенадцать отдай, в деревню, наверно, посылала, раз там ребенок... А ты ее шесть месяцев на двадцати семи рублях держала! Как у тебя кусок-то в горло лез, когда она небось голодная сидела?!

Дуська растерялась, и слезы у нее просохли. И обе долго молчали, не глядя друг другу в глаза. Екатерине Тимофеевне было что-то не по себе: прошлой зимой она сама столько хлопотала, добиваясь для Дуськи квартиры, отдельной, в новом доме. Добиться было трудно: числилась Дуська одинокой, незамужней. И прежняя ее комната была еще приличная, только в доме барачного типа, без особых удобств. «Надо Кузиной отдельную квартиру дать,— добивалась Екатерина Тимофеевна.— Она же у нас лучшая отделочница. Хорошую работу следует поощрять». И поощрили, дали. А она вот из этой квартиры статью дохода сделала: коечницу пустила.

— Как же ты с ней устраиваешься в одной-то комнате? — после долгого молчания спросила Екатерина Тимофеевна.— Жорка твой небось ходит?

Дуська опустила красивые свои, подчерненные глаза.

— Слушай, Катя, какое кому дело? Я в твою жизнь не лезу...

— И я не лезу. Тут о другой жизни речь: девушке молодой нечего на все это смотреть. Может, у нее и «незаконный», как ты выражаешься, но она, по-моему, девушка хорошая. И скажу тебе, Дусенька: одиночным материнством ты ее не попрекай. Вон вся общественность это слово отвергает. Не должно у нас быть «незаконных». А что до тебя, так ты рада бы хоть «незаконного» иметь, да нет их у тебя из-за собственной дурости. Ты меня прости, но я откровенно... Ведь мы с тобой, Дуська, дружили!

Екатерина Тимофеевна добралась до самого больного. Дуська сидела притихшая, как побитая. Но Екатерина Тимофеевна решила бить до конца.

— И еще скажу: койка ей в общежитии завтра же будет обеспечена. А станет работать как следует, комнату выхлопочу. Во всем помогу. Может, то из нее сделаю, чего из тебя, дуры, сделать не сумела...

— Что ж, делай,— тихо сказала Дуська, встала, надела шубку, ушла.

5

Дня за три перед Новым годом, выходя из своей квартиры, Екатерина Тимофеевна нос к носу столкнулась с Алей. Та несла что-то завернутое в платок.

— А я к вам... Мне вот мать двух петухов прислала. А зачем они мне? Возьмите, они хорошие, молодые...

— Сама ты петух! — покачала головой Екатерина Тимофеевна.— Богатая какая: не нужно ей!

Она видела: Аля хочет отблагодарить чем может. И не взять — значит обидеть. Нашла выход:

— Приходи ко мне Новый год встречать. Зажарим твоих петухов, посидим, по рюмке выпьем. Компания у нас, правда, вдовья, но авось не соскучишься.

Под праздник, еще семи часов не было, Аля уже явилась. В новом шелковом платке, круглолицая, забавная в своей торопливости.

— А майонез этот у нас в деревне тоже продают,— заявила она, помогая делать винегрет.— Только мама у нас им брезгует, маслом заправляет. На этот счет она у меня отсталая. И технику не признает: я хотела электрическую печку купить, а она ни в какую. «Это, говорит, не каша, которая на электричестве. Каша тогда, когда она в вольном духу, в печи часочков пять потомится. А электрическую ешь сама...» Чудно, верно? А пирожки у нас мама с калиной уважает. Я ее тоже люблю, калину. Только от нее пахнет дюже, когда паришь...

Екатерина Тимофеевна делала свое дело, но внимательно слушала, что болтает Аля. Та все вспоминала мать, но о сыне ни разу не проговорилась. И Екатерина Тимофеевна прикидывала, как бы незаметно, необидно дать ей понять, что уже все известно.

— Женёк мой что-то запропал,— сказала она как бы между прочим.— Должен забежать переодеться, а потом к товарищу всем курсом Новый год встречать. Хоро-

ший у меня парень Женька! Вот прибежит — познакомишься. А твоего мальчика как зовут?

Аля растерялась, испугалась.

— Славиком...— шепотом сказала она.

— К празднику послала чего-нибудь?

— Костюмчик с начесом... и драже в коробочке.

Екатерина Тимофеевна сдержала улыбку.

— Драже! Такого бы тебе драже всыпать!.. Как же ты такого маленького сынка оставила? Везла бы его сюда. Уж как-никак, а помогли бы тебе и здесь его на ноги поставить.

— Да кабы я знала!..— вспыхнула Аля.— Мне сказали: «Кто вас там ждет?» Знаете, как я это все переживаю! Славку каждый день во сне вижу. Сегодня вот видела, будто он один в луг убежал... Я ищу его, а он в ромашки сунулся и лежит. И будто вижу, что он цветки рвет и в ротик пихает. Я как зашумлю — и проснулась!.. Вы не знаете, Екатерина Тимофеевна, к чему такой сон?..

Женька появился в десятом часу. Высокий, черноватый, большелицый. Рука, которую он сунул Але, и с мороза была горячая и крепкая, как чугун. На Женьке был надет бурый мохнатый свитер, а сам он, широкогрудый и низкоголосый, казался похожим на молодого медведя-добряка.

— Я, мам, купил тут тебе...— пророкотал он, шаря по карманам,— чулки какие-то без шва и духи. Они, по-моему, дамские...

— Чулки или духи дамские-то? — пошутила Екатерина Тимофеевна.— Ну, хорошо, спасибо, Женечка. Чулочки я сама сношу, а духи вот девушке подари. Бери, бери, Алевтина, считай, что дед-мороз принес.

Аля не решилась взглянуть на Женьку, а он подмигнул ей и стянул с блюда пирожок.

— Чего ж ты не собираешься? — спросила мать.— После одиннадцати ни в один трамвай не влезешь.

— Нет, мам, мероприятие сорвалось,— пробасил Женька уже из комнаты. — У Володьки мать заболела, решили перебазироваться к Юрке, а у меня с ним отношения сложные, ну его к черту! Тем более что мы четко вопрос ставили: только с нашего курса. А он еще шпану какую-то приглашает. В общем, остаюсь дома.

Легкое замешательство скользнуло по лицу Екатерины Тимофеевны. Но она тут же сказала:

— Опять неплохо! Ну, займи девушку-то чем-нибудь...

Женька без всяких церемоний повел Алю показывать туристический альбом. И матери не пришлось в этот раз напоминать ему, чтобы он оказывал внимание молодой гостье. Женька с этим здорово управлялся, без всякой натяжки. Екатерина Тимофеевна, исподволь наблюдавшая за Алей, про себя отметила, что и она держится так, как нельзя было и ожидать: сидит правильно, вилку, ножичек держит хорошо, жует незаметно, говорит хоть немного, но впопад. И нет в ней того, что Екатерина Тимофеевна помнила в себе: два года в городе прожила, пока рассталась с деревянной ложкой, высоко поднимала ее над хлебом, будто несла из общей чашки. Еще дольше не могла расстаться с платком: и в людях и дома покрывалась им низко, до глаз. А у этой и причесочка хорошая, и шейка свободная... Вот тебе и деревня!

...После часа Женька пошел проводить Алю до общежития. Вышел без шапки, как ходил всю зиму, и на большую темноволосую голову его лился свет от фонарей и летел снег.

— Вы не обратили, случайно, внимания, сколько я сегодня освоил пирожков? — серьезно спросил он.

— А зачем?..— удивилась Аля.— Кушайте, сколько надо. Вы же... крупные такие.

Женька густо засмеялся.

— Хорошо сказано: крупные! Вырастила мама крошечку: ботинки сорок шестой размер.— И вдруг предложил: — Пойдемте завтра в кино?

Аля считала, что это Екатерина Тимофеевна велела сыну, чтобы он ее проводил. И весь вечер он, видимо, развлекал ее, стараясь угодить матери. Но вот насчет кино?..

— Как же мы вдруг пойдем? — нерешительно спросила Аля.

— Почему «вдруг»? Отдадим государству рубль трудовых сбережений, и все в порядке.

— Нет,— тихо сказала Аля.— Знаете, некогда мне...

— А что у вас, защита диссертации? Ну, тогда до свидания.

Женька подержал своей чугунной рукой Алину руку в варежке, повернулся и пошел, скрипя по снегу своим сорок шестым размером.

Аля подождала: ей казалось, что Женька оглянется. И он оглянулся. Тогда она отняла варежку ото рта и крикнула негромко:

— Женя, погодите!.. Я пойду... в кино!..

...В темном зале кинотеатра до них, конечно, не было никому никакого дела. Но Аля волновалась, почти ничего не увидела и не услышала: она боялась, что заметит кто-нибудь из заводских и скажет Екатерине Тимофеевне. А Женька был спокоен, как медведь на лежке.

— Типичная ерунда! — заключил он еще задолго до конца сеанса.— Но так и быть, проявим терпение, свойственное русскому человеку.

— Какая же ерунда? — шепотом спросила Аля.— Очень даже интересная картина.

— Это, Аля, у вас заблуждения молодости. С годами пройдет.

По дороге домой Женька болтал оживленно и будто между прочим спросил:

— Нравится вам новая работа? Лаки, шеллаки и тому подобное?

Але захотелось соврать: сказать, что лучше бы, конечно, получить какую-нибудь «культурную» специальность. Но она вдруг сказала правду:

— А что? Хорошая такая профессия: возьмешь изделие из столярки, в нем еще абсолютно никакой радости нет, дерево деревом... А потом знаете как заиграет! Вся фактура проступит...

— Что? — переспросил Женька.

— Ну, фактура... Узор на дереве, прожилочки такие, глазки. На окошке зимой так бывает, когда заморозит.— И, оживившись, добавила радостно: — Я вчера первый свой гардероб самостоятельно сдала. Комбинированный: массив полированный, а фанеровка под лак. Я на задней стенке инициал свой написала даже. Может, купит кто и будет знать...

— Какой же инициал? — улыбнулся Женька.

Аля немножко сконфузилась, потом доверчиво посмотрела на Женьку и ответила:

— Ягодкина Алевтина Павловна.

Потом они немножко постояли в белом скверике, как раз против Дуськиных окон. Там горел свет и двигались тени. «Небось этот «угрюмый» сидит...— подумала Аля, вспомнив мрачного Дуськиного прихожера.— А может, Дуська одна...»

В последний месяц, когда жила там, Аля часто замечала, что у ее квартирной хозяйки глаза мокрые, мутные от горя.

А Жорка приходил все реже, а когда появлялся, они ссорились, правда вполголоса.

Вдруг свет в окне загас.

Аля очнулась от своих мыслей, счастливая тем, что не надо уж идти в эту квартиру. Они встретились с Женькой глазами.

— Знаете, Аля,— сказал он,— я не хочу вас огорчать, но, по-моему, специальность ваша — дело уже почти мертвое. Деревянная мебель — это остаток варварства. Скоро все будет синтетическое. Легкое и красивое. Шкаф, например, будет весить полтора кило...

— Шутите?

— Какие могут быть шутки? Газеты надо читать, девочка.

При других обстоятельствах Аля, наверное, огорчилась бы таким сообщением, но сейчас она была занята другим: пригласит ли Женька ее еще раз? Такой хороший парень! Совсем не гордый и не озорной!

Но он молчал. И она решилась тихонько спросить:

— Придете еще?

Он ответил не сразу. На губах его что-то зашевелилось: не то улыбка, не то смешок. И Алино сердце тревожно толкнулось.

— Хорошо,— сказал Женька.— Приду. Только не завтра: зачет надо спихнуть. Вот когда станете студенткой, тогда войдете в мое положение.

6

Положение действительно было сложное. И не потому, что зачеты: «культпоходы» в кино, как понимал Женька, грозили повернуться другой стороной. Но он не был из породы обманщиков и помнил, что обещал прийти. Помнил весь день, но к вечеру задержался с ребятами за зубрежкой и, когда спохватился и взглянул на

часы, понял, что опаздывает. И все-таки побежал в скверик. Аля увидела его и заулыбалась подрагивающими губами.

— Застыла я совсем!..— сказала она жалобно.

— Ах ты бедненькая!..— Женька забрал ее негнущиеся пальцы в свою горячую лапу.— Идем вон в тот подъезд, там тепло, наверное.

Он не заметил, как сказал ей «ты». А она заметила. И покорно пошла за Женькой в теплый, темный подъезд. Уже там Женька почувствовал, что дал маху: в подъездах парочкам просто положено целоваться. А это пока что было ни к чему. Поэтому он стоял молча, прислонясь спиной к противоположной стенке, и наблюдал за Алей.

— Ну, детский сад!.. Отогрелась? — с легкой усмешкой спросил он.— Можно выводить на прогулку?

— Еще постоим,— попросила Аля.

— Ну, постоим.

Но долго задерживаться в подъезде было неудобно: мимо проходили, разглядывали их. Тогда они снова вышли в сквер, постояли у вымороженного, присыпанного снегом фонтана. Аля чуть заметно переминалась с ноги на ногу. Женька поглядел на ее туфлишки, и его спокойную, беспечную душу ущипнула жалость.

— Знаешь, мы, пожалуй, успеем на десятичасовой. Ты постой здесь, а я произведу разведку.

— Нет, нет, я с вами!..— Аля схватилась за Женькину руку.— А то ну-кась потеряюсь...

Женьке вдруг захотелось быть страшно ласковым.

— Не потеряешься. Ну, бежим, малыш, а то ну-кась опоздаем!

...На этот раз уже Женька не мог сосредоточиться, и многое проходило мимо него. На экране красивая колхозница плакала от любви к секретарю райкома. Слезы ее были искренни, но женщина эта была что-то не в Женькином вкусе: он не очень ценил в женщинах энергию и ретивость.

Героиня фильма даже чем-то напоминала Женьке собственную мать, женщину твердых, решительных повадок, к которым он привык, но которых не хотел бы видеть в будущей подруге.

Рассеянность и туман в душе мешали Женьке сосредоточиться и хотя бы посочувствовать героине, как она

того, бесспорно, заслуживала. И это за него сделала Аля.

— Ведь это такая женщина, такая женщина! А он — в сторону!..

Женька с любопытством посмотрел на Алю, как смотрят на дитя, сказавшее вдруг какую-нибудь мудрость.

— Бывает, малыш, бывает,— сказал он, слегка задетый. Но тут же пошутил: — Только ты не переживай: увидишь, героиня непременно найдет свое счастье в самоотверженном труде на благо...

Аля вдруг прервала его очень серьезно:

— Не надо, Женя! Зачем шуточки?

Он еще больше удивился, но улыбнулся широко.

— Сдаюсь! — и пожал ее согревшуюся ладонь.

В этот вечер уже не Аля, а Женька спросил первым:

— Ну, когда же встретимся?

От матери Женька не считал нужным скрывать эти встречи. Тем более что она поинтересовалась, где это он теперь почти каждый вечер шастает.

— С подшефницей ходил в филармонию. Осваиваем классическое наследство.

— Это с Алевтиной, что ли? — не сразу поняла Екатерина Тимофеевна и покачала головой: — То-то, я вижу, заниматься стало некогда: все вечера где-то «осваиваешь»...

Сама она Алю уже давно не видела и, придя в отделочный цех, остановилась, неприятно задетая: Аля за это время и похудела, и выросла, и постройнела, и вообще стала какая-то другая. Стала выше, потому что поднялась на каблучки, потому что высоко начесала волосы. Тоньше, потому что на ней было темное прямое платье вместо пестрого расклешенного, в котором ходила раньше. Стала бледнее, потому что, наверное, на одном хлебе сидела: иначе откуда же сразу платья пошли да туфли; вот и сумочка модная на верстаке лежит. И красивее стала девчонка, потому что влюблена,— это сразу поняла Екатерина Тимофеевна. Сияет, ну просто сияет, дурочка!

И Екатерина Тимофеевна не сдержалась, улыбнулась. Аля же засмущалась, забормотала что-то:

— Ой, да это вы!.. Я все зайти к вам хотела... Смотрите, Екатерина Тимофеевна, как я теперь работаю.

Честное слово, все сама, самостоятельно. И не бракуют у меня больше...

— Это хорошо,— сдержанно отозвалась Екатерина Тимофеевна, замечая, что Аля все-таки боится смотреть ей в глаза.— Только вот, я гляжу, что-то модна ты очень стала. Много, что ли, заработала?

— За январь шестьдесят шесть, а в феврале больше, наверное, будет.

«Влюблена, влюблена, чертяка,— наблюдала Екатерина Тимофеевна.— Простым глазом видно, что влюблена. Закрутил Женька ей голову...»

Недоброе чувство поднималось и росло, хотя Екатерина Тимофеевна старалась его приглушить: «Чего я себя настраиваю? Может, пустяки все...»

— Ну, шикуй, только ума не теряй,— холодно сказала она Але.— Помнить надо, что ребенок у тебя растет. Ребенок дороже тряпок.

Аля сразу сникла. Сказала совсем тихо:

— А я не забываю... Я им все время посылаю. А туфли... я их по случаю взяла, они недорогие. И платье... У меня ни одного хорошего не было, я и решила. В цех потому надела, что на концерт сегодня сразу пойдем... — Она проговорилась и невольно закрыла рот коричневыми пальцами. А Екатерина Тимофеевна молча отошла.

...Вечером сын вернулся поздно. Екатерина Тимофеевна не ложилась, ждала его. Он шумно пожевал что-то в кухне, прошел в свою комнату и лег на постель с книжкой. Мать подошла и села рядом.

— Знаешь, Женя, что я скажу... Ты, по-моему, неправильно поступаешь, что этой девчонке голову морочишь.

Женька вскинул брови, отложил книжку.

— Что значит морочу?

Екатерина Тимофеевна искала подходящие слова.

— Она ведь может подумать, что ты всерьез.

— Значит, ты серьезность исключаешь?

Екатерина Тимофеевна помолчала, потом сказала:

— Да, исключаю. В о о б щ е тебе пока об этом поменьше думать надо. Кончишь институт, работу получишь...

— Это значит в о о б щ е. А в частности?

Екатерина Тимофеевна чувствовала, что спокойствие ей изменяет. Но старалась до последнего сохранить его.

— И в частности думаю, что затея твоя неподходящая. Ты знаешь, что у нее ребенок?

Женька замолчал, смешался. И мать этим воспользовалась.

— Вот видишь, Евгений! Она небось тебе про это не доложила. Понимает, что хвастать тут нечем. Разве, Женечка, у тебя девчат знакомых хороших, содержательных не хватает? Что ж ты первой попавшейся деревенской девчонкой прельстился?

Женька сел на постели, ссутулил свои широкие, медвежачьи плечи.

— Знаешь, мам,— сказал он сдерживаясь,— шла бы ты лучше спать, а то ты сейчас такое выдашь!.. Ведь ты вовсе не такая. Зачем ты из себя аристократку какую-то строишь?

Екатерина Тимофеевна поднялась и вышла.

...Да, аристократкой она не была... Хорошо помнила себя маленькой, с торчащим животом-арбузиком, по будням в холщовой рубашонке с замызганным подолом, а по праздникам в ядовито-розовом ситцевом платье и с небесного цвета лентой в косе-хвостике, в корявых полусапожках с пуговкой. От праздника до праздника эти полусапожки дремали в укладке, а Катюшка студила босые ноги, по утрам на низком, сыром лужке рвала пригоршнями скользкую резику, пихала в мешок. А попозже дала ей мать серп и взяла с собой в поле. Машин тогда в колхозе было еще небогато: рожь, овес, вику валили косами, молотили цепами, веяли лопатами против ветра.

Замуж Катя вышла за своего деревенского. Чего в семье у ее Гриши хватало, так это ребятишек. Маленькие Катины деверья, золовки прибегут из школы:

— Кать, дай картошечкю-ю!..

Свекровь ругается:

— У, ненажорные! Готовы цельный день есть беспе则речь!..

И всех их с первой же осени пришлось покинуть: Гриша собирался в город. Год в колхозе был плохой, на трудодни дали — в пригоршни заберешь.

Три ночи по приезде в город ночевали у земляков, в людном бараке при мебельном заводе. Потом дали им и свой угол. Гриша вышел работать на пилораму, Катя выносила из цеха обрезки, стружку, варила столярам клей. Но долго вся еще жила деревенскими делами, вздыхала над каждым деревенским письмом.

В сороковом году родился Женька. Яслей в то время завод не имел.

— Может, домой с ним, к матери поедешь? — спросил Гриша.

И услышал в ответ:

— Не затем ехала, чтобы теперь обратно. И здесь люди родят да работают. В разные смены с тобой ходить приладимся.

Гриша чуть нахмурился: он знал, что очень любит его Катя, но вот, оказывается, уже верховодить хочет. Что ж, пускай: жизнь так указывает.

В сорок первом собирались съездить домой, показать сына. У Женьки уже был полный рот зубов, бегал по бараку — большой не догонит... Но поехать в деревню не пришлось: пришлось Грише Беднову собираться в другую дорогу.

В светлые летние ночи Катя клала себе под щеку Гришину рубашку и дышала ею. Нарочно не постирала с тех пор, как он в ней пришел в последний раз с работы, пахнущий сосновой стружкой, еловой смолкой, как сладким вином. На рубахе этой теперь было больше Катиных слез, чем Гришиного пота, но рубаха все-таки пахла им, и если забыться, то казалось, что Гриша лежит рядом, сейчас подвинется, протянет руку...

А на заводе Катя уже не увидела больше канцелярских шкафов, парт и табуреток: массовым порядком шли винтовочные и автоматные приклады, ручки к саперным лопатам, ящики под снаряды. Тысячами, сотнями тысяч...

Екатерина Тимофеевна уснуть не могла. Сна не было, хоть на правый бок ложись, хоть на левый. Первый раз в жизни не договорилась она с сыном. Нет, Женьке никак, никак нельзя на мать обижаться: ради него вдовой осталась, отшила столько ухажеров. За одного уж было совсем решила пойти, а Женька в первую ночь заплакал, позвал мать к себе. Екатерина Тимофеевна,

вместо того чтобы пошикать, метнулась, схватила Женьку на руки. А «тот» спросил немного недовольно:

— Ты что ж, так каждый раз прыгать будешь?

И как отрезало! И с тех пор все время одна, только с Женькой. Вырастила крепкого, умного, за двадцать лет подзатыльника не отвесила. Видела его с красавицами девушками, записки у него в карманах находила. По телефону звонят, звонят... Но все разные голоса, а не одна. И неужели ж теперь он эту Альку выбрал?

Человеческое говорило Екатерине Тимофеевне: ну и что же здесь нехорошего, неправильного? А женское, бабье шептало: вот, вот, специально для девчонки этой, неизвестно с кем трепавшейся, такого ты парня припасла!.. Сидела бы она в деревне, так нет — сюда пожаловала...

«Нет, надо спать! — сказала себе Екатерина Тимофеевна.— А то, правда, до добра не додумаешься».

Не спал и Женька. Мысли роились ядовитые, досадные. «А ты знаешь, что у нее ребенок?» Нет, ничего он не знал и не подозревал даже. Лопух. Мать, та сразу разнюхала... Что значит женщина! Это хорошо, что он перед ней и виду не подал: подумаешь, мол, какое дело, ребенок! Хотя бы и два...

...Женька закрыл глаза и попытался представить себе этого ребенка. Он еще не знал, кто это: мальчик или девочка, ползает по полу или еще лежит спеленатый, красный и бессмысленный. Женька ощутил злую обиду: ведь это надо же! Он-то придумывал, как поможет Але учиться, поглядеть на жизнь, чтобы не воображала, будто только и радости на свете, что деревня Гуськи со свеклой да еще завод, где делают диваны-кровати с тумбочками. А потом... И вот тебе, пожалуйста!.. Нашелся, значит, до него добрый молодец.

Женька злобно покрутил головой. Вдруг захотелось вскочить, пойти к матери, которая, он чувствовал, тоже не спит, переживает.

— Тьфу, черт! — тихо сказал Женька, бессонно жмуря глаза. Такое было с ним первый раз в жизни.

...Аля почти сразу поняла, что Женька весь напряжен: не так поздоровался, не так глядит, даже шагает

не так, как всегда. И она догадалась, что подступил тот час, после которого уже, может быть, ничего больше не будет.

— Женя, мне вам сказать надо...

Он хотел было бросить грубо: давно бы, мол, ты догадалась! Но ответил сдержанно:

— Можешь не говорить. Я знаю.— Но тут же не вытерпел, обиженный, покрасневший: — Почему не сказала все честно?..

Аля прикусила губу. И с несвойственной ей резкостью вдруг спросила:

— Что я нечестно-то сделала? Убила, ограбила кого? Ну, есть у меня ребенок, так что? Кому я нужна, тому и ребенок мой будет нужен. Подумаешь, обманула...— Она не сдержалась и всхлипнула.

— Ну вот...— сказал Женька, смутившись.

— Что «ну»? Я думала, вы... А вы как наши деревенские бабы судите: абы за кого, лишь бы муж был. А я вот не захотела... Лучше с ребеночком остаться, чем от какого-то дурака да от его родни зависеть. Вас увидела, думала, вы совсем другой, настоящий... Вы моего мальчика еще и не видели, а уже брезгаете им. Поглядели бы, какой хорошенький!.. Вы, может, думали, что я его бросила? Вот только огляжусь и привезу...

Она перевела дух и уже тихо сказала:

— Я вас, Женя, конечно, очень люблю, но как хотите...

Призналась и замолчала. Молчал и Женька. Аля тихонько дотронулась до его рукава.

— Женя, вы не обращайте внимания... Ну, люблю, что из этого? Вы вовсе не должны...

Женька прервал сурово:

— Хватит разъяснять мне мои права и обязанности. А за признание спасибо.— И добавил, помолчав: — Если ты решила «его» брать, то бери. Только сначала надо в техникум подготовиться, а то пойдут пеленки, игрушки-погремушки...

Аля замахала руками.

— Какие пеленки, погремушки? Он уже ножками быстренько бегает, валеночки ему скатали и салазки купили. А вы — пеленочки!..

Они посмотрели друг другу в глаза, смутились и засмеялись оба.

7

Памятной осталась эта весна для Екатерины Тимофеевны. В конце марта Женька должен был уехать на практику. А в день Восьмого марта Екатерина Тимофеевна увидела его в клубе мебельщиков вместе с Алей.

Екатерина Тимофеевна сидела в президиуме, готовилась выступить, рассказать о женщинах-мебельщицах. В списке лучших работниц, который лежал перед ней, стояло и Алино имя.

Тут же сидела и Дуська Кузина, положив на красное сукно свою маленькую, сильную руку. Но если бы пристальнее вглядеться в нее, то это была не прежняя, независимая и довольная собой Дуська. Она избегала чужих глаз, смотрела не в зал, а куда-то в сторону. Но Алю с Женькой она увидела, и в ее коротком взгляде, который она метнула на Екатерину Тимофеевну, были и вопрос, и женская зависть, и несвойственное Дуське сочувствие. Кто-кто, а она-то знала, как высоко ставит своего Женьку Екатерина Тимофеевна, о какой невестке мечтает. От нее не скрылось, как сжала губы Екатерина Тимофеевна при виде сына, как затеребили ее руки лежащие на столе бумажки.

Екатерина Тимофеевна поднялась, стараясь не глядеть туда, где сидел ее большой и красивый Женька, а рядом с ним на глазах расцветающая Аля. И все-таки не могла не заметить модного покроя ее нового платья, подобранных к нему бус, прически, сумочки — всего, чем бьют парней наповал.

— Тебе слово, товарищ Беднова,— сказал председательствующий.

Заглядывать в бумажки Екатерине Тимофеевне особенно не приходилось: работниц заводских и их дела она знала, как свои. Языку тоже была большая практика: как-никак уже пять лет освобожденным председателем завкома, можно привыкнуть. Но на этот раз слова что-то плохо шли. Екатерина Тимофеевна рукой показала, чтобы налили водички.

— Не могу, товарищи дорогие, в наш Женский день не сказать: очень радостно, что и у нас на заводе женщины прямо на глазах растут и тон задают. Я не постесняюсь вам и личный пример привести: все вы знаете, кем я была и кем меня наш завод сделал. Да разве ж

я одна? Возьмите Кузину: девочкой совсем пришла из деревни и за десять лет стала знатным человеком, настоящим мастером своего дела. И вот при всех вас скажу: давайте пожелаем Дусе Кузиной, чтобы она не только отлично работала, но и душевней с коллективом жила, помогала товарищам. В нашей стране самолюбам поддержки не будет. Пока что нашу Дусю завод знает, ну еще район, город... А ведь она могла бы Гагановой стать!..

Екатерина Тимофеевна чувствовала, что получается казенно, но смута в душе мешала найти другие слова.

В зале задвигались, захлопали, а Дуська опустила глаза и тоскливо улыбнулась.

— Вот вам еще пример,— продолжала, уже овладев собой, Екатерина Тимофеевна.— Отделочница Ягодкина Аля. Еще и года нет, как она на заводе. А очень хорошо работает. Посмотришь на ее изделия, и душа радуется: лаковая пленочка тоненькая, отделка чистая — не придерешься. Чувствуется, что девушка работает с душой. Нам такими людьми надо гордиться!

Почему сказала это Екатерина Тимофеевна? Сама вырвалась правда или ей захотелось, чтобы рядом с сыном не какая-нибудь кукла сидела, а знатная работница и чтобы люди об этом знали?

— Спасибо, мам! — сказал после торжественной части Женька.— Коротко высказалась, но ясно. Ты у меня молодец, я всегда это говорил.

Екатерина Тимофеевна поняла, что он прощает ей их неприятный ночной разговор, после которого между ними прошел холод. И ей стало как-то не по себе: ведь она, в сущности, обманула Женьку.

— Небось танцевать останешься? — спросила она его избегая прямого взгляда. — А я пойду лягу: устала.

Стараясь быть незамеченной, Екатерина Тимофеевна прошла в гардероб. И уже у выхода увидела Дуську, тоже одетую.

— Что ж ты уходишь?

— А ты? — вопросом на вопрос откликнулась Дуська.

Они пошли рядом — крупная, мужественная, никогда не интересовавшаяся модами, хотя и добротно одетая Екатерина Тимофеевна и ссутулившаяся и как-то подавленная завзятая модница Дуська,

— Что это с тобой сегодня? — спросила Екатерина Тимофеевна.

— Что ж, я тебе на улице объяснять буду? К себе, может, пригласишь?

Через полчаса они сидели, и перед ними стыл налитый в чашки чай.

— ...Да что ты уж больно-то расстраиваешься?.. Первый раз, что ли, ссоритесь? Придет.

— Нет, не придет. А придет, сама не пущу. Эх, Катя, если бы ты знала!.. Как я сейчас Альке позавидовала! Ни одного порядочного парня на мою жизнь не пришлось. Или уж я без рук, без ног, или уж дура непролазная?

— Есть немного,— честно сказала Екатерина Тимофеевна.— Только и Альке ты не завидуй: покрутятся-покрутятся, тем, я уверена, дело и кончится. У Женьки поинтересней девчата есть...

Дуська покачала головой.

— Отвыкла ты, Катерина, от любви. Поэтому и различить не можешь, где всерьез, а где понарошку...— И после долгой паузы попросила: — Катя, помоги мне...

Екатерина Тимофеевна слушала, и губы ее сжимались все плотнее и плотнее. Дуська просила помочь ей ребенка из детского дома на воспитание взять. Чтобы дали завком и дирекция характеристику, по которой доверили бы ей ребенка.

— Мне бы мальчика, так годочков двух... Воспитаю, будет у меня сынок.

— Нет! — вдруг сказала Екатерина Тимофеевна.

— Почему ж нет? — упал голос у Дуськи.

— А потому... Тебе, Евдокия, сынка-то лет под тридцать надо. А мать из тебя не выйдет. Собственной головой управлять не научилась, а хочешь, чтобы тебе живую душу под команду отдали. Игрушечку мечтаешь завести.

Екатерина Тимофеевна говорила обидные вещи, но Дуська на этот раз не смела обижаться.

— Кать, ведь мне уж тридцать третий... Шутишь! Жизни никакой нет, одна кругом... Не веришь ты мне?

— Не верю,— твердо сказала Екатерина Тимофеевна.

В этот вечер ей хотелось быть жестокой, и в первый раз чужая беда ее не взволновала.

...Всегда быстрая на ногу, Дуська тихо шла по темной улице, как по незнакомой дороге. Она прятала лицо, с которого слезы смыли пудру, в стоячий меховой воротничок шубки, отливающей серебром при свете ночных фонарей. Она подошла к своему дому; окна в нем почти все светились, а на лестнице слышно было, как поют «Эх ты, сад, ты мой сад!»...

На третьем этаже с подоконника навстречу Дуське поднялся Жорка, угрюмо улыбаясь.

— С Женским днем поздравить пришел, а тебя где-то носит...

Он ожидал одного из двух: или она накинется плаксиво, с выкриком, с шумными упреками, или будет безвольно лопотать: «Жор, ей-богу, обижаешь ты меня... Сколько можно терпеть?..»

Но не последовало ни того, ни другого. Дуська не спеша достала из сумочки ключ (а не помаду и зеркальце, которые она сразу хватала, завидев своего возлюбленного), открыла входную дверь и тут же, не дав Жорке шагнуть вперед, быстро захлопнула ее и звякнула задвижкой.

— Ты что? — спросил он, нерешительно подергав ручку.

Ответом ему была полная тишина. Это было так необычно, что Жорка не стал ни стучать, ни ругаться и пошел вниз по лестнице, все еще в тайной надежде, что его окликнут. Но Дуська не подала голоса.

Женька уезжал. В душе Екатерина Тимофеевна надеялась, что это и к лучшему: может, остынет. А Женька неожиданно спросил, считая, что они с матерью теперь уже найдут общий язык:

— Мама, ты вроде Але что-то обещала насчет комнаты. Может быть, ее на очередь можно поставить? Дело в том, что она летом в техникум поступать будет, и ей надо много заниматься...

Екатерина Тимофеевна долго-долго молчала.

— Знаешь что, Евгений... Если раньше было у меня такое намерение, то теперь я его начисто бросаю. Тебя весь завод с нею видел. Скажут: сын с девкой гуляет, а маманя комнатку им обеспечивает, чтобы было где встречаться...

Женька сразу «накалился».

— Мам, прекрати мещанские разговоры! Когда в президиумах сидишь, проповедуешь уважение к людям...

— Вот-вот, я уж у тебя мещанкой стала! — всхлипнула Екатерина Тимофеевна. — Дурак, дурак ты, Женька! Не хочу я тебя слушать. Пожалуйста, вяжись с кем хочешь, подбирай на улице!..

Женькины скулы наливались злой краской. Видно было, что он хочет сказать много. Но он только выговорил отрывисто:

— Эх, товарищ мама!.. «На улице»!.. А вообще-то, если хочешь знать, не позор подобрать, а позор мимо пройти.— И уже в дверях бросил: — Не о чем нам тогда и разговаривать.

Он ушел, а Екатерина Тимофеевна плакала, ужасаясь собственным несправедливым, но, как ей казалось, необходимым словам.

...Женька уехал. И очень долго ничего матери не писал. Екатерине Тимофеевне некому было рассказать о своей обиде: такое на люди не вынесешь, ни с кем не поделишься. Но она была не из тех людей, которые во всем полагаются на бег времени, на авось. Она любила шагать впереди судьбы и поворачивать ее по-своему. Поэтому через несколько дней после Женькиного отъезда Екатерина Тимофеевна через начальника цеха попросила Алю зайти в завком не в приемные часы.

Та пришла. Они встретились за тем столом, за которым полгода назад познакомились впервые. Аля сидела, тоже настороженная, но, как видно, приготовившаяся к трудному разговору. На круглом, хотя и похудевшем ее лице уже не было просительно-виноватого выражения. И сидела она уже не на краешке стула.

— Как же так, Аля? — начала Екатерина Тимофеевна, глядя мимо Алиного лица.— Нехорошо как-то у нас с тобой получается... Я к тебе всей душой, а ты от меня прячешься.

— Я не прячусь,— тихо сказала Аля.— Мне кажется, вы сердитесь... Вот я к вам на глаза и не лезла.

— Евгений тебе пишет? — вдруг в упор спросила Екатерина Тимофеевна.

— Да...

Обе помолчали. Аля моргнула и сказала, оживляясь:

— Вы, Екатерина Тимофеевна, может быть, что-то про нас плохое думаете? Но ничего нет... плохого. Просто я, со своей стороны, очень вашего Женю люблю. Что же мне делать, если я его люблю?

«Еще бы ты не любила!» — подумалось Екатерине Тимофеевне.

— А ты про ребенка Евгению сказала?

— Он знает,— прошептала Аля, отвернувшись.— Ведь вы же ему рассказали... Думали, я сама не сумею?

Екатерина Тимофеевна собиралась с мыслями. «Что же это я с ней о таких вещах через казенный стол разговариваю, как на приеме?» — подумала она, встала и поманила Алю к дивану. Та недоверчиво села и ждала.

— Аля,— набравшись духу, сказала Екатерина Тимофеевна.— У меня к тебе разговор будет дружеский. По совести говоря, я тебе кое в чем помогла и в десять раз больше еще для тебя сделать готова. Но я тебя прошу: оставь Женьку в покое. Ему еще учиться два года, на работу устраиваться. Неизвестно, куда пошлют. Семью ему заводить рано. Ты тоже на ногах не стоишь («Дуськины слова», — подумала Аля), хвост у тебя в деревне. Глупостей ты уже натворила, можно бы и за ум взяться. Учиться бы поступила лучше...

— А я и хочу,— подавив обиду, поспешно сказала Аля.— Разве вам Женя не говорил? Честное слово, я буду учиться, Екатерина Тимофеевна. Я ведь очень хорошо в деревне училась. Правда, здесь спроса больше, но ведь там мне помочь абсолютно некому было, а тут Женя... А если его куда пошлют, я с ним с радостью, минуточки не задумаюсь!..

Но тут Аля заметила, что ее слова вовсе не действуют на Екатерину Тимофеевну. И она сразу осеклась.

— Вы совсем не потому... Просто вы не хотите, чтобы Женя со мной дружил. Потому, что я деревенская, и потому...

— Нет! — заставила себя крикнуть Екатерина Тимофеевна. И добавила уже тихо: — Я сама деревенская... Но лучше, Аля, для жизни, кого по себе выбираешь.

— А я по себе,— с убежденностью сказала Аля.— Какого мне еще надо?..

«Вот ведь навязалась!..— подосадовала Екатерина Тимофеевна.— Ну как ей всю правду сказать? Она за

собой никаких грехов не видит...» И начала опять с того, что пообещала Але и комнату отдельную выхлопотать или еще того лучше: на другое предприятие ее устроить, где и заработки выше, и квартиру сразу дадут, и техникум свой там есть — все условия хорошие. Но только чтобы она отступилась от Женьки. Мало ли еще встретится хороших ребят?

— Ох, какая же вы!..— вдруг сказала Аля и поднялась.— Я и не думала, что вы такая. Разве я вам не сказала честно: я люблю Женьку! Вы, наверное, не любили никого, раз думаете, что легко бросить?..

Она повернулась и пошла. И у Екатерины Тимофеевны не нашлось слов, чтобы ее задержать. Она подумала: «Все, что сказала,— все впустую!..»

Но оказалось, не впустую: дней через пять после того к ней пришла Дуська Кузина, язвительная и холодная.

— Сжила, значит? — прищурившись, спросила она и села без приглашения.— Своя-то рубашка ближе к телу оказалась, товарищ Беднова. А я ведь правда думала, что ты у нас такая сознательная.

— С ума, что ль, сошла? — удивилась Екатерина Тимофеевна, но сердце у нее упало.

— Сошла — в Белых Столбах сидела бы...

И Дуська с ледяной суровостью рассказала, что Аля, даже расчета не оформив, все бросила и уехала в деревню.

— Говорят, два дня прометалась, а потом была такова. Ты не думай, она никому ничего не сказала. Это я сама догадалась, какой ее ветер поднял.

— О чем же ты, интересно, догадалась? — тихо спросила Екатерина Тимофеевна.

— Да обо всем... Ты думаешь, я ум-то до конца с мужиками растеряла? Немножко осталось. Пока Евгения дома нет, ты ее и намахала. Что она против тебя с твоим авторитетом? Перышко птичье. А ведь только было жизнь начала...

Екатерина Тимофеевна собрала всю свою волю.

— Что это ты вдруг такая добрая стала? И как ты можешь говорить? А если это сам Женька решил покончить?

Дуська криво усмехнулась.

— На сына-то хоть не ври. Сын у тебя сто сот стоит!

Она полезла в сумочку, достала измятое письмо.

— Почтальон сегодня девчатам в общежитии отдал, а они мне принесли, чтобы в деревню адрес узнать. Сейчас скажешь, зачем я чужие письма смотрю! А ты бы не прочитала? Мне Алька тоже не вовсе чужая...

И подала конверт Екатерине Тимофеевне.

«Здравствуй, Аленький! — писал Женька.— Как жизнь, работа? Как даются науки? Вижу тебя, склоненную над тетрадкой в «тиши» общежития. Перо скрипит, пальцы, конечно, в чернилах, на носу пот проступает от серьезности... Трудно, малыш, понимаю!

Что пишут из твоих «Гусят» или «Поросят», как их там?.. Маленький Ягодкин здоров? Что касается меня, то я в норме, хотя первый раз в жизни тоскую. Запустил даже кастровскую бороду, и видик у меня тот! Прошу, Аленький, узнай, как там мать... Хотел я ей написать, но пока не решаюсь. Пусть уж страсти улягутся...»

Строчки поплыли, Екатерина Тимофеевна сжала и без того мятый конверт.

— Вот,— уже мягче сказала Дуська,— вот видишь, Катя... А письмо-то отдай, я его Альке перешлю.

— Погоди,— тихо отозвалась Екатерина Тимофеевна.— Надо это все как-то... Ты мне оставь адрес, я сама напишу...

Дуська ушла, а Екатерина Тимофеевна долго еще сидела, подперев кулаком отяжелевшую голову.

Потом она встала, отворила окошко. День был совсем голубой, свет мягко бил по глазам, воздух плыл и нес с собой запах взрезанного арбуза и еще чего-то влажно-сладкого, непривычного после холодной зимы.

Стоя под этим потоком весны, Екатерина Тимофеевна напряженно думала о том, как ей себя побороть, укротить, загнать в самый дальний угол души свое смятение, свою боязнь, свое растревоженное самолюбие. И она чувствовала, что слабеет в борьбе с самой собой.

— Господи! — сказала неверующая Екатерина Тимофеевна.

В середине мая Дуська провожала Екатерину Тимофеевну на вокзал.

— К моим зайди. От Алькиного дома наискосок через улицу. Гостинцев бы послать, да ты как-то вдруг...

Матери вот десятку передай, пусть не обижается: к троице сама соберусь.— И Дуська потянула из сумочки деньги, а с ними и платок, готовая, как видно, заплакать.— Ну, счастливо тебе, Катя!

— Спасибо,— сказала Екатерина Тимофеевна,— спасибо тебе. Вернусь, тогда...

Она хотела еще сказать, что им бы опять следовало дружить, не сторониться друг дружки. Она даже чувствовала себя в эти минуты виноватой, что тогда, восемь лет назад, легко отступила, не билась за Дуську до последнего... Но объяснять было уже некогда: вагон трогался.

Екатерина Тимофеевна села у окна.

...На рассвете паровоз окутал паром маленькую станцию. Вдоль путей била молодая, ясная трава. Прямо за станцией лежало поле, черное, перебуровленное плугами. Над ним кружились и неторопливо опускались грачи, слетая с черных мохнатых гнезд, свитых на березах вдоль большака.

Екатерину Тимофеевну подвез какой-то колхозник на порожней тележке. Она не без проворства заскочила на грядку: так ли еще, бывало, прыгала она к отцу на воз с травой!..

Из-под колес летела жирная, успевшая отойти на утреннем солнце земля. Тарахтела тележка, пахло конем, нагревшимся в беге. Поехали полем, потом зеленым яром, в котором стояла талая вода и с черного, мягкого дна тянулись тонкие нити трав. Потом поднялись на взгорок, весь в белых крапинках первых цветов, и глазам открылась даль, уже теплая, со всеми запахами поля, молодой ореховой засеки, с ворчанием разбухшего ключа, с белизной черемухи и мельканием стрижей. Впереди была деревня...

СОДЕРЖАНИЕ

Ирина Александровна ВЕЛЕМБОВСКАЯ

ВИД С БАЛКОНА

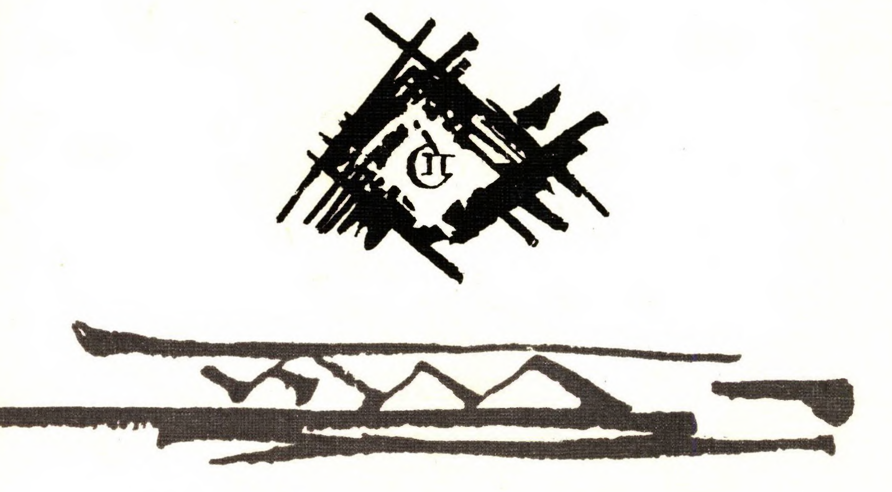
М., «Советский писатель», 1981, 288 стр.
План выпуска 1981 г. № 15

Редактор *З. В. Одинцова*. Худож. редактор *Е. И. Балашева*. Техн. редактор *Г. В. Белькова*. Корректоры *Р. Г. Рагимова* и *С. Б. Блауштейн*.

ИБ № 2698

Сдано в набор 26.05.80. Подписано в печать 22.01.81. А03727. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 15,52. Тираж 100 000 экз. Заказ № 591. Цена 1 руб. Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени тип. им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

1 p.



ВИД С БАЛКОНА — Ирина Велембовская